КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ

ЖУРНАЛ

1931

КНИГА
СЕДЬМАЯ

ИЮЛЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

СОДЕРЖАНИЕ

КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
ФЕДЕРАЦИИ ОБ'ЕДИНЕНИЙ СОВЕТСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ

ИЮЛЬ

№ 7

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1931 ЛЕНИНГРАД

„Мосполиграф“
13-я типо-цинкография
„МЫСЛЬ ПЕЧАТНИКА“,
Москва, Петровка, 17.
Уполном. Главл. № Б—7739
Тираж 15.200 Зак. 1441
1931 г.

Фабрика снов

Хроника нашего времени

Илья Эренбург

(Продолжение)

4

Г. Клич не доглядел. Дела «Уфы» пошатнулись. Картина «Женщина на луне» обошлась в два с половиной миллиона. Она провалилась. «Уфа» прокидала уйму денег на опыты с говорящими картинами. «Дейтче банк», который не раз выручал «Уфу», заколебался. Поползли темные слухи: что если «Уфа» лопнет?.. Это совпало с торжеством национального начала. Вырабатываемая в Бабельсберге душа сказалась и в избирательных бюллетенях, и в сотнях ночных потасовок. «Уфа» могла бы радоваться. Но «Уфе» нужны были деньги.

Тайный советник подолгу беседует с г. Кличем. Никто не знает, о чем они говорят. Сердится ли Гугенберг на своего неосторожного служащего, благодарит ли его за достигнутые успехи или, может быть, он гадает с ним, как бы вызволить «Уфу» из беды?..

Г. Клич едет в Америку. Ему досаждают назойливые журналисты: какова цель вашей поездки?.. Все понимают, что г. Клич едет спасать «Уфу». Но г. Клич непреклонен: он едет по личному делу. Его сын обучается в Америке. Он едет, чтобы повидаться со своим сыном. Это трогательно и логично. Журналистам остается пожелать г. Кличу счастливого пути.

В Америке г. Клич, разумеется, встречается со своим сыном. Он встречается также с «папой-Цукором». Он толкует о патентах. Эти го̄ворящие картины нас доконали! Герма̄ния напрасно борется с американскими фирмами... «Уфа» никогда не поддерживала немцев, в душе «Уфа» с американцами...

Г. Клич возвращается из Америки молодой и бодрый. Очевидно, свидание с сыном, а также морской воздух благотворно на нем отразились.

Больше никто не прочит конца «Уфе». Журналисты, которых г. Клич во-время не облагодетельствовал, злословят: «Уфа» стала на сторону наших противников. Вот он, патриотизм г. Гугенберга!» Что же, на свете немало клеветников! «Клангфильм-Тобис» воюет с «Уэстерн-Электрик». «Уфа»—там, где ей выгодно. Бывший директор Круппа отнюдь не изменил своим принципам: патриотично богатеть, антипатриотично разоряться.

Когда французские войска стояли в Прирейнской области, «Уфа» доказала свою дальновидность. Французы издавали газету «Рейнское образование». Немецкие фирмы газету бойкотировали. Это было глупостью или ханжеством. «Уфа» регулярно сдавала в газету свои объявления: «Дворец «Уфы», интернациональное заведение с мировым именем». Французские капралы ходили в театр «Уфы». Они платили за вход. Деньги шли «Уфе», а во главе «Уфы» стояли двенадцать немцев самой чистой крови. «Уфа» изготовляла патриотические картины, и когда французы наконец-то убрались во-свояси, визг разбиваемых стекол мог свидетельствовать о годах мужественного воспитания. Патриоты громили лавочников, которые любезничали с французами, они мазали

дегтем дома, в которых жили женщины, обнимавшие французов. Никому не пришло в голову поднести ведерко дегти ко «Дворцу Уфы», к этому интернациональному заведению с мировым именем, но с чисто немецкой душой.

Операторы «Уфы» спешно заготовляли хронику: освобождение Прирейнской области. Ни осколков, ни дегтя, только цветы, трубы, улыбки.

5

Тайный советник ночью едет по длинным берлинским улицам. На улицах светло и пустынно. Берлинцы, доглядев до конца картины «Уфы», разошлись по домам. Засыпая, они еще слышали утробные звуки героев, клятвы, просьбы, стоны и трубы, конечно же бодрые трубы молодцоватых фигурантов Бабельсберга. Теперь на улицах только свет и полицейские.

Тайный советник задумался. Тайный советник не молод, ему есть что вспомнить. Вот она, его жизнь, длинная и прямая, как эта улица, такая же светлая и такая же пустынная! Он ничему не изменил. Он твердо шел к своей цели. Он не искал легкой славы.Он предпочел ей власть. Пусть те, что мирно спят в этих домах, не видали даже портрета Гугенберга, — они принадлежат ему. Утром они читают его газеты. Днем они на него работают. Вечером по его указке они мечтают. Уголь и сталь, банки и латифундии, руководящие органы «национальной партии» и похабные журнальчики для парикмахерских, павильоны и экраны — все это его, Гугенберга. Он в стороне, он скрыт от взоров, он незаметен в жизни, как незаметен он сейчас в темной коробке автомобиля, и, однако, это он управляет миллионами людей.

Другие струсили, отступились. Главный враг — Штреземан во-время прибран судьбой. Этот Штреземан был мягок и хитер. Он хотел погасить вспыхнувший пожар слезами примирения. Тайный советник знает, что этот огонь можно залить только кровью. Тайный советник не боится ни крупной игры, ни революции.

Пусто на улицах. Изредка мелькают смутные тени: это бездомные. Их все больше и больше — бездомных, голодных, отчаявшихся. Они не могут ни ходить в кино, ни читать газет. Они не могут также работать — их работа никому не нужна. Тайный советник морщится. Крышу должны поддерживать четыре стены. Что означают эти трещины? Еще на крыше бодро реет флаг, старый имперский флаг, а внизу уже толпятся зеваки: они ждут, когда рухнет дом. Неужели ради этого жил и трудился Альфред Гугенберг?..

Надо спасать! Не как Штреземан. Не болтовной. Эти никчемные могут быть завтра превосходными солдатами. На востоке много места и много дел!.. Душа народа сфабрикована. Пусть теперь эта душа говорит!

Прямая и пустынная улица. У Гугенберга жесткие волосы — он стрижется ежиком. У Гугенберга немало врагов. Его не любят и боятся: такова судьба всех крупных людей. От клеветы не уменьшатся ни его доходы, ни власть всесильного «Консорциума-Гугенберга». Конечно, вот в такой час, среди темных домов одиноко и сиротливо человеку. Усы никнут, глаза закрываются, в сердце проникает обыкновенная человеческая тоска. Но тогда тайный советник выпрямляется, привстает, громко он выкрикивает: «Любовь — сестра зари, любовь — царица мира!» Он написал это много лет тому назад. С тех пор он сумел доказать правильность своих юношеских грез. Он работал не ради власти, не ради денег, он работал только ради великой любви, ради той любви, что двигает светилами и заставляет глупцов перед экраном лить слезы восхищения; он работал ради любви к Германии и ради любви к ее крыше, к шпилю, к флагу, к тайному советнику Альфреду Гугенбергу!

V. Что такое кино

1

Еженедельно 300 000 000 людей в пяти частях света смотрят на экран. Они знают, что такое кино. Кино — это прежде всего любовь. В течение одного только года зрители могли увидеть: «Любовь на пляже», «Любовь цыгана», «Любовь в снегах», «Любовь Бетти Пе-

терсон», «Любовь и кража», «Любовь и смерть», «Любовь правит жизнью», «Любовь изобретательна», «Любовь слепа», «Любовь актрисы», «Любовь индуски», «Любовь-мистерия», «Любовь подростка», «Неистовая любовь», «Кровавая любовь», «Любовь на перекрестке», «Любовь играет», «Любовь врага», «Любовь Жанны Ней», «Любовь Распутина», «Любовь женщины», «Любовь — это любовь», «Любовь в пустыне», «Любовь и золото», «Любовь Казановы», «Любовь запросто», «Любовь Кармен», «Большая любовь», «Невиданная любовь», «Любовь палача», «Любовь доктора», «Первая любовь Фанни», «Последняя любовь Шопена», «Свет любви», «Замок любви», «Фанфары любви», «Гробница любви», «Остров любви», «Маска любви», «Ярмарка любви», «Карнавал любви», «Магазин любви», «Крушение любви», «Психея любви», «Смерть любви», «Богиня любви», «Парад любви», «Три минуты любви», «Бегство от любви», «Вдвоем с любовью», «Борьба с любовью», «Игра с любовью», «Любовный туман», «Любовная песнь», «Любовная сказка», «Любовники наедине», «Любовники в Холливуде», «Любовники и крест», «Законный любовник», «Любовник блондин», «Любовники в спальном вагоне», «Любить — это жить», «Что ты знаешь о любви», «Любить до конца», «Я люблю тебя», «Люблю ее», «Люблю на эшафоте», «Сколько стоит любовь», «Гарри любит блондинок», «Если б не было любви», «Все мы любим любовь». Кто же усомнится в том, что кино — это любовь?..

Кино — это также великие актеры: штиблеты Чаплина, улыбка Дуга, очки Гарольда Лойда. Миллионы людей глядят в телескоп: они хотят увидеть, как выглядят эти «звезды».

Интервью с Элизабет Бергнер: «Кем хотели бы вы быть, если бы не были Бергнер?» — «Извозчиком».— «Почему?» — «Я люблю экзотику». — «Имеются ли у вас грехи?» — «Да, у меня особняк» и «Испано-Суиза».

Интимный дневник Полы Негри, любезно предоставленный ею для печати: «21 мая 1926 г. Возможно ли это? Я снова выхожу замуж... Будет ли снова как с Эйгеном? Как с графом Эйгеном Домбским, моим первым мужем?.. Но Серж другой, совсем другой!.. Итак, скоро я буду: «княгиня Серж Мдивани!»

Бистера Китона зовут во всех странах по-разному — в Сиаме: «Конфрето», в Либерии: «Казунг», в Чехо-Словакии: «Пришмишлено», в Испании: «Зефонио», во Франции: «Малек», в Исландии: «Гло-Гло». Это — «человек, который никогда не улыбается».

Грета Гарбо — это «русая сирена». Дуглас Фербенкс родился с зубами, как Ричард III, а Лиль Даговер, та родилась на Яве. Камилла фон-Холау прекрасно готовит гуляш. Лия Мара обожает цветы. Ненси Кароль обожает пятидесятилетних мужчин. Это и есть кино.

Так думают еженедельно 300 000 000, сидя в темных залах. Кино — это любовь и кино — это «звезды». Все они хорошо знают Грету Гарбо, но они никогда не слыхали о Давиде Сарнове. Может быть, это дебютант? Или русский режиссер? Во всяком случае его имя не значится на афишах.

Давид Сарнов усмехается. Он отнюдь не честолюбив. Правда, он получил от польского правительства орден «Возрожденной Польши», но он достаточно равнодушен к безделкам. Взвешивая каждое слово, он говорит:

— За последний год мы заработали 19 000 000долларов. Нам удалось несколько расширить нашу деятельность. У нас не только самый мощный трест радиоаппаратов и самое крупное общество фонографов, у нас также 215 кинотеатров и производство картин. Кино вступило в новую эру: актер или постановщик перестали быть главными персонажами, теперь кино зависит от инженера и электротехника...

Давид Сарнов говорит это перед журналистами в приемной отеля Риц. Он не позирует для экрана. Он сух и точен. Он не упоминает ни о любви, ни о «звездах»: 19 000 000 и электричество.

Давид Сарнов не дает журналисту своего дневника, да он, наверное, и не ведет дневника, это — человек деловой. Он рассказывает о дивидендах, но не о своей жизни. Он родился в России, в маленьком местечке возле Минска. Ему было восемь лет, когда его родители эмигрировали в Америку. Он увидал Новый

свет, но это не удивило его: он смотрел на школьный глобус, как на мяч. Он начал очень скромно, с поста корабельного юнги. Потом его сделали помощником пароходного телеграфиста. Он был на «Титанике». Среди вод Новый свет столкнулся со льдами. Мистеры пели псалмы и тонули. Кочегары работали до последней минуты. Давид Сарнов увидел смерть, но и смерть его не удивила. Он спасся и он продолжал свой трудный путь. Он работал у Маркони: скромный и энергичный юноша. Его специальность — беспроволочный телеграф. С каждым годом повышался его сан и его оклад. Кино его никак не интересовало — кино было аферой ловких проходимцев и смазливых девушек.

Все изменилось, когда несколько молчаливых инженеров изобрели говорящие картины. Кино стало сразу делом. Успех предприятия теперь не зависит от такой вздорной случайности, как глаза актрисы. Нет, теперь это серьезная отрасль электрической промышленности, и Давид Сарнов теперь может взяться за кино.

19 000 000 — это убедительней слов. Давид Сарнов сдержанно усмехается. Этот человек знаком с психологией. Немало рассказывают про ту ночь, когда было принято соглашение, известное под именем «плана Ианга». Делегаты различных стран все еще препирались. Мистер Ианг поручил Давиду Сарнову завершить переговоры. Давид Сарнов продержал спорщиков с пяти вечера до трех ночи. Он не дал им пообедать. Тогда патриотизм сдался на милость аппетита. Немецкие «наци» могут буянить, сколько им вздумается — дело сделано. Давид Сарнов взял делегатов измором. После классического «да» двери раскрылись — в соседнем зале был сервирован прекрасный ужин с шампанским.

Те, что зачитываются дневником Полы Негри, никогда не узнают о таинственной жизни скромного уроженца Минской губернии. Они будут плакать в темном зале над такой-то по счету любовью, может быть, над «Любовью в пустыне». Эта картина, кстати, сделана на фабрике Давида Сарнова. У Давида Сарнова имеется своя «звезда» — Беби Дениельс. Впрочем, он не знаток по части «звезд». Он занят электричеством.

Прежде были: Цукор, Ласки, Лоу, Леммле, — все они начали с крохотных «иллюзионов», с нищеты и авантюры, все промышляли глазами «звезд» и находчивостью сценариста. Несмотря на миллионы, они оставались кустарями, и серьезные люди подозрительно косились на акции «Парамаунта» или «Фокса». Кино было просто кино.

Теперь кино — это электричество. Для публики это: «Витафон», «Моньетон», «Фотофон». Для директоров театров это два общества, изготовляющие аппараты: «Уестерн Электрик» и «Радио Корпорешен оф Америка». Для людей деловых это могущественные тресты: «Американ Телефон энд Телеграф» и «Дженераль Электрик».

Общество «Уэстерн Электрик» тесно связано с «Американ Телефон» которому принадлежит почти вся телефонная сеть Соединенных Штатов. У «Американ Телефон» 18 000 000 абонентов, трансконтинентальные линии, монополия в Испании, предоставленная обществу благодаря личной симпатии короля Альфонса к мистеру Бену, одному из директоров, наконец автоматические аппараты во Франции.

Во главе «Уэстерн-Электрик» — мистер Оттерсон и мистер Блюм. Оба — республиканцы, оба — смиренные христиане: мистер Оттерсон епископального толка, мистер Блюм пресвитерианского. Это очень почтенные мистеры.

«Дженераль Электрик» возглавляет мистер Ианг. Немало связано с этим коротким именем: французские рантьеры брюзжали, пацифисты лили слезы умиления, на узеньких улицах германских городов по ночам раздавались внезапные выстрелы, рабочие подтягивали брюхо — им понизили плату, биржа отмечала повышение бумаг, одни радовались, другие негодовали — все вместе называлось «планом Ианга». Ни кровь, ни слезы, разумеется никак не входили в намерение мистера Ианга. Это — вполне миролюбивый человек; рослый, спокойный, он смахивает на фермера из северного штата. Он изучал право. Он оставил юриспруденцию ради электричества.

Он достиг не только богатства, но и признания. Вашингтон возложил на него тяжелую миссию — урегулировать немецкие обязательства. При мистере Ианге состоял Давид Сарнов, и уроженец Минской губернии помог уроженцу северного штата: мистеру Иангу удалось об'единить сварливых европейцев. Он горазд на об'единение — он, например, об'единил различные электрические общества в один гигантский трест. Он заверяет, что это далось ему куда труднее, нежели почтенный «план Ианга».

Капитал «Дженераль Электрик» равняется 223 000 000 долларов — солидная фирма, ей можно доверять.

«Радио Корпорешен оф Америка» — дитя «Дженераль Электрик». За его детскими играми следил сам мистер Ианг. Все началось очень скромно: установка радио в Делеваре — такова по уставу цель акционерного общества. Потом?.. Потом экран заговорил. Патенты были во-время закуплены. Показался Давид Сарнов.

Ветераны дрогнули. Первым пал Уильям Фокс. Клерк занял его место с благословения «Уэстерн Электрик». «Парамаунт» попробовал сопротивляться. Но что значат все богатства доброго «папы-Цукора» по сравнению с телефонными и телеграфными монополиями? Цукор подписал продиктованное ему соглашение. Что касается Давида Сарнова, то, не довольствуясь патентами, он сам приступил к изготовлению картин. Он основал общество с весьма поэтическим наименованием: «Радио-Кейт-Орфеум». У него даже своя звезда — Беби Дениельс. В тиши кабинета работает мистер Ианг. На экране Беби Дениельс улыбается. Они части одной машины. Их соединяет приводной ремень — Давид Сарнов. Он знает в точности, что такое кино. Кино — это «Любовь в пустыне», кино это также 19 000 000 долларов — как для кого и как когда.

Весной 1930 года Вашингтон салютовал говорящему кино. Это сопровождалось обычным церемониалом: тресты получили справку о законе против трестов. Правительство Соединенных Штатов предлагает «Американ Телефон» развестись с «Уэстерн Электрик». Оно настаивает, чтобы «Дженераль Электрик» сняло опеку с окрепшего «Радио Корпорешен» Правительство угрожает, следовательно, оно приветствует. Мистер Ианг добродушно улыбается: он знает, что такое дипломатия. Давид Сарнов, тот даже не удостаивает Вашингтона усмешки: он занят делом, ему не до глупого этикета.

2

У «Уэстерн Электрик» солидный капитал, но суровое сердце, в нем не сыскать чувства признательности. Мистер Гарри Уорнер первый оценил говорящего заику. Он подписал договор с «Уэстерн Электрик», он надеялся, что «Братья Уорнер» будут получать проценты с других фирм за патент. Он надеялся на признательность, а, может быть, и на нерасторопность. Его ждали горькие обиды: общество «Уэстерн Электрик» стало само взимать проценты, оно подписало соглашение с шестью наиболее крупными фирмами: с «Парамаунтом», «Юнайтед», «Метро», «Фоксом», «Юниверсел» и «Колумбией». Гарри Иорнер не на шутку обиделся. Он подал жалобу в суд, хуже того, — он затаил жажду мести.

Тем временем общество «Уэстерн Электрик» начало поставлять аппараты. За прокат оно взимало 6000 долларов. В течение короткого времени оно установило 6000 аппаратов в сорока двух странах. Французы плакались: хорошо американцам — у них доллары!.. А каково нам — выложить за аппарат полтораста тысяч франков!.. Владельцы театров вздыхали, но франки выкладывали: публика требовала говорящих картин. В Марселе был торжественно открыт театр «Комедия», оборудованный «Уэстерн Электрик»: 6000-й в мире, 62-й во Франции, 5-й в Марселе! Дела «Уэстерн Электрик» шли на славу, и оба мистера, тот, что епископального толка, и тот, что пресвитерианского, в разных церквах благодарили одного и того же бога — бога электрической промышленности.

Однако без испытаний нет человеческой жизни, — так говорят и в епископальной церкви и в пресвитерианской. Для «Уэстерн Электрик» настали тревож-

ные дни. Вдруг показались немцы, немцы, которые потопили «Лузитанию», которые осмеливаются вместо пленки «Кодак» предлагать какую-то «Агфу», люди без стыда и без морали.

Немцы ничуть не хуже американцев извлекают из искры Прометея надлежащие дивиденды. В Германии это называется: «Сименс унд Хальске» и АЭГ.

У Сименса 130 000 рабочих. У него свой город — Сименсштадт. Он контролирует 47 акционерных обществ. Он изготовляет все, от турбин до электрических термометров. Он не брезгует даже аппаратами «Фотоматона». Он ставит кабели Париж — Бордо или Рим — Неаполь. Он работает в Токио и в Осло, в Бухаресте и в Стокгольме. С равной легкостью он проверяет автоматические телефоны и иностранную политику Германии.

АЭГ — тоже солидный трест; ему подчинены 42 акционерных общества: оборудование шлюзов Гинденбурга, трамваи в Осаке, в Буенос-Айресе, в Берлине, в Гааге, фабрики в семи городах, локомотивы, генераторы, моторы, турбины для Норвегии, два банка, автомобили, пароходы, все и повсюду. Три буквы: АЭГ.

Когда Гарри Уорнер услышал в лаборатории «Уэстерн Электрик» говорящего заику, немцы не на шутку всполошились. Они давно работают над тем же. Они не хотят, чтобы американцы разговаривали. Они сами могут говорить: на всех языках и по удешевленному тарифу. Так были основаны два общества: «Клангфильм» и «Тобис», которые вскоре об'единились под мудрым руководством «Сименса» и АЭГ.

Закреплены патенты. Война об'явлена. Цукор в грусти: ни одна из его замечательных картин не может теперь итти в Германии. В Германии — свод законов. В Германии — «Сименс» и АЭГ. С ними не шутят честные немецкие судьи. В Германии аппараты «Клангфильма», и в Германии никто не смеет показывать американских картин. Стонут владельцы театров. Девушки, влюбленные в американских полицейских, бледнеют и чахнут. Как всегда на войне немало жертв, но враги преисполнены пыла: они мечтают о победе!

Немцы на славу вышколены. После хлебных карточек они привыкли ничему не удивляться. Они только робко спрашивают: повсюду — теперь экран говорит, даже в Бельгии, даже в Праге... Чем мы хуже других... Немцам вежливо об'ясняют: погодите! Скоро мы сделаем немецкие картины. Они будут все время разговаривать. Терпение — и мы победим, мы — «Сименс унд Хальске», АЭГ, отважные рыцари, чистокровные немцы, с национальной гордостью и с контрольными пакетами.

Во время мировой войны к центральным державам присоединились только Турция и Болгария, все подкрепления шли к союзникам. Теперь на подмогу «Клангфильм Тобису» спешат мощные армии. Первым показывается г. Кюхенмайстер. Это — человек чрезвычайно застенчивый. О нем ничего не знают даже его соотечественники, хоть он уроженец не бог весть какой страны. Голландцы умеют чтить национальных героев, они горды сэром Генри Детердингом, но они удивленно поводят своими водянистыми глазами, когда перед ними произносят имя г. Кюхенмайстера.

О каждом человеке можно что-нибудь да рассказать — Адольф Цукор любит природу и евреев, Клерк — Шекспира, Гугенберг — отечество. О г. Кюхенмайстере можно сказать только одно: он состоит во главе акционерного общества, капитал которого равняется 19 500 000 флоринов.

Г. Кюхенмайстер подписал соглашение с «Клангфильмом», и все газеты торжественно об'являют, что теперь с Америкой воюет «европейская группа».

Вслед за г. Кюхенмайстером показывается г. Шлезингер. Этот молчальник пришел не из Голландии, но из Южной Африки. К «европейской группе» присоединяется подвластное г. Шлезингеру общество «Бритиш Токинг Пикчюр». Теперь «европейцы» смогут вытеснить американцев из колоний Великобритании. Капитал вновь образованного треста превосходит миллион английских фунтов.

В Германии «Клангфильм» выиграл все затеянные им процессы. В Австрии

и в Чехо-Словакии судьи берут сторону «европейской группы». В Швейцарии суд запрещает «Фоксу» показывать говорящие картины без разрешения «Клангфильма».

«Уэстерн Электрик» крепко держится в Америке, попрежнему американцы мечтают о мировой монополии. Им пришлось очистить некоторые страны, однако война еще продолжается.

Все союзники принесли клятву верности, далеко не все пошли в бой. «Радио-Корпорешен» увиливает; Давид Сарнов не верит ни в мечты о монополии, ни в совесть немецких судей. Верный последователь мистера Ианга, он предпочитает мировую. Он старается соблюсти нейтралитет.

Нет войны без перебежчиков. Мистер Гарри Уорнер не забыл своих горьких обид. Настало время отомстить этим смиренным мистерам из «Уэстерн Электрик»... «Братья Уорнер» — американцы, их место на поле брани, но вот они садятся за один стол с немцами: папиросы, комплименты, цифры, потом скрип перышка — соглашение подписано. В правлении «Тобиса» — мистер Киглей. В правлении «Братья Уорнер» — мистер Киглей. Это не два Киглея, это не совпадение, не справка о распространенности некоторых фамилий, нет, это попросту измена Америке.

Представители «Уфы», боязливо оглядываясь, забегают к американцам. Чем они хуже «Братьев Уорнер»?.. Они тоже могут перебежать! Покупайте наши картины, а мы постараемся пробудить совесть наших добрых немецких судей!..

Бойко работают телеграфные общества и пароходные компании; что ни день летят стаи каблограмм: почтенные владельцы кинофирм, окруженные свитой, переплывают океан, они пытаются образумить зарвавшихся вояк. Адольф Цукор уговаривает немцев. Г. Клич заклинает американцев. Вилль Хейс что ни день разговаривает по телефону с обезумевшей Европой. Это — разорение, крах театров, крах фабрик, это — подлинная катастрофа. Пока не поздно — примиритесь!..

Однако, что значат все миролюбивые речи рядом с картой двух полушарий? Земля мала и нелегко ее поделить.

Обе стороны достаточно истощены — настал час Давида Сарнова. «Радио Корпорешен» может вытеснить «Уэстерн Электрик». Нельзя терять времени! Давид Сарнов заключает соглашение с европейцами. «Бритиш Токинг» получает право изготовлять картины по американским патентам. «Европейская группа» производит десант в Америке. «Парамаунт», «Фокс» и «Метро» негодуют. Смиренные мистеры полны задора: «Уэстерн Электрик» непоколебимо. У нас Канада. У нас Австралия. У нас Южная Америка. У нас почти целиком Франция и Испания. Мы можем воевать еще десять лет!..

Они кричат о победе, следовательно, час перемирия близится. Вилль Хейс заказывает апартаменты в парижском «Отель Грийон».

3

Париж в июне особенно светел и весел: это его «сезон». Цветут на бульварах чинары, в театрах гастролируют итальянские певцы и кастильские танцоры, на скачках разыгрываются самые крупные призы, все гостиницы полны приезжими: кому лестно в ясный июньский вечер взглянуть с площади Согласия на Триумфальную арку, на голубой туман, на рои автомобилей, которые кружатся, как светляки?.. Париж в июне говорит на всех языках. Он не похож на обыкновенный город: в нем бутафорские чувства, а вместо камня — трюки. Это — Холливуд, который и не снился Цукору. В нем нет ни деловых буней, ни слез. В нем много приезжих призраков.

Могли ли удивить парижан еще несколько туристов с огромными сундуками, похожими на гроба, с чековыми книжками и с улыбкой удовлетворения? Они приехали в Париж, как все. Они приехали, чтбы полюбоваться голубыми сумерками. Среди них мистер Оттерсон, директор «Уэстерн Электрик», смиренный христианин епископального толка, представитель «Парамаунта» мистер Грахем, представитель «Уорнер» мистер Киглей, тот, что не однофамилец — вездесущий мистер Киглей. Среди них Давид Сарнов и его соратник мистер Росс. Среди них, разумеется, царь кино, легкокрылая малиновка, Вилль Хейс.

Кроме американцев в Париж приезжают и другие туристы, например немцы. Ведь немцы обожают Париж. Деньги можно зарабатывать в грубой Германии, прокидывать их всего приятней в Париже. Какое кино! Какие женщины! А Лувр? А портные улицы Мира? А публичный дом Шабанэ?.. Нет, в июне мы — парижане.

Из Берлина прибывают некоторые почтенные гости. Прописываясь в гостиницах, они перед именем не забывают поставить «доктор» — это люди с самым высшим образованием. Вот, например, доктор Курт Зоберхейм, директор «Коммерц унд Приват Банк», член правления «Клангфильм Тобиса», вот доктор Эмиль Майер из АЭГ, вот доктор Фриц Люшен, представитель «Сименс унд Хальске».

Зачем они приехали, эти мистеры и доктора? Может быть, обсудить вопрос о патентах?.. Нет, не говорите пошлостей! Разве можно в Париже, да еще теперь, когда цветут чинары, говорить о каких-то низменных патентах! Они приехали подышать воздухом Елисейских Полей, этой смесью бензина, продуктов Коти и воистину божественного эфира.

У журналистов хороший нюх, у них также хороший аппетит: они хотят заработать на обед, с утра до ночи они досаждают солидным швейцарам «Отель Грийон»: они, видите ли, хотят побеседовать с одним из этих туристов, им необходимо повидать мистера Хейса!..

Вилль Хейс привык жить на людях. Кроме того, он обожает прессу. У него открытая душа и широкие замашки. Он приглашает французских журналистов к себе. Он угощает их — не сливочным мороженым, нет, на столе обильные закуски и ведерки с шампанским. Журналисты едят и пьют, однако они не забывают о главном: сейчас Хейс расскажет им нечто сенсационное о борьбе американцев с немцами, о мирной конференции — сто, двести, тысяча строк...

Зачем мистер Хейс приехал в Париж?.. Странный вопрос! Он так любит этот город! Он влюблен в Париж. Это — самый прекрасный из всех городов мира. Потом ему захотелось пожать руку Люи Люмьеру. Это — воистину гениальный человек! Он равен нашему Эдисону! Конференция?.. Простите! — на этот вопрос мистер Хейс не может ответить. Выпьем лучше за процветание международной кинематографии..

Вилль Хейс из приличая касается губами пены: допустим, что это честная сельтерская... Он продолжает восторгаться: французы — какая чувствительная натура!.. Художники!.. Творцы!..

Борьба за патенты?.. Простите! — мистер Хейс очень занят. Он должен покинуть дорогих гостей.

Война еще продолжается. Только что фирма «Уэстрен Электрик» выиграла процесс в Австрии. Австрийские судьи анулировали старый патент «Клангфильма». Конечно, Австрия крохотный рынок, но это прежде всего урок: после соответствующей обработки можно положиться даже на совесть европейских судей. Всякий закон, как известно, допускает толкования...

Война еще продолжается. Между тем в «Отель Монсо» мистеры дружески жмут руку докторам. Мирная конференция открыта. Доктор Курт Зоберхейм предлагает избрать в председатели мистера Хейса. Это — человек идеи! Все соглашаются. АЭГ или «Сименс» — серьезные предприятия. А Хейс — царь кино. Пусть председательствует!..

Делегаты долго говорят о своих добрых намерениях. Необходимо сотрудничество! Мир! Обязательно мир! Конференция закончится через два-три дня...

У каждого из делегатов перед глазами два полушария: земля еще не поделена.

Проходят дни, проходят недели, конференция все продолжается. Мистеры угрюмо молчат. Доктора мрачно философствуют. Только Вилль Хейс порхает, как малиновка: он хочет напомнить всем о радости жизни. Парижский сезон уже подходит к концу. Туристы уехали на взморье или в горы. Жарко, пыльно — теперь бы лежать на песочке!..

Наконец Хейс об'ясняет журналистам: в принципе соглашение достигнуто. Демонстрация картин с помощью любых аппаратов вне зависимости от того, ка-

кими аппаратами эти картины были засняты.

Вилль Хейс отбывает в Берлин: соглашение достигнуто только в принципе. Пора приступить к делу!

Американцы кое в чем уступили. Они отказываются от монополии. Они согласны поделить мир. За это они требуют от немцев некоторых уступок. Довольно глупых ограничений! В Германии существует «квота» для американских картин. Таков закон. Что же — законы не всегда применяются. Вспомните закон против трестов!..

Солидные доктора сносятся с правительством. Вопрос будет обсуждаться на заседании рейхстага... Пресса? Прессу можно подготовить. Нажмите-ка на депутатов!..

Вилль Хейс в Берлине. Он неутомим. Он кричит в телефонную трубку и он нежно дышит в ухо собеседника: смягчите закон!.. Несколько мелких поправок...

Владельцы немецких фирм во главе с «Уфой» устраивают Хейсу банкет. Хейс, конечно, произносит очередной спич:

— Обмен картинами способствует делу мира. Мы не должны заниматься национальной или религиозной пропагандой. Нет, наш долг об'единить все народы!

Г. Клич горячо аплодирует. Он, правда, занят теперь изготовлением большой картины, прославляющей доблести немецкого оружья. Но это дела семейные, об этом не говорят на парадных обедах. Разве те же американцы не прославляют у себя дома подвиги американских матросов в Никарагуа? Сейчас речь идет о другом: мы должны поделить мир. Следовательно, сейчас г. Клич может с легким сердцем аплодировать Хейсу. Тем более, что этот Хейс во-время обрушился на советские картины:

— Нельзя допустить, чтобы кино служило интересам одного класса. Кино — это воистину искусство для всех!..

Хейс не любит абстракции, он привык наглядно показывать правоту своих идей:

— Кино сближает народ. Мои Сыновья теперь знают, как немцы проводят каникулы, кто ваши национальные герои, как выглядит президент германской республики.

Здесь г. Клич невольно вытягивает шею: ему кажется, что он на военном параде. А Хейс уже откланивается — он занят: он должен поговорить по телефону! Завтра утром — свидание с доктором Виртом, потом — осмотр Бабельсберга.

После четырех дней переговоров Хейс, ласково улыбаясь, восклицает:

— Я верю в близкое соглашение! Положение немецкой кинопромышленности сходно с нашим: оно определяется ролью электрических трестов и крупных финансистов. Переход к говорящим картинам вызвал знакомые нам затруднения, но немецкая техника заслуживает всяческих похвал. Нет сомнения в том, что мы найдем базу для совместной работы!..

Хейс трудился не зря. Вопрос о «квоте» обсуждается в рейхстаге. Три четверти скамей пустуют: это последние дни перед каникулами — мелкие дела, скучная повестка, многие депутаты уже отбыли на отдых. Иностранные картины?.. Кого это может заинтересовать? Правда, среди депутатов немало любителей кино. Они знают толк в икрах Клары Боу и в глазах Греты Гарбо. Но «квота»?.. Министр внутренних дел предлагает отменить некоторые ненужные формальности. Вспомните — кино способствует сближению народов. Министр ничего не говорит о нуждах электрической промышленности: он щадит эстетические наклонности почтенных депутатов. Вместо «Уэстерн Электрик» — ноги Клары Боу... Позевывая от июльского зноя и скуки, депутаты голосуют: националисты, разумеется, «за» — они за национальные интересы г. Гугенберга. «Против» — только социал-демократы и коммунисты. Они не способны понять ни пения малиновки, ни морального кодекса, ни интересов «Сименса» и АЭГ. Впрочем, они все равно в меньшинстве, их едкие реплики не доходят до стенографисток.

Поправка, принятая рейхстагом, дает министру внутренних дел право изменять «квоту» в зависимости от потреб-

ностей рынка. Доктор Вирт спешит заверить министра Хейса: германское правительство не будет впредь слишком педантично придерживаться закона.

Карта двух полушарий, пестрая Европа, Америка мистера Ианга, загадочная Азия, пустоватая Африка — негры и антилопы, наконец Австралия, не надо забывать об Австралии — там 1500 кинотеатров. После долгих разговоров земля наконец-то поделена. Немцам дают Центральную Европу, от Скандинавии до Балкан, а также нидерландские колонии. 180 000 000 душ. Это империя «Кланг-фильм—Тобис—Кюхенмайстера». Американцы получают: Соединенные Штаты, Канаду, Индию, Австралию и Россию. В Англии — двойной протекторат: доходы делятся, три четверти американцам, четверть немцам. За право пользования патентом будет взыматься одинаковая дань с австралийцев, с русских и с мексиканцев. Земля поделена на 15 лет.

Договор, как и надо было ожидать, подписан в Париже. Правда, Париж в августе лишен июньского очарования: он пахнет горячей пылью и маргарином дешевых ресторанов. Театры закрыты, и все «звезды» — от «звезд» мюзик-холла до «звезд» парламента — в Довиле или в Биарице. Однако Париж даже в августе — Париж, это — столица мира. Это к тому же нейтральное место, здесь и мистеры и доктора только гости. Поблагодарим любезный Париж! Французы теперь вольны брать немецкие или американские аппараты. Они могут платить Давиду Сарнову, министру Оттерсону или г. Кюхенмайстеру. Они могут платить по своему выбору. Что касается размера платы, то он строго установлен, им нечего беспокоиться: никто не скинет ни одного сантима.

Мир заключен! Не грохочут пушки. «Отель Монсо», и тот не вывесил флагов. Это не для публики. Для публики: Пола Негри разводится со своим вторым мужем. Для публики — новая картина: «Любовь в фелюге». Мир — это для высоких сердец. Мистер Оттерсон может славить господа в епископальной церкви, а мистер Блюм в пресвитерианской.

Что касается Вилля Хейса, то он славит господа среди волн Атлантики, на палубе парохода «Иль-де-Франс». Он молится перед микрофоном:

— Я всегда был оптимистом. Вопрос о патентах наконец-то улажен. Мы пошли на уступки — ничего не поделаешь: в политике существует только возможное. Однако наши картины весьма популярны, и мы сохраним наше место. Мы воспитываем все народы мира!..

Большой кус земли, помеченный на карте «Россия», достался американцам. Давид Сарнов будет теперь отпускать в Россию свои аппараты. Это куда интересней, нежели орден «Возрожденной Польши»!.. Мистер Оттерсон будет взимать за патент — 500 долларов с катушки. Правда, эти большевики преследуют все церкви: и епископальную и пресвитерианскую, но Россия — большая страна, с нее можно взыскать достаточно долларов.

Вилль Хейс, как всегда, бодро прыгает по своему кабинету. Вдруг лицо его меняется. Он сразу становится вместо малиновки орлом. Он грозен и суров. Исчезла улыбка. Прыжки стали роковыми. Телефонная трубка летит в сторону. Трудно поверить, но он сейчас жесток даже со своей возлюбленной, с этой невинной трубкой. Что же так взволновало его? Может быть, плутоватые немцы не толкуют как надо закона о «квоте»? Может быть, обанкротились «Братья Уорнер» — давно поговаривают, что они дышат на ладан?.. Может быть, чехи или румыны взбунтовались против картины «Парамаунта»?..

Нет, вести куда мрачней. Американцам принадлежит земля, помеченная на карте «Россия». Русские должны покупать у нас аппараты. Хейс перечитывает телеграмму. «СССР»... Да, они зовут себя «СССР». Это, конечно, глупо. Они должны называть себя согласно карте. Но не в этом беда — «СССР» оборудовал фабрику для производства аппаратов по системе инженера Шорина. Предполагается вскоре выпустить серию говорящих картин...»

Здесь Хейс теряет спокойствие: эти наглецы могли выбирать между мистером Сарновым и мистером Оттерсоном.

Они посмели сами что-то придумать. Они изготовляют какие-то свои аппараты, не считаясь с постановлениями парижской конференции! Это неслыханная дерзость!.. Их надо срочно наказать!..

Телефон. Мистер Оттерсон. Наказать! Мистер Сарнов. Покарать! Мистер Цукор. Запереть. Мистер Клерк. Сломать! Мистер Хейс. Алло, алло!.. Я разговариваю... Уничтожить!

Рабство в XX веке! Принудительный труд! Демпинг! Преследования христиан! Библия запрещена! Сгоняют священников на работы: рубка леса! Изготовляют сами аппараты! Без патентов! Против закона! Против бога! Покарать! Запереть! Уничтожить!

В Нью-Йорке показывают советскую картину «Турксиб». Тотчас же прекратить это безобразие! Можно ли показывать честным пресвитерианцам, методистам и баптистам подобные низости? Наверное социализация женщин. Убийство священников. Пытки. Они и не слыхали о нашем моральном кодексе. Постройка железной дороги? Возмутительно! Это сделано руками рабов, это хуже, чем в Либерии! Мы героически боролись за отмену рабства, об этом свидетельствуют несколько хороших картин, даже негры у нас свободны — они могут ходить на балкон. Как же после этого допустить пропаганду рабства? Сначала строят железные дороги, потом — аппараты для говорящих картин. Алло! Цензуру штата Нью-Йорк! У телефона мистер Хейс...

Несколько часов спустя служащие спешно переклеивают афиши: замечательная драма — «Любовь кузины Анни»! В газетах коротенькое сообщение: «По требованию организации Хейса советская картина «Турксиб» больше не будет допущена к публичной демонстрации».

Взлетев на тридцать седьмой этаж, малиновка удовлетворенно щебечет.

300 000 000 еженедельно смотрят на экран. Кино — это сердце — вы ведь все знаете, что сердце — червонный туз и стрела. Смотрите: «Сердце и честь», «Пылающее сердце», «Сердце победителю», «Король сердца», «Сердце не стареет» «Голос сердца», «Сердце в штанах». Кино — это красота: в Холливуде установлено — расстояние между глазами должно равняться длине одного глаза, верхушка уха должна приходиться на уровне брови. Кино — это «звезды» — Долорес дель Рис приручила двух медвежат, а Коллин Мур обожает козленка.

Давид Сарнов попрежнему усмехается; никто не знает, каково расстояние между его глазами и на каком именно уровне находятся его уши. Он вполне равнодушен к сердцу, черви для него обыкновенная масть. Он не держит у себя ни козлят, ни медведей. Он только торгует лицензиями. Земля поделена. Радио Корпорешен» ведет переговоры о покупке «Метро» и «Лоу». «Радио Корпорешен» занят приспособлением телевидения для нужд индустрии: кино на дому. «Радио Корпорешен» выпускает новые акции. Давид Сарнов усмехается. Что такое кино?.. Кино — это электричество.

VI. При темно-красном свете

1

20 июня 1896 года Джорж Истман писал Томасу Эдисону: «мы получили письмо от г. Пирю — Париж, 5 бульвар Сан-Жермен, в котором он нас запрашивает касательно так называемых «живых фотографий»...

Мистер Истман узнал в точности, что такое «живые фотографии». Это кино и это его, Истмана миллионы. Он куда богаче и Цукора, и Фокса; но он не ломает головы над жалкими трюками, он не ищет подозрительных красоток, нет, он только изготовляет пленку.

Другие миллионеры любят хвастливо рассказывать, как достигли они богатства и славы. Мистер Истман никогда не говорит о своих заработках; он предпочитает другие, более возвышенные темы: он говорит о музыке или о нравственных обязанностях гражданина Соединенных Штатов.

Он начал с «сухих пластинок». Картонные скалы, фон в виде цветущей яблони, маститые коммерсанты, преисполненные духовности, фата новобрачной, платья с буфами, семейное счастье, ци-

линдры, вся живописная и ленивая жизнь минувшего столетья, благодаря усердию мистера Истмана, попадала в паспарту и густо облепляла стены наших жилищ.

Истман был просто фабрикантом. Он изготовлял товар на редкого любителя. Фотографии стоили дорого, и люди снимались только при особо торжественных обстоятельствах.

Джорж Истман не мог этим удовольствоваться. Он мечтал о большем: «мои желания ограничены только моей фантазией». Задолго до Форда он начертал заповеди: стандартное производство, низкая цена, заграничные рынки, хорошая реклама. Он уже знал, как изготовлять и как продать. Надо было подыскать подходящий товар. Истман придумал дешевые и удобные аппараты. Он одарил все языки мира новым словом: «кодак». Сначала это было наименованием фирмы, но ковычки быстро отпали. Туристы, снующие как мошкара вокруг скал и водопадов, теперь немыслимы без этой детали: «он щелкал кодаком» — так значится в любом романе.

Джорж Истман охотно рассказывает, как он создал новое слово. Это сентиментально и поучительно. Девичья фамилия его матери Кильборн. Истман — примерный сын. Так родилось первое «к». Два «к», однако, лучше. Это буква с характером и сразу бросается в глаза. Необходимо найти слово, которое легко бы произносили люди во всех пяти частях света. Истман человек на редкость одаренный: не будучи химиком, после долгих опытов он нашел нужную эмульсию, не будучи механиком, он построил модель портативного аппарата, не будучи поэтом, он создал новое слово: «кодак».

Остается придумать боевой лозунг. Истман и здесь не плошает. Стены Америки покрываются соблазнительным приглашением: «нажмите кнопку, мы сделаем остальное». Это всем нравится, это тотчас же входит в быт. Ораторы говорят избирателям: «нажмите кнопку, мы сделаем остальное». Банкиры теперь знают, что шептать доверчивым клиентам. Некоторые легкомысленные особы по-модному соблазняют запоздалых пешеходов. Вся Америка нажимает кнопку. Мистер Истман делает остальное.

На карте мира крохотные флажки — это отделения «Кодака»: Париж и Мельбурн, Шанхай и Милан, Петербург и Лондон, Токио и Берлин, Константинополь и Кантон.

Джорж Истман достиг богатства не только находчивостью, но и бережливостью. Ему было 15 лет, когда он впервые заработал 5 долларов. Его сверстники тратили деньги на цирк или на сласти. Джорж внес деньги в банк, он открыл текущий счет на свое имя. Он поступил в страховую контору. Ему платили три доллара в неделю — он был еще мальчиком. Он завел книгу и аккуратно он записывал в нее все свои траты. Только одна пометка свидетельствует о некотором излишестве: 12 июля Джорж потратил 15 центов на сливочное мороженое.

К приходо-расходным книгам мистер Истман относится с нежностью — это его автобиография. Мистер Экерман решил написать научный труд, посвященный жизни достославного творца «Кодака». Мистер Истман не стал рассказывать мистеру Экерману о своих интимных воспоминаниях, нет, он только достал из шкапа приходо-расходные книги — вот она, его молодость!..

Легко нажить миллионы, куда труднее их потратить! Джорж Истман остался скромным и неприхотливым. У него нет ни жены, ни детей, ни близких. Он по-библейски одинок. Что ему делать с миллионами?.. Правда, у него прекрасный дом с садом и оранжереей — подобно Адольфу Цукору, подобно всем деловым американцам, Истман особенно любит птиц и цветы. Он выращивает редчайшие разновидности роз. Он нюхает розы и умиляется. Но что значат даже самые драгоценные розы по сравнению с доходами фирмы «Истман-Кодак?»

Кроме роз у Истмана еще одна страсть: он обожает музыку. Это скорей всего несчастная любовь. В молодости он хотел играть на флейте. Он учился не год и не два, но, постигнув легко химию и механику, он так и не постиг простой гаммы. Он не может узнать ни одного мотива. С грустью оставил он недоступную флейту. Недавно он по-

жертвовал 6 000 000 долларов на музыкальное училище имени Истмана — это любовь к музыке и это воспоминание о своей печальной страсти.

Мистер Истман жертвует не только на музыкальное училище, он самый страстный из всех американских филантропов. Он старается потратить миллионы, оставаясь при этом скромным Джоржем Истманом. Но он знает, что не доллары спасут человечество: «человек куда сильнее денег!» Истман занят воспитанием Америки. С чего он начал? С пяти долларов, внесенных в банк!.. Он рассылает управляющим инструкции: при выборе служащих вы должны руководствоваться моральными соображениями. Я никогда не брал взаймы ни одного цента. С ранних лет я приступил к сбережениям. Если рабочий живет не по средствам, если он берет взаймы, если не откладывает он на черный день, он заведомо не надежен и ему не место на наших фабриках!

Истман не любит тратить на пустяки. Однако в делах он отнюдь не скуп. Он боролся с фирмой «Энтени и Ко». Он решил задавить противника. «Это нам обойдется довольно дорого, но, уничтожив Энтени, мы очистим поле и наши деньги вернутся к нам с лихвой». Он уничтожил «Энтени и Ко». «Пате» долго сопротивлялся, но и здесь Истман победил: он получил контрольный пакет. Остались только немцы. Истман начал спускать цены. Он готов продавать в убыток. Он успокаивает встревоженных компаньонов: завтра мы отыграем все проигранное!.. Истман смотрит далеко вперед.

Зоркие глаза принуждают его уделять немало внимания социальному вопросу. «Я ищу не власти, но защиты труда». Это очень благородно и естественно, что мистер Экерман написал о Джорже Истмане толстую монографию. Как всякий деловой американец, Истман презирает политику. «Патенты меня занимают куда больше, нежели выборы». Он любит подчеркивать свою терпимость: на его фабриках работают и протестанты, и католики. Ему нет дела до религии рабочих, ему также нет дела до их политических убеждений. Он пишет реверенду о'Хирну: «принцип нашей фирмы никогда не вмешиваться в воззрения служащих...»

Вскоре после этого Истман узнает, что один из его подчиненных, некто Джорж Девизон пожертвовал деньги на анархический журнал. (Надо сказать, что для мистера Истмана все недовольные существующим распорядком «анархисты».) Истман не вмешивается в воззрения своих служащих. Он пишет Девизону любезное письмо: «Я вполне дружелюбно к вам настроен. С интересом слежу я за вашей общественной деятельностью. Я отнюдь не хочу вас осуждать, я только указываю, что ваши убеждения никак не совместимы с вашей работой. Я надеюсь, что вы сами сделаете выводы...» Джорж Девизон оказался догадливым: в тот же день он получил расчет.

Мистер Истман не вмешивается в дела рабочих, он не хочет, чтобы рабочие вмешивались в его дела. Он презирает демагогию. Другие фабриканты любят хвастаться: к нам приходят рабочие с жалобами на непорядки!.. Истман сторонник организации. Рабочий подчинен мастеру, мастер управляющему цехом, управляющий директору фабрики, директор мистеру Истману. Так никто не теряет времени и ни у кого нет опасных иллюзий.

Полировщики и токари об'явили забастовку. Они требуют, чтобы дирекция признала их профессиональный союз: делегаты союза должны иметь доступ на фабрику «Кодака». Истман не на шутку рассержен: никто не вправе его контролировать! Он сам вышел из трудового народа, он любит рабочих, он жертвует на страхование и на дешевые жилища, но он никогда не допустит, чтобы рабочие совали нос куда им вздумается! Это начало анархии!..

Мистер Истман не хочет, чтобы в его дела вмешивалось и государство. Когда глупые политики пытались установить минимум заработной платы, Истман их жестоко высмеял: если повысить заработную плату, повысится стоимость жизни, рабочие от этого ничего не выиграют. Рабочие выиграют, если они будут энергичней работать. Необходимо соблюсти равновесие. Конечно, наш долг заботиться о комфорте рабочих. Но не следует забывать о другой столь же вы-

сокой обязанности: мы должны удовлетворять потребности публики. Разве рабочий не щелкает кодаком? Разве он не ходит в кино? Пленка должна стоить дешево. Поднять заработную плату — это преступление перед рабочим классом!..

Истман помогает рабочим строить в Рочестере маленькие домики. Это привязывает рабочих к «Кодаку», это также ограждает их от преступной пропаганды. В 1921 году вследствие жестокого кризиса мистер Истман понизил ставки. Несмотря на это, рабочие продолжали строить домики: дирекция им помогала. В течение первых лет свыше 6000 рабочих стали домовладельцами. Но мистер Истман не ограничивается постройкой домов. Россказни анархистов способны увлечь даже американского рабочего. Истман решается на смелый шаг: мы должны заинтересовать наших рабочих в прибыли. Для начала он выдает проработавшим свыше пяти лет два процента их годичного заработка. Он об'ясняет: это не просто наградные, нет, это результат вашей работы. Дела нашей фирмы идут хорошо, и мы уделяем вам часть наших доходов.

Истман вводит конкурс на счастливые идеи. Он говорит рабочим: придумайте что-нибудь, способное уменьшить время работы и тем самым понизить себестоимость продукта. Если дирекция воспользуется вашим изобретением, вы получите от одного до тысячи долларов. Теперь рабочие, вместо глупых утопий, займутся делом: каждому приятно заработать несколько лишних монет...

Истман печется о здоровьи своих рабочих: вентиляторы, пылесосы, гигиена. Ему удалось сократить число несчастных случаев. Он создал солидный фонд для пенсий: «наша фирма уже не молода, настало время позаботиться о судьбе тех рабочих, которые состарились у нас на службе».

Несмотря на все благодеяния мистера Истмана, анархисты не унимаются. Дни Истмана отравлены сомнениями: то приключается на его фабрике забастовка, то он замечает глупую газетку. Повсюду видит он врагов: анархистов, коммунистов, социалистов. Куда только они не забираются!..

Истман судится с фирмой «Анско». Это тяжба о патенте Гудвина. Хотя Гудвин запатентовал свое изобретение на два года раньше, нежели «Кодак», мистер Истман уверен в успехе: что значит «Анско» по сравнению с «Истман-Кодаком»!.. Но вы забыли о кознях агитаторов!.. Мистер Истман пишет: «мы наверное победим, если на судей не окажут влияния социалисты и пропаганда, направленная против трестов»...

Мистер Истман проиграл дело. Он подал жалобу в кассационный трибунал. Он проиграл вторично. Он заплатил фирме «Анско» 5 000 000 долларов, и он проклял анархистов. Пять миллионов для фирмы «Истман-Кодак» гроши. Дело в принципе. Их надо уничтожить! Они куда опасней всех конкурентов. Речь идет не о дивидендах «Истман-Кодака», но о благоденствии человечества.

Говорят, что социалисты любят красный цвет, яркокрасный, как кровь. Что же это соответствует их преступным замыслам! Мистер Джорж Истман предпочитает темно-красный цвет мастерских, где рабочие изготовляют хорошую пленку.

2

Перед мистером Истманом пачка газет. Это не происки «Агфы». Это даже не волнения в Рочестере. Это катастрофа! Мистер Истман знал Россию, как хороший рынок. Там покупали немало кодаков. Там начиналась кинематографическая индустрия. Можно сказать, что мистер Истман любил Россию. И вот Россия стала страной злоумышленников! Они национализировали фабрики. Они не платят долгов. Он не признает иерархии. Мистер Истман глубоко возмущен. Он готов на все жертвы ради рабочих. Он жалеет обиженных судьбой. Он недавно пожертвовал солидную сумму на университет для негров. Но рабочие должны оставаться рабочими: вне этого нет ни труда, ни цивилизации.

Мистер Истман пишет взволнованное послание всем своим рабочим: «В некоторых странах восторжествовал яд анархии. Граждане этих стран не видели опасности. Не будем столь беспечными

в Рочестере! Злая пропаганда отравляет душу народа. Эта пропаганда проникает и к нам. Ваше благосостояние и ваш комфорт тесно связаны с процветанием фирмы «Истман-Кодак». Рабочие и дирекция всегда жили в мире. Мы хотим, чтобы у вас были удобные жилища, чтобы ваши дети посещали хорошие школы. Слава богу, среди вас мало зараженных! Нам трудно их обнаружить. Вы же их знаете: они работают среди вас. В ваших руках лекарство. Я забочусь не только о себе, но и о вас. Мы строим, а не разрушаем. Наша работа основана на взаимном доверии...»

Послание мистера Истмана напечатано и вывешено во всех мастерских. Рабочие испуганно переглядываются: кого рассчитают?.. Время теперь тяжелое — трудно найти работу. Особенно встревожены те, у кого в Рочестере уютные домики, построенные с помощью дирекции «Истман-Кодака»: что они будут делать, если их прогонят?.. Некоторые половчей начинают выискивать «агитаторов». Мастера предлагают поблагодарить хозяина за доверие. Приветственный адрес тотчас же покрывается тысячами подписей.

Глядя на длинный перечень имен, Истман удовлетворенно улыбается. Не зря он всю жизнь думал о благе своих рабочих! Русские прогнали и царя, и фабрикантов. Но Рочестер не Россия. Здесь рабочие обожают мистера Истмана, здесь никогда не будет никакой революции!

Умиленный Истман диктует, как апостол Павел, второе послание. От всего сердца благодарит он рабочих. «Я знал, что опасные элементы у нас незначительны... Вы показали себя истинными американцами. Мы преданы свободе духа и эта свобода нас предохраняет от революционной пропаганды»...

Мощь в Германии определяется несколькими буквами АЭГ — это электричество, ИГ — это химическая промышленность, это удобрение, газы, краски, это хороший урожай, дешевые продукты и дешевая война. Это также пленка, следовательно, любовь самых дорогих «звезд». На фабриках ИГ работают 85 000 рабочих. В конторах ИГ трудятся 21 000 служащих. Дом ИГ во Франкфурте может быть справедливо назван дворцом XX века. Это огромное здание из стали и стекла. Ни орнаментов, ни картин, ни цветов. Это дворец синтетического азота, слезоточивых газов и магического целлулоида.

У ИГ много детей, одну из его дочек зовут «Агфой». «Агфа» не занимается ни красками, ни поташом, «Агфа» изготовляет кино-пленку. Все сырье поступает с фабрик ИГ. 5000 рабочих. Мир для них темен и загадочен. Они не видят обыкновенного света. Их зрачки с каждым годом перерождаются. Рыбы в подземных озерах слепы от рождения. Рабочие, однако, должны видеть: они стоят у машин. Пленку делают при темно-красном свете, панхроматическую при темно-зеленом. Когда рабочие выходят на свет, они болезненно щурятся. Они не верят ни солнцу, ни дню. Это слепые рыбы, которые барахтаются под землей. Это обыкновенные рабочие фабрики «Агфа». У «Кодака» работают их товарищи. Рабочим легко сговориться друг с другом; но как примирить мистера Джоржа Истмана с директором «Агфы», с доктором Вильгельмом Лауфером?..

Во время войны Истман был горячим патриотом, день и ночь работал он на оборону. Он поставлял материалы для военных с'емок. Он настаивал, чтобы солдатам показывали патриотические картины: «это подымает дух наших войск. Мы должны отпускать товар по возможно более низкой цене. Я распорядился, чтобы наши отделения в Петрограде и в Милане сделали бы русскому и итальянскому правительствам соответствующие предложения»... Военное министерство почтило Истмана благодарственным адресом.

Но у мистера Истмана благородное сердце: когда немцы сдались на милость победителей, он не хотел добивать лежачего. «Я никогда не соглашусь на длительный бойкот этой нации. Мы должны руководствоваться не чувствами, а разумом». Он выбирал из двух зол меньшее: лучше козни какой-нибудь «Агфы», нежели анархия! Он уже знал,

что такое радиотелеграммы из оголтелого Петрограда.

Мистера Истмана не послушались. Союзники жадно накинулись на добычу. Тогда Истман попробовал получить свою долю. Он не хотел ни контрибуции, ни унижений. Он хотел только взять «Агфу» и этим обеспечить за собой европейский рынок. Он поручил фирме «Герц» заняться переговорами. Но «Агфа» ничего не могла сделать без согласия ИГ. Родители наотрез отказали жениху. Истман пожал плечами и понизил цену на пленку. Он американец, следовательно, он оптимист.

Однажды обычное спокойствие ему изменило. Он просматривал данные о вывозе «Агфы». Он увидал, что Россия покупает в Германии ежегодно 185 000 катушек. Можно простить барыши, но ведь благодаря этой пленке анархисты ведут свою злую пропаганду!.. Весь день мистер Истман хмурился. К вечеру он решил попытаться проникнуть в Россию: если эти разрушители хотят обязательно покупать пленку, пусть они покупают пленку «Кодака»!..

ИГ повело наступление на Америку. Немцы заручились поддержкой некоторых влиятельных американцев. Патриотизм здесь не у места — дело касается дивидендов. В правление американского разветвления ИГ вошли: мистер Ригл из «Стандарт Ойль», мистер Эдсель Форд из «Форд Мотор Ко», мистер Майчель из «Нашиональ Сити Банк»: нефть, автомобили, биржа. С такими союзниками не пропадешь!

Старый Истман хмурится. Стоило ли начинать с приходо-расходных книг, пятьдесят лет трудиться, не переводя дыхания, корпеть над эмульсией и над патентами, чтобы потом оказаться под ударом каких-то беззастенчивых европейцев?.. Правда, интересы «Истман-Кодака» ограждены таможнями, но мистер Истман не верит в волшебство шлагбаума. Он знает, что всегда легко найти лазейку. Не раз он обходил таможенные рогатки. Он изготовляет во Франции пленку «Патэ-Кодак». Это французский товар, над ним трудятся французы, закон соблюден, а вот доходы идут Истману... Наверное и немцы не сплохуют...

Немцы не сплоховали. Они начали переговоры о покупке американской фирмы «Анско». Они строят фабрику пленки в Америке. Они не будут платить высокой пошлины. Они дадут работу нескольким тысячам безработных. Куда приятней изготовлять панхроматическую пленку при темно-зеленом свете, нежели натощак торговать яблоками на светлом Бродвее!..

Они работают в Рочестере у «Кодака», в Битерфельде у «Агфы», в Венсен у «Патэ». Ведь без них не было бы ни Цукора, ни Фокса, ни штиблет Чаплина, ни «Кровавой любви», ведь без них не было бы кино. Они делают пленку, нежную, лимонно-желтую пленку, еще не видавшую света, еще чистую от всех унылых снов, от великодушных полицейских и от полураздетых красавиц, длинную пленку с аккуратными дырочками, миллионы и миллионы метров.

Эмульсию пропускают через холодильники. В темных мастерских температура ниже нуля. Ни света, ни тепла. На экране — «Любовь в снегах», здесь только зябкое томление; люди ежатся и работают: один стоит у крана, другой отодвигает рычаг, третий следит за струей. Сколько их? В темноте глаз едва различает тени. Может быть, сто. Может быть, двести. Изо дня в день: рычаг, кран, струя. Каждую пятницу в театрах меняют программу, одна «звезда» приходит на смену другой, мистер Истман нюхает цветы и предается благотворительности, здесь холод и темнота, здесь ничего не меняется: также течет струя. Ведь здесь люди попросту работают.

В мастерской, где производится перфорация, тот же мрак, но вместо уныния мертвецкой — адов шум. Рабочие ничего не слышат. Уши им не нужны, им нужны только глаза, чтобы при скудном свете не ошибиться, не отдать машине пальцев или ноги. Величайшая точность требуется в определении перфорации. Здесь самые усовершенствованные машины: они никогда не ошибаются. Если здесь, что ни день, происходят несчастные случаи, то машины в этом неповинны: ошибаются рабочие.

Для них существуют приемный покой и социальное страхование. Отхваченные пальцы никак не могут отразиться на высоком качестве пленки.

В одной мастерской рабочие задыхаются от ядовитых испарений, в другой, пронизываемые вечной сыростью, они неминуемо заболевают, в третьей они зябнут, в четвертой — глохнут, в пятой от высокой температуры они высыхают, как мумии, во всех они не видят обыкновенного света, хотя бы света крохотной свечки: это кроты, это летучие мыши, это жалкие карпы подземных вод. В их судьбе неповинен ни добрый мистер Истман, ни доктор Лауфер, ни «звезды», ни прокатчики, ни наука. Они должны изготовлять пленку, потому что каждый вечер миллионы людей хотят скорее забыться после нудной работы. Механик стоит у проекционного аппа- Работа подземных рабов оправдана: люди смеются и люди плачут.

Рабочие кашляют, волочат ревматические ноги, трут воспаленные глаза; после стольких-то часов работы, как и все люди, они бродят по освещенному солнцем или лампами миру. Как все люди, они вечером идут в кино. Темные залы им кажутся светлыми. Они хмурятся. Они смотрят: «Любовь в аду». Это очень увлекательная картина! Как все люди, они сочувственно вздыхают над муками симпатичной «звезды». Они трут пальцами глаза: может быть потому, что им жалко эту девушку, может быть потому, что они работают на фабрике пленки.

Мистер Истман не оробел перед немцами. Он продолжает трудиться. Он верит в будущее. Ему уж за семьдесят. «Истман-Кодак», как прежде, дает прекрасные дивиденды. Легко заработать миллионы, труднее от них избавиться. Возраст мистера Истмана заставляет его призадуматься: что ему делать с деньгами?.. Тогда, как Рокфеллер, он начинает жертвовать. Это мудро и это непреложно, об этом сказано в библии: всему свое время, время собирать камни и время кидать их. Когда-то люди зарабатывали на тихую старость. Это было до Рокфеллера, до Истмана, до нашей эры. Теперь в руках одинокого старика — миллионы. И старик испуганно озирается. Он как бы хочет расквитаться с людьми. Он брал. Теперь он дает.

В течение нескольких лет Джорж Истман пожертвовал на различные просветительные начинания 55 000 000 долларов. Ему ничего не нужно для себя! Вот только пусть технический институт называется «именем Истмана»! Это дрожь старого и седого человека. Он обессмертил себя одним придуманным словом: он — это «кодак». Он оставит после себя фабрики, заводы, мастерские, магазины: гигантский трест. Но этого ему мало. Он ничего не оставит после себя: ни детей, ни тепла. Он прилепляет свое имя к какому-то высокому дому, где мальчики проказничают в переменку, где смех и жизнь.

Попрежнему Истман утешается розами и музыкой. Каждое воскресенье он устраивает у себу музыкальные вечера. Гости слушают музыку и с почтением смотрят на великого хозяина.

Истман устроил в Рочестере кинотеатр. Он говорит: кинематограф это брат музыки. Он любит экран, он любит также пленку, деятелей кино он не долюбливает — это подозрительные люди! Только одного человека он встретил в этом мире теней — Адольфа Цукора. Что сближает их? Может быть, любовь к музыке и к розам? Или презрение к анархии? Или, наконец, легкий привкус тленности мира?.. Они нежно любят друг друга.

Однажды Цукор был в гостях у Истмана. Вдруг он исчез. Его нашли в детском госпитале. Этот госпиталь содержится на средства Истмана. «Папа-Цукор», растроганный и музыкой и дружбой, тотчас же выписал чек в пользу бедных ребят. У этих людей действительно отзывчивое сердце! Мистер Истман поручил мистеру Цукору оборудовать театр в Рочестере для демонстрации говорящих картин. Как никак это дело: в театре 3400 мест. Цукор не только сердечный человек, это также человек деловой, он сумеет наладить предприятье!..

/

Джоржу Истману уже за семьдесят. Не пора ли передохнуть?.. Пленка, патенты, представители, процессы, акции... Когда ему становилось невмоготу, он

либо нюхал розы, либо читал полицейские романы. Теперь настало время отойти в сторону, издали взглянуть на свою бурную жизнь...

Мистер Истман решил убежать от мирской суеты, убежать, как убежал от своих домашних старый Толстой. Уединиться! Подумать о близкой развязке! Стать под конец не директором фирмы «Истман-Кодак», но просто человеком!

У мистера Истмана слишком много денег. Ему слишком легко убежать от мира. Он убегает, конечно, не в соседнюю деревушку, он убегает в доподлинную глушь. Все газеты сообщают о важном событии: мистер Джорж Истман решил совершить путешествие в Африку.

В Африке много простора, там пальмы и негры, там никто не берет патентов и никто не борется с анархией, Истман, наверное, отдохнет в этой Африке!..

Несмотря на свои лета, он еще бодр и подвижен. Он ездит, смотрит, нюхает невиданные цветы. Жизнь сулит ему много неизведанного: ему, например, подносят яйцо страуса. Туземцы почитают эти яйца за святыню, но мистер Истман культурный американец; он ест яйцо страуса всмятку. Этот торжественный акт тотчас же запечатлевается с помощью кодака и вскоре все рабочие Рочестера любуются прытью их старого хозяина. Рабочие продолжают стоять у рычагов: холод, жар, визг, мрак. Мистер Истман вдали от мирской суеты ест яйцо страуса.

Однако он никуда не ушел от суеты. Он не может забыть о пленке. Он оставил в Рочестере мистера Лоеджойса и мистера Стюберта. Борются ли они с анархией?.. Не понизилась ли производительность?. Над скорлупой диковинного яйца Истман шепчет:

— Я ушел только на время... Я хочу посмотреть справятся ли они без меня?..

Пальмы, негры, страусы. Но Джорж Истман озабочен. Он все время думает о пленке. Он даже не успел подумать о близкой развязке. Он только печально вздыхает: справятся ли они... не теперь... потом... когда я уйду навеки...

VII. Скучная картина

1

Фирма «Синероман» поручила режиссеру Марселю л'Эрбье сделать картину по роману Золя «Деньги». Марсель л'Эрбье до того делал картины преимущественно из быта роковых красавиц и русских «принцов». Он никогда не занимался финансовыми операциями — это художник и эстет. Как человек добросовестный, он прежде всего направился на биржу, дабы изучить неведомый для него мир.

На ступенях биржи какие-то молодчики неистово орали. Они потрясали палками, они роняли капли пота и котелки, они плевались цифрами. Марсель л'Эрбье не мальчик однако и он растерялся. О чем они кричат?.. Может быть, под ступенями биржи открылись золотые копи или фонтаны Парижа превратились в нефтяные источники?..

Какой-то неприятный человек, с перекошенным лицом и с перевернутым галстуком, оттолкнув соседа, крикнул:

— 63!.. 68!..

Превосходный фегурант... Вот достать бы такого... Крупный план... Чем он занят? Нефтью? Медью? Каучуком?..

Одержимый пренебрежительно усмехнулся: новичок...

— 68!..

Он продавал киноакции.

На картинах, изготовляемых фирмой «Патэ-Натан», — петух, гальский петух, он задорно вытягивает шею и, приветствуя зарю, он кричит: «кукареку». Что может быть поэтичней гальского петуха? Что может быть почтенней директора фирмы г. Натана? Он стойко защищает французские интересы от происков иностранцев. Это не делец, это герой, «пуалю» мирного времени. Это гальский петух, но с финансовым опытом, которого недостает традиционному петуху.

Правда, о прошлом г. Натана некоторые скептики говорят вполголоса. Но стоит ли доверять злым языкам? Да и какое кому дело до прошлого? Базиль Захаров в молодости ознакомился с нарами обыкновенной английской тюрьмы. Отбыв срок, он не начал писать баллады, нет, он занялся делами посерьезней и он стал «сэром Безилем». С г. Натаном беседуют министры. Он возглавляет крупное акционерное общество. Он собирается купить немецкую фирму

«Емелька». Что стало бы с французским кино без г. Натана? Пусть г. Натан выходец из Румынии, душой он француз, его петух кричит исключительно по-французски.

«Патэ-Натан» не торопится с изготовлением картин. Это хлопотно, да и неинтересно. Когда г. Натану не спится, он не мечтает ни о пышных постановках, ни о «звездах» — г. Натан не Адольф Цукор. Он занят другим. «Патэ-Натану» принадлежит 64 театра и каких — «Омния», «Линдер», «Мариво»! С говорящими картинами выручка повысилась в четыре раза. Но суть и не в театрах. Г. Натан как никто умеет добывать деньги. Он находит нужных людей. Он говорит о выпуске новых акций, о банковских кредитах, об отсрочке платежей, о человеческом простодушии и о выоокой алгебре биржи. Он говорит. Он уговаривает. Он получает.

Г. Натан в свое время нашел г. Серфа. Они встретились и поговорили. Г. Натан давно промышлял кинематографом, он был, если угодно, специалистом. Г. Серф знал только имена «звезд», да котировку киноакций. Г. Серф не знал кино, зато он знал солидный банк «Боер-Маршаль»: г. Серф предложил банкирам заняться кино. Им, конечно, не придется выступать в дурацких комедиях, их дело простое: они поддерживают, например, воздухоплавание в лице фирмы «Гном э Рон», теперь они должны поддержать искусство теней.

Заручившись согласием банка, г. Натан перешел в наступление. Он предложил правлению «Патэ» выпустить акции с правом на несколько голосов. Эти акции достались г. Натану, тем самым он получил большинство. Старые руководители подали в отставку, сославшись на переутомление. Г. Натан стал директором. К наименованию фирмы он прибавил свое звучное имя.

У г. Натана была до того небольшая мастерская «Рапид-Фильм». Г. Натан, тот, что директор «Патэ-Натана», купил не торгуясь у г. Натана «Рапид-Фильм». Он заручился поддержкой администратора газеты «Матен» г. Сапэна. Гальский петух весело приветствовал зарю.

Казалось бы что общего между нефтью и нежными снами? Сэр Генри Детердинг наверное никогда не ходит в кино и вряд ли Лилиан Гиш справляется о курсе «Рояль-Дейча». Однако биржа роднит грубое топливо с горючими лентами. Это мир скорее воображаемый, вне географических широт, вне рабочего пота, это легенда о вновь найденных источниках, бутафорские города, семизначные цифры, слезы из глицерина и каторжники, украшенные десятью орденами. Где кончается нефть и где начинается кино?..

Господин де Каплан сначала увлекался нефтью. Он нашел источник «Франко-Виоминг». После этого он основал «Франко-Фильм». Г. Альберг Коган знал толк в румынской нефти, но и его увлек экран: он предал нефть ради «Гомона» и «Патэ».

Здесь не нужно ни специальных знаний, ни капитала. Кино — искусство, оно требует только вдохновения. Побеседовав с музой, поэт приступает к делу: он не ищет сценаристов, не набирает актеров; нет, он сначала понижает курс акций, потом его повышает, он завтракает с редакторами финансовых газет и он обедает с матерыми банкирами. Его «звезды» это депутаты — их присутствие свидетельствует о солидности молодого общества. Его трюки это биржевая паника, акции с правом на несколько голосов, когда нужно — блистательный баланс, когда нужно — банкротство.

Кто только не проявлял хотя бы некоторого внимания к кино? Банки «Насиональ де Креди», «Боер-Маршаль», «Креди Коммерсиаль», г. Бальби, издатель, г. Бадер, владелец универсального магазина «Галери Лафайет», г. Серф, человек воистину универсальный, наконец представитель Америки г. Хейл, специалист по сбыту мясных консервов, все они оценили волшебство экрана.

Во Франции нет нефти и во Франции изготовляют мало картин, но люди во Франции полны вдохновения: они умеют зарабатывать и на нефть, и на кино.

В смрадных кофейнях около биржи водятся счастливые любовники десятой музы. Кино их жизнь. Это не фигуранты, они не портят зрения на с'емках, у

них свои профессиональные недуги: хроническая хрипота или астма. Вот один из них читает статью: «Тайны экрана» — это не о штиблетах Чаплина и не об икрах Клары Боу, это серьезное исследование, за него уплачено пятьсот, если не тысяча франков. «Основной капитал 84 000 000 франков... Огромный инвентарь... 12 павильонов... предполагается выпуск 16 картин... 46 театров... соглашение с «Тобис-Кангфильма»... во главе стоят люди, известные своей прозорливостью»... Любовник десятой музы срывается с места: 72, 74, 75!..

Картины изготовляют в Холливуде. Во Франции люди заняты делом посложнее они расширяют предприятия. «Гомон» поглощает «Обер», «Франко-Фильм» сливается с «Гомон-Обером», они поглощают «Континсузу». «Патэ» поглощает «Синероман», Рапид Фильм», «Патэ-Консорциум», Патэ Натан» поглощает...

Это длинней самой длинной картины, это разорение одних — продается «Испано Суиза», помолвка дочки отложена, вместо Довиля — лето в Париже; это счастье других — почет, приемы, ордена, это одышка маклеров и банкиров, это рев биржи, рев, слышный издалека, как море, рев, который и не снился жалким обитателям джунглей, это так называемая организация — вертикальная и горизонтальная, это листочки блок-нота с каракулями цифр и это кино, искусство теней, голоса в темноте, слезы зрителей, извечная человеческая мелодрама.

Мистер Хейл, тот что прежде торговал мясными консервами, беседует с г. Натаном. Мистер Хейл — посол Давида Сарнова и г. Натан почтительно улыбается. Речь идет, разумеется, об аппаратах «Радио Корпорешен». Мистер Хейл называет цифру — он знает цену аппаратам, он знает также цену г. Натану.

Французы любят нас поругивать. Их писатели высмеивают нашу грубость. Но без американцев они и дня не проживут. Пусть у них г. Натан с его тонкой фантазией, у нас доллары. Мы согласны вам предоставить аппараты при условии...

«Обер-Франко» подписал соглашение с немцами. У г. Натана нет выбора. Он молча слушает, мистер Хейл диктует...

Однако ни на одну минуту не забывает г. Натан о национальных интересах. Почему он сдался на милость Давида Сарнова? Да, только ради Франции, ради любимой Франции!.. Он шлет в газеты победную реляцию: «впервые в истории кинематографии французская фирма заключила столь тесный союз с одной из самых мощных фирм Америки. Это окажет счастливое влияние на будущность фрацузского кино, которому вскоре суждено занять первое место в мире».

В 64 театрах «Патэ-Натана» показывают американские драмы и комедии. За прошлый год Франция купила в Соединенных Штатах 211 картин на 462.000 долларов. Мистер Хейл может радоваться — это товар побойчее мясных консервов!..

На улицах Монмарта поздно ночью прохожих порой останавливают какие-то подозрительные люди. Поднят воротник пальто. На глаза нахлобучен сальный котелок.

Не хотите ли посмотреть интересную картину?..

О, конечно, этот мрачный проходимец не зовет запоздавшего мечтателя ни в «Мариво», ни в «Омнию», ни в один из 60 театров «Патэ-Натана»! Он идет озираясь. Он хлопает в ладоши: «Привел одного»!..

В маленьких притонах любителям показывают различные фазы любви, несогласованные ни с кодексом Вилля Хейса, ни с человеческой природой. Эти картины невелики, но помечены редкостной фантазией. Их изготовляют не солидные фирмы, а посредственные мошенники, их изготовляют, как и все картины — тщательно наставив аппарат и прикрикнув на нерасторопного фигуранта. Их показывают только высоким ценителям. Обыкновенные люди довольствуются плечами и бедрами какой-нибудь «звезды». Знатокам мало столь беглых видений. Далеко за полночь в крохотных залах без музыки и без антрактов, они смотрят на эпилоги всех картин — «Парамаунта» или «Фокса». Они похотливо сопят и пачкают слюной манишки.

Это тоже искусство, нет нужды, что оно не котируется на парижской бирже, оно требует вдохновения и оно кормит своих служителей.

Мрачный человек подходит к г. Натану:

— Не хотите ли?..

Г. Натан брезгливо отмахивается. За кого принял его этот суб'ект?.. Он возвращается домой после работы — полезный моцион. Он не гуляка и не американец. Он директор почтенной фирмы. Он запросто беседует с министрами. В его портфеле важные документы. Там, например, все данные о картине «Три маски». Стопроцентная французская драма — все говорят, плачут и поют только по-французски!.. Каждый театр в среднем дает 90.000 за неделю...

В портфеле г. Натана также каталог картин для «Патэ Беби». Это маленькие аппараты, кино у себя, для людей семейных, для домоседов, для деревенских мечтателей. Как приятно, облачившись в теплый халат с кисточками, глядеть на трепет теней!.. Конечно «Патэ Беби» мелочь, но умный человек ничем не брезгует. Вчера акции «Патэ Беби» котировались в 720 франков... г. Натан нежно пестует младенца.

В каталоге перечислены сначала картины для детей, потом для школьников — научные и видовые, наконец для взрослых: !Туалет новобрачной», «В купальне», «Пупетта одевается» и много других, столь же завлекательных.

Впрочем «Патэ Беби» это все же вздор. Г. Натан думает не о «Пупетте». Он думает и не о «Трех масках». В его портфели дела поважнее: зачем скромничать? — Г. Натан покупает немецкую фирму «Емелька». Огромные театры в Гамбурге, в Мюнхене, в Лейпциге, в Кельне... Французам пришлось очистить Прирейнскую область, а вот г. Натан вступит в Германию победителем. Со стороны поглядеть — скромный человек, слегка горбится... Но в его голове самые дерзкие помыслы.

Пошел дождь, долгий осенний дождь. Ежась, мрачный проходимец все еще ждет любителей. Но пусто на улице: ни звезд, ни чудаков, только г. Натан, который идет к победе.

2

26 октября 1929 года в нью-йоркских театрах «Парамаунта» или «Фокса», как всегда, показывали увлекательные драмы. «Звезды» клялись: «Гарри, я тебе верна» и зрители, как всегда, умилялись. Но солидным людям было не до Гарри: бумаги на бирже стремительно падают, банки накануне банкротства, осунувшиеся за ночь финансисты заряжают револьверы, страшный кризис только, только начинается. В тот вечер ни Адольф Цукор, ни Уильям Фокс долго не могли уснуть, они ворочались с боку на бок и печально вздыхали. Это — как 9-е або — день разрушения иерусалимского храма.

Парижане рассеянно проглядывали телеграммы: «Уол-Стрит в трауре»... «возможность мирового кризиса»... Они проглядывали эти короткие сообщения между двумя сделками или между двумя рюмками.

Кто в газетах читает бюллетени метеорологической станции и какое дело влюбленным, которые, пользуясь воскресным отдыхом, едут в Фонтене-о-Роз, до глубокого атмосферного давления над Исландией или до циклона, идущего из Америки?..

Г. Натан выслушивал наставления представителя «Радио Корпорешен». Г. Костиль вел переговоры о соглашении «Гомон-франко Фильма» с «Тобисом». Одни парижане покупали акции «Патэ», другие спешили в театры, чтобы увидеть «Слезы девственницы».

Год спустя в Париже приключился принеприятный казус с «Банком Устрика». Тысячи разорившихся клиентов лили классические слезы, журналисты требовали непосильных гонораров за молчание, министры, еще отшучиваясь, складывали тихонько пожитки. Слово «скандал», улучив минуту, выскочило на шумную парижскую улицу. «Устрик» стал сразу знаменитым, как Линдберг или Шевалье. Правительство пало. Биржа стала смахивать на осенний лес с воем ветра и с падающими листьями. Г. Натан загрустил не на шутку.

Каменная глыба, летя с верхушки горы в долину, увлекает за собой другие.

Банки приуныли. Возле касс толпились вкладчики. Стали поговаривать о новых банкротствах. Среди прочих банков в затруднительном положении оказался «Банк д'Альзас-Лоррен». Он находился под контролем «Боер-Маршаля». Служащие «Патэ-Натана» с тревогой спрашивали друг друга: выплатят ли нам жалование? Все знали, что «Боер-Маршаль» — это «Патэ»...

В беде человек всегда одинок. Г. Сапэн, во-время распростился с г. Натаном. Банкиры «Боер-Маршаль» недружелюбно поглядывали на докучливого клиента. Мелкие журнальчики писали о «расхищении капитала». Правда, у г. Натана попрежнему было большинство голосов, но какие-то педанты внесли в Палату проект закона о запрете акций, дающих право на несколько голосов. Г. Натану не удалось купить «Емельку» — немцы требовали денег, а «Банк Боер-Маршаль» высказался против этой операции. Г. Альберт Коган который помогал г. Натану при переговорах, оказался не у дел. Приближалось время общего собрания акционеров. Г. Натан выбивался из сил — как мог он допустить, чтобы карт[illegible] кончилась плохо?.. Это противно навыкам кино, это противно и навыкам г. Натана.

«Гомон-Обер-Франко-Фильм» могли бы радоваться — их конкурент, если не повержен, то тяжело ранен. Однако радоваться не приходилось: одна глыба, падая, увлекает другую. Парижские ювелиры готовы прикрыть лавочку. Хорошо булочникам: они всегда торгуют! Но бриллианты не булки. Солидные клиенты разорены. Никто больше не покупает ни бриллиантов чистой воды, ни перлов жемчужного короля г. Розенталя, ни колумбийских изумрудов. «Гомон-Франко-Фильм» не торгует ценными каменьями, но судьба этой фирмы тесно связана с судьбами бриллиантов: их поддерживает один и тот же банк «Насиональ де Креди». Директору «Гомон-Обер-Франко-Фильма» пришлось ознакомиться с хождением по мукам. Он шел и старался глядеть в сторону — перед ним все время маячила сутулая спина г. Натана.

Г. Мейер, секретарь «Патэ-Натана», шлет в газеты успокоительные сводки: «Фирма непоколебима! Успех за успехом! Наши долги равняются всего 20 000 000. Наша наличность — 90 000 000. Мы процветаем».

Биржа, однако, не верит цифрам, биржа верит только великому богу всех биржевиков и своему нюху. Акции «Патэ-Натан» падают. Это уже не легкий ветерок, это — буря. Летят акции, летят легкие человеческие судьбы. На фабрике «Патэ-Натана» очередная «звезда», вздыхая о Холливуде, еще завывает: «Пьер, я тебя люблю!..» В 64 театрах еще показывают «Дитя любви» и «Я тебя обожаю, но за что?» — трогательные драмы для шляпных мастериц и для малокровных конторщиков. Ни мастерицы, ни конторщики не играют на бирже. Они могут плакать над страданиями какого-то Пьера. Г. Натан не плачет: жизнь его закалила. Он только угрюмо отворачивается, проходя мимо заборов — на всех заборах Парижа афиши «Патэ-Натана», обыкновенные афиши, справка о достоинствах картин, но г. Натану кажется, что это траурные анонсы. Он готов снять шляпу. Он больше не верит в будущее французской кинематографии. Он не собирается вступить победителем в Германию. Он только мечется, как листок блок-нота на широких ступенях парижской биржи.

Акции «Патэ-Натана» что ни день падают. Вместо 262 — 153. Где г. Натан? Его сегодня никто не видел... Кто-то, играя на понижение, распространяет вздорные слухи: г. Натан скрылся!.. Мелкие игроки хотят скорей освободиться от плохих карт. Вокруг имени «Патэ», как вокруг монарха при смерти, уже суетятся претенденты. Дело покупает г. Бадер — из «Голлери Лафайет» — он понял все значение кино для рекламы!.. Нет, г. Бадер еще колеблется... Тогда, может быть, г. Бальби?.. У него газета... Или г. Коти, парфюмер и друг народа?.. Но г. Коти опровергает... Это шопот вокруг умирающего, шопот в затонах ресторанов, в клубах, в банках. А на бирже только визг. Так визжат подстреленные зайцы. 152! 151!

Этьен Лефон никогда не играл на бирже. У него была молочная на улице Конвенсион, которая пахла сыром и сыростью. Двадцать четыре года просидел он в этой молочной, отвешивая масло и разливая молоко. Потом он заболел ревматизмом. Он не мог больше нагибаться. Он продал молочную. Денег оказалось мало, а у Лефона трое детей. Лефон не рабочий: он хочет, чтобы его дети вышли в люди!

Другие покупают акции нефтяные или химические. Это дело темное, легко прогадать — кто знает где они — нефть или поташ?.. На свете столько жуликов!.. Один украл у Лефона большую голову сыра... Нет, лучше выбрать что-нибудь поспокойней! Хотя бы «Патэ» — театры «Патэ» повсюду, даже рядом с бывшей молочной. Правда, Лефон не любитель кино, но его жена и дети, — те ходят каждую субботу. Они могут подтвердить, что «Патэ» это не выдумка, Вот и газеты пишут «солидное дело»... «Капитал 50 000 000»... «Энергия г. Натана»...

Протомившись несколько недель, Этьен Лефон наконец-то решился. Он надел крахмальный воротничок и пошел в банк. Он подписал заказ на 20 акций «Патэ-Натана».

Что же приключилось?.. Театры не сгорели. На заборах те же афиши, а у Лефона вместо обещанного богатства шиш. Проклятая газета!.. «Патэ» сегодня 149!.. Вот вам приданое Мари!.. Вот вам карьера Поля — коммерческое училище и прочие сказки!.. Придется и им торговать молоком на базаре. Они еще ничего не знают... Ушли в кино...

Мари вбегает в комнату. Ее глаза блестят, она улыбается.

— Как твоя спина?.. А мы видели чудную картину!.. Я так боялась, что плохо кончится, но этого мерзавца поймали, и они поженились.

Лефон приподымается и, глядя вокруг себя мутными от злобы глазами, кричит:

— К чорту!.. Слышишь меня — к чорту!.. С вашими картинами!.. В дурах я... «Поженились...» Сволочи!..

Жена натирает ему скипидаром поясницу. Он все ругается, долго и неотвязно.

Идет дождь и блестят улицы, потом они высыхают. Вертится в аппаратах тонкая лента. Идут дни. В один из них к г. Натану приходит человек. У него унылое лицо судейского и какая-то бумажонка с печатью.

Г. Натан не теряет присутствия духа: это козни врагов! Какие-то банкиры «Конти-Госсель»... Какой-то чек на 1 770 000... Ерунда! Герои кино привыкли к испытаниям: револьвер бандита, погоня, аэроплан, автомобиль, выстрелы, пыль, кровь. Герои кино ко всему привыкли. Г. Натан ни на минуту не забывает, что картина должна кончиться безмятежным счастьем. Глупая дочка Лефона напрасно волновалась: у нас не бывает картин с дурным концом!..

Годичное собрание акционеров собирается на страстной неделе. В церквах лик Христа завешен траурным крепом. Лицо г. Натана открыто. Он смотрит и он улыбается. Он говорит о национальных интересах, о борьбе с хищными американцами, о широкой пленке, о 64 театрах, о грядущих дивидендах. Он говорит благородно и поэтично. Когда нужно, он называет высокую цифру, когда нужно, он нежно щебечет: «Франция...» Акционеры слушают завороженные. Правда, и среди них находятся нечестивцы. Они досаждают г. Натану глупыми вопросами: чек?.. Конти-Госсель?.. Боер-Маршаль?.. Пассив?.. Но нечестивцев мало. Г. Натан пренебрежительно усмехается. Один из акционеров в восторге восклицает:

— Нарыв вскрыт! Он вскрыт благодаря вам, г. Натан, благодаря вашей бдительности, вашему критическому уму, вашим ясным и точным ответам!

Зал рукоплещет. Г. Натан стыдливо отворачивается. При голосовании подсчитывают акции: 829 058 — за г. Натана, 2715 — против.

Кто знает, может быть, г. Натан и купит теперь «Емельку»... Лента вертится, дни идут. Это очень скучная картина, но она, наверное, с хорошим концом.

VIII. Холливуд для Европы

1

Вокруг настоящего Холливуда, того, что в Калифорнии, горы и могилы

золотоискателей. Вокруг Холливуда для Европы только мастерские, молочные и чадные кабачки. На кладбище Жуанвиля нет искателей золота. Бисерные веночки и тоскливый перечень имен: рабочие, ремесленники, лавочники. Эти ничего не искали. Они сначала работали, потом умерли. Скучное кладбище! Скучное место! Утром здесь идут на работу, вечером засыпают, и тихо и пусто на улицах — ни пальм, ни приключений. Здесь волей мистера Роберта Кена заложен новый Холливуд.

Двор фабрики «Парамаунта» залит нестерпимым светом. В лужице, изображающей море, тонут храбрые мореплаватели. Суетятся операторы, зябнут фигуранты. Света, еще больше света!..

Мистер Роберт Кен диктует машинистке: «Парамаунт» пересек океан со своими полководцами, операторами и техникой...»

В семи павильонах днем и ночью идет работа. Меняются режиссеры, швейцары, буфетчики. Мистер Кен приходит и уходит. Работа не прекращается. Три картины: «Каникулы дьявола», «На полпути к небу», «Медовый месяц». Одиннадцать версий: французская, немецкая, испанская, шведская, португальская, чешская, датская, польская, румынская, венгерская, голландская. Не терять ни минуты! Минута — это столько-то долларов. Расходы и так велики, а Европа нищенка. Скорее, судари! «Каникулы дьявола». По-польски. По-румынски. На всех языках. Сошествие духа. Те же декорации. «Папа-Цукор» придумал.. Алло, алло! Двигайтесь, чтобы чорт вас побрал!.. Чорт — на одиннадцати языках. На двенадцати: американцы здесь хозяева. Они говорят на своем языке. Их все понимают: у них доллары.

В одном корпусе сидят переводчики. Они переводят сценарий. Сто процентов разговора! Каламбуры на всех диалектах! Переводчики переводят сценарий, присланный из Америки. Картина придумана не здесь, не в жалком Жуанвиле, она придумана и сработана в настоящем Холливуде. Оригинал преисполнен вдохновения, в нем чувствуется широта Соединенных Штатов и восемь телефонных звонков неутомимого Билля. В Жуанвиле изготовляют одиннадцать копий. Переводчики трудятся, не разгибая спины. Это освистанные драматурги, непризнанные гении, безработные Шекспиры. Они переводят диалоги, полные лирических глубин: «Мэри, вы меня направили на правильный путь!..» «Джон, когда вы станете на ноги, я с радостью соединю мою жизнь с вашей...» Как это по-шведски?.. Как по-португальски?.. «Станете на ноги...» Тень Хейса, лопоухого и пламенного пророка, витает над Жуанвилем. «На правильный путь»... Кодекс морали. Абзац пятый. Поляк почтительно улыбается. Мэри повсеместно торжествует, прекрасная Мэри из Делласа или из Питсбурга, дочь методиста, честная труженица, «звезда» с блистательными зубами и с непорочной улыбкой; она всего два раза переодевается, показывая при этом некоторые округлости, зато четыре раза говорит она о самых высоких идеалах. Переводчики переводят. Стучат машинистки. Святой дух нисходит на народы Европы.

В павильонах тем временем суетятся рабочие. Они устанавливают декорации. Вещи куда честнее слов: они не знают границ. Кровать, повсюду кровать, в Швеции и в Италии. Рабочие тащат кровать. Декорации придуманы в Холливуде. Здесь только смотрят на фотографии и стучат молотками. Кровать направо... На буфете ваза с розами... Джон сначала подходит к пианино, потом нюхает розы... Это тот Джон, что вернулся на правильный путь. Тащите живее кровать, хорошую двуспальную кровать!..

Мистер Роберт Кен продолжает диктовать: «мы обеспечиваем европейским художникам полную свободу творчества...»

Сценарий отпечатан и роздан режиссерам. Семь версий. Восемь частей. Картина должна быть изготовлена в двенадцать дней. Ах, расходы и так велики!..

Агент «Парамаунта» в Бухаресте второпях набирает актеров. В Бухаресте никто не играл для кино. В Бухаресте смотрели американские картины и не мечтали о большем. Актеров тотчас же отсылают в Жуанвиль. Они щурятся: они не привыкли к этому свету. Пате-

тически помахивают они руками: это ведь лучшие трагики Бухареста. Режиссер в отчаянии кричит: «Уберите руки!» «Не закрывайте глаз!» Потом он перестает кричать: не все ли равно... Пусть без глаз... Картина должна быть изготовлена в двенадцать дней.

Возле кровати — знойная красавица и ловелас с синеватыми щеками. Это «звезды» Неаполя. Они наверное умеют великолепно переругиваться. Он играет в банко-лотто, плюется и дует терпкое вино. Она соблазняет мужественных фашистов, а дома варит макароны. Оба, разумеется, при всяком удобном случае поминают «младенца Иисуса». Здесь они: Джон и Мэри. Он поправляет шелковый платочек. С грустью смотрит он на двуспальную кровать и, только вспомнив о том, что его вернули на правильный путь, энергично нюхает цветы.

Без пяти шесть. Режиссер нервически смотрит на циферблат. Нюхайте скорее!.. Шесть. В павильон входит новая смена: это шведы. Снова Джон и Мэри. Он долговязый и корректный. Фрекен с веснушками. Дома: лыжи, хлеб с маслом, жених и невеста, белые ночи, тихие сны. Здесь: та же кровать, те же розы. «Когда вы станете на ноги...» Джон смотрит на свои длинные ноги... Да, да, когда он станет на ноги, когда он получит место директора банка в Питсбурге! Мэри улыбается. Скорее улыбайтесь! Сейчас придут румыны. Потом португальцы. Потом поляки. Нельзя медлить! Картина должна быть готова к сроку.

Мистер Кен диктует: «мы преследуем чисто эстетические задания»... Он кончил. Сдать заведующему рекламой для прессы. Мистер Кен обходит все семь павильонов. Работа кипит. Он хвалит чехов. Он журит румын. Он ходит, смотрит и радуется. Он достиг своего: мы изготовляем картины на ленте. Форд — автомобили, Жилетт — бритвы, «Парамаунт» — сны. Кино — продукт нового века. Его душа — скорость. Прежде люди смотрели на картины в бронзовых рамках. Подолгу. Мечтая. Развалясь. Теперь — двадцать картин в секунду: страны, лица, мечты. Тридцать секунд — слезы. Потом — сорок секунд — бегство с погоней. Потом — десять секунд — смерть. Быстро глядеть. Быстро изготовлять. Поэты и лошади вымерли. Вместо них машины в сорок лошадиных сил и картины «Парамаунта».

Возле кровати теперь чехи. Джон с пивной грустью в глазах, переминаясь, становится на правильный путь. Переводчики переводят новые сценарии: «Ее жизнь», «Дыра в стене», «Давай, поженимся!» Кровать убирают. Ставят письменный стол и ширму. Восемь красавиц из восьми стран будут переодеваться за этой ширмой: кусок колена — пять секунд. Полицейский схватит вора. Добрый министр, сидя за письменным столом, выпишет чек. Датский. Польский. Испанский.

Россия, лето, глубокий снег. На минуту заминка: разве бывает снег летом? Режиссер хочет задуматься. Его выручает директор: оригинал сделан в Америке — о чем же тут думать? Без снега нет России. Снег, тройка, тоска. Думать в Жуанвиле нельзя, надо торопиться. С'емка снега — два часа. Столько-то метров. У дверей уже ждут итальянцы. Они будут русскими, летом, среди снега. Они будут дрожать от холода и петь тоскливые песни. Оператор второпях наводит аппарат. Чтобы в лаборатории не спутали — номер 38 457. Потом окрик: «Полная тишина!» «Мэри, вы меня направили...»

Вокруг фабрики скука парижского предместья. Рабочие уныло макают хлеб в вино. Куда пойти? Да, конечно же, в кино: сегодня новая программа — «Каникулы дьявола», говорящая картина на французском языке, сто процентов разговоров, звуков и пенья». Допив скверное винцо, рабочие идут в кино. Днем они стояли возле ленты: автомобили, брезент, кожа. Они смотрят на далекую дивную жизнь: возле огромной кровати расфранченный красавец нюхает розы, и он загадочно гнусавит: «Вы меня поставили на правильный путь...»

Для разных версий — разные актеры: актеры разговаривают. Фигуранты, те молчат — они молчат для итальянцев и для немцев. Вот толпа негров. Негры должны развиться под деревом. На них смотрит герой. Сначала на них смотрит швед, потом — испанец. Грудной

младенец плачет. Это очень эффектно: черный младенец в шведской картине. Но только без плача!.. Ведь это говорящая картина! Негры резвятся, почему же младенцу плакать?.. Уймите вы, чорт побери, вашего крикуна!..

В другом павильоне дремлет заросший бородой фигурант. Это обыкновенный безработный. Ему повезло: у него оказалось лицо заведомого убийцы. Правда, он никого не убивал, он и подвыпив щенка не ударит, это добрый парень, его зовут Франсуа. Он был прежде столяром. Теперь он убийца для семи версий.

Павильоны построены на славу: полная изоляция, ни один звук не доходит со двора. Стены не пропускают ни голосов, ни воздуха. Закрыты наглухо двери. Горят сотни ламп. В павильоне нестерпимо жарко. Убийца работает с утра. Немудрено, что стоит его оставить на минуту, как он засыпает. Беда в том, что, засыпая, он подхрапывает. В нежные беседы о любви и о верности вмешивается низменный храп. Режиссер раздраженно кричит:

— Разбудите этого убийцу!..

Франсуа смущенно вскакивает: только бы не прогнали! Где же теперь найти работу? А здесь он еще может быть убийцей два или даже три дня...

В кабинете заведующего рекламой мистера Кая этажерка со множеством полок: на разных полках фотографии разных «звезд»: пышных андалузок, спортивных чешек, надменных польских пани, румынок. Подобно звездочету, мистер Кай хорошо знает, где какая «звезда». Он никогда не путает светил: над Осло иное небо, нежели над Рио-де-Жанейро. Фотографии рассылает он в сотни газет.

Кроме фотографий газеты получают статейки, биографии актеров, справки о величии «Парамаунта», разбор картин и веселые анекдоты. Зачем журналистам трудиться?.. Они получают все в готовом виде: длинные листочки, напечатано на одной стороне, остается только подписать: «в набор».

В каждой газете имеется отдел: «Кино». Люди не могут жить сменой кабинетов или убийствами ювелиров — они хотят высокого искусства. Мистер Кай отсылает в газеты статьи на всех языках. Он не обижает даже румын. В бюллетенях — мысли мистера Роберта Кена о миссии, возложенной на «Парамаунт». В бюллетенях также интимные новости: «звезда» Труда Берлинер во время с'емок ест шоколадный торт и все же не полнеет. Режиссер Буховецкий очень суеверен, перед началом работы он прижимает к себе молоденького поросенка... Шведы и румыны, читая, млеют: они приобщаются к тайне тайн!

Помимо бюллетеней «Парамаунт» посылает в газеты об'явления. За год «Парамаунт потратил на рекламу в одних только американских газетах свыше 285 000 долларов. К счастью, европейцы не столь алчны. Здесь рабочие не катаются в автомобилях. Редакторы и журналисты здесь довольствуются малым.

Журналист Толь просмотрел новую картину «Парамаунта». Вместо того, чтобы отослать в типографию узкий листок, он взял перо и сообщил миру о своем мнении: «скверная картина!» Кого может интересовать мнение какого-то Толя?.. Конечно, «Парамаунт» уважает свободу критики. Газеты вправе писать все, что им вздумается, но и «Парамаунт» вправе размещать об'явления по своему выбору.

Редактор вызывает Толя: что вы наделали?.. Тот пробует бубнить о совести и о кадрах. Тогда редактор вежливо выпроваживает болтуна. Толь идет домой. Его ждет жена: скорее ужинать, а потом в кино! Но Толь с ней не разговаривает. Он даже шляпы не снял. Он очень мрачен. Наконец-то он выговаривает:

— Прогнали...

Заместитель Толя старательно надписывает на статье, присланной мистером Каем: «срочно в набор».

Какие-то наглецы заверяют: нельзя делать картины на конвейере!.. Мистер Кен презрительно усмехается: мы пригласили самых лучших художников, самых гордых и самых независимых. Вы не хотите верить мне, Роберту Кену, сподвижнику Ласки, послу Цукора? Хорошо, пусть говорят с вами мнимые жертвы: самые гордые и самые независимые.

Режиссер Кавальканти недавно делал чрезвычайно дерзкие картины. Их показывали в маленьких театрах избранным. Публика, не понимая темнот искусства, свистела. Кавальканти не смущался: он — в разведке, он ищет новых путей, он презирает компромиссы! Потом Кавальканти подписал договор с «Парамаунтом». Он изготовил несколько картин: «Вся ее жизнь», «Полпути к небу», «Потерянный остров». Мистер Кей просит Кавальканти высказаться. Кавальканти отвечает без обиняков: «мощная организация, которую американцы у нас создали, позволяет работать быстро и в идеальных условиях».

После Кавальканти — немец Митлер. Он делал картины для советского общества «Прометей». Он был неопытен, он и не подозревал о кодексе Хейса. Приехав в Жуанвиль, он стал у ленты: «Тропическая ночь», «Праздник любви»... Митлер горд: «европейские версии ничуть не означают рабского подражания. Мы охраняем художественные ценности»... Митлер отвечает кратко: пора в павильон, поляки уже кончают! В руках Митлера сценарий, его прислали из Америки и он переведен на десять языков.

Актриса Марсель Шанталь мило улыбается: «при блистательной организации Жуанвиля трудно плохо работать...» У Томи Бурделя тоже красивые зубы: «мощная организация американцев поддерживает актера в работе». Испанка Амелья Муньез, итальянка Кармен Бони, полька Масловская... Наконец показывается самый маленький актер Жуанвиля, Жан Меркантон. Жану Меркантону всего десять лет от роду. Его спрашивают: «Охотно ли ты работаешь в Парамаунте?» Сообразительный Жан не может настаивать на мощной организации, сохраняя все очарование своего нежного возраста, он наивно щебечет: «Конечно!.. Со мною все очень милы... И потом, когда я не работаю, я бегаю по саду»...

Щебет маленького Жана, как и размышления непримиримого Кавальканти, оттиснуты во многих сотнях экземпляров. Узкие листочки. Пометка редактора: «в набор».

Мистер Роберт Кен удовлетворен: мы заткнули рот клеветникам. Нашу работу одобрили не анонимные конторщики, но подлинные творцы. Итак, за дело! Четыре новых картины. Девять версий. Двенадцать дней...

Искусство облагораживает душу. Рабочие Ситроена стоят у ленты, потом они идут домой, идут и отругиваются, пьют терпкий спирт, горланят на митингах, они ропщут или молчат — они испепелены злобой. Они продают этому невидимому Ситроену свое тело и свою жизнь. Душа их не затронута ни благодетельным созиданием, ни величьем ленты, ни цифрами баланса, ни славой г. Ситроена. Это просто рабочие, это грубый труд, это подполье жизни.

Кино на полпути к небу. Здесь все причастны к горделивым замыслам «папы-Цукора». Подписывая договор, люди продают не часы презренной работы, но так называемую «душу». Им нечего стыдиться: они стоят у ленты и они делают сны.

2

Пышен и поместителен парижский театр «Парамаунта». У входа посетителям раздают шоколад с начинкой, в театре им показывают нежные виденья. Двери открываются рано утром. Тени на экране не знают усталости. Они умирают и снова воскресают. Семнадцать часов подряд здесь выдают желающим необходимое облегчение. Одни еще смотрят, как герой на прощанье целует героиню, а другие уже стоят в очереди, возле заветных дверей. Освободилось 70 мест, тотчас же в зал впускают 70 новых посетителей. Так с десяти утра до двух пополуночи.

Утром приходят те, что вечером работают, днем мамаши с детворой и обитатели предместий, под вечер влюбленные, вечером обыкновенные стандартные зрители, после полуночи отрезвевшие кутилы или печальные маниаки, одержимые бессонницей. В два часа ночи театр закрывают. Это до поры, до времени. Настанет день, и «Парамаунт» об'явит перманентный сеанс — помощь и веселье 24 часа в сутки. Кино должно быть открыто день и ночь, как дежурная аптека. Кино спасает людей от само-

убийства и от мыслей. Спешите скорее! Удобные кресла! Хорошая вентиляция! Необычайная драма!

Места здесь стоят недешево, и посетители люди с достатком. Они сосредоточенно смотрят на экран. Боевая картина, сделанная в Жуанвиле: «Вся ее жизнь». Актеры говорят по-французски. Посетители внимательно слушают угрюмую недоброкачественную речь — они боятся пропустить слово, ведь это — французские слова, они всем понятны!

У матери отбирают ребенка. Это, конечно, большое горе. Посетители люди семейные и они хорошо понимают, что грустно потерять сына. Но мать не обладает никакими средствами, а мальчику живется хоть куда, он в зажиточной семье: особняк, лакеи, чай с тостами. Посетители знают цену деньгам. Они не за бедную мать, они и не против, они просто смотрят картину в дорогом комфортабельном театре. Но вот по рядам кресел, как весенний ветерок, пробегает гул: наконец-то зрители заговорили! Что же так взволновало их? Героиня разбогатела: у нее оказался замечательный голос, она поет в нью-йоркской опере, за каждое выступление ей платят 700 долларов. Здесь-то зал просыпается. Это не слезы матери — это кругленькая цифра! Сколько это во франках?.. Все спешно высчитывают. Кто-то забывшись громко кричит: «17 500!» Вздохи восхищения. Поправка педанта: «даже больше — 17 850»... Героиня сразу становится милой. Совершенно ясно, что богатые люди ей отдают ребенка. У нее ведь теперь тоже и особняк, и лакеи, и тосты. Кстати, она выходит вторично замуж. Она целует жениха. Умиротворенные зрители расходятся, они сталкиваются с хвостом возле кассы. Эти еще не знают, что такое 700 долларов. Их ждут наверху восторги. Те, что уже приобщились к высокому искусству, в автобусах или в вагонах подземной дороги мечтательно говорят друг другу:

— Прекрасная картина!..

Они не помнят ни обид матери, ни лакеев, ни сложной интриги. С удивлением они спрашивают себя: в чем же там дело?.. Впрочем, картины смотрят для того, чтобы их забыть. Это — отдых. Вот и провели хорошо вечер!.. Теперь можно спать. Перед сном приятно проносится в голове: 700 долларов... 17 850 франков....

Мощная организация, о которой говорят все гордые и независимые, творит чудеса. Театр «Парамаунта» за один вечер зарабатывает куда больше, нежели 700 долларов.

Новый сеанс начинается.

3

Работа идет без заминки: испанцы сменяют чехов. Однако мистер Кен, запершись у себя в кабинете, угрюмо перебирает листы. Как трудно быть понятым!.. Европа сопротивляется. Немцы освистали наши картины. В Польше на просмотре — скандал. В Будапеште какие-то фанатики хотели подожечь театр. Так дикие негры, которым колонизаторы несут школу и штаны, на ласку отвечают огнем и дротиками. Негров приручают. Некоторых вешают, остальные — молчат. Приручат и европейцев. Труден только почин. Мистер Кен — на ответственном посту: он первый колонист.

В Нью-Йорке, видимо, смущены. «Фокс» хочет попробовать: может быть, ему удастся?.. Цукор собирается в Европу. Много различных предложений. Разбить Холливуд на три Холливуда: близ Лондона — для Англии, Жуанвиль — для латинских стран, Берлин — для центральной Европы. Но это увеличит расходы!..

Тридцать лет тому назад никто не хотел слышать об автомобилях: ах, лошадка, ах, хвост, ах, грива!.. Привыкли. «Парамаунт» должен выждать. Мы их вышколим, как дикарей. Пока — поднять входную плату. Ускорить производство картин. Конечно, какая-нибудь румынская версия не может себя окупить. Но это необходимый идеализм. Американцы всегда покровительствовали слабым. Мы делаем румынские картины. Бухарест взволнован. Событье. Экстаз. Кто облагодетельствовал Румынию? Разумеется, «Парамаунт»! После этого нетрудно овладеть всем рынком. За одну говорящую столько-то звучащих, без американских разговоров, только с топотом ног и с гудками автомобилей. В Румы-

нии, как никак, 600 зал. На румынской картине мы проиграем. Зато мы отыграемся на других картинах. «Фокс» потеряет еще одну пешку.

Все это так, но... Энергичное лицо мистера Кена кажется теперь скорее меланхоличным. Все это так, но что, если и румыны вместо восторгов начнут свистать в два пальца?.. Кто их знает, этих европейцев?.. Каждому ясно — Европа беднее Америки. Следовательно, она должна довольствоваться меньшим. Здесь: машина — четыре цилиндра — директор завода. У нас на таких подводах ездят только рабочие... Картину для Америки делают три недели. Для Венгрии — 12 дней. Конечно, товар второй сорт, но и пенги не доллары. Притом не следует забывать о духовном руководстве: Америка дает тему. Ее герои, ее драма, ее мораль. В Жуанвиле — переводы на столько-то языков. Радио разносит повсеместно речь Гувера и курс доллара. Мы — душа Америки. Вы сами ничего не способны создать — ни морали, ни картин. Со скандалами справится полиция. Каждый обязан довольствоваться тем, чего он заслуживает. Против этого только коммунисты или сумасшедшие.

Мистер Роберт Кен возмущенно отодвигает папку. Хорошего американца не так-то легко запугать! Мы продолжаем! Как, кстати, обстоит дело с Югославией?.. 397 зал... 65 процентов американских картин... У «Метро-Голдвин» в Белграде толковый представитель... Что же, можно попытаться сделать сербскую версию... Мы идем на все жертвы ради этой неблагодарной Европы!..

Дворники особенно усердно подметают двор фабрики. Фигуранты отдыхают на свежем воздухе: они должны выглядеть особенно молодцевато. Глаза мистера Кена преисполнены особенной энергией. Сегодня парадный день: г. Лотье, министр изящных искусств Французской республики, сегодня осчастливит своим посещением фабрику «Парамаунт».

Г. Лотье никак не связан с кино. Это человек серьезный и озабоченный. Многое в жизни его занимало: марокканские мельницы, хлопок, алжирский уголь, леса Санга-Убанги, газеты, банки, биржа. Он ворочал крупными делами и ему было не до бледных теней экрана. Однако неисповедимы пути человека. Г. Лотье не имел никакого отношения к Гвиане — он стал ее депутатом. Г. Лотье не проявлял никакого внимания к кинематографу — он стал его попечителем. В этом следует видеть перст судьбы, а также мистическую сущность парламентаризма

В качестве почетного попечителя кино г. Лотье произнес несколько превосходных речей. К нему обращались владельцы французских фирм: «Патэ-Натан» и «Франко-Фильм». Он обещал им содействие. К нему обращались представители американских фирм. Он обещал им защиту. Это очень любезный министр: его идеи давно смягчены жизненным опытом.

Мистер Кен известен в Америке как специалист по французам — он умеет льстить и отшучиваться. Пусть г. министр посмотрит — это новый Вавилон! Двенадцать версий! Второе столпотворение! Европа на одном дворе, посыпанном песочком! Союз народов — куда до него Женеве! И все это, разумеется, в сердце Европы, в старом и славном Париже!..

Г. Лотье угощают завтраком. Французская кухня. Французские вина. Французские дамы: рядом с министром посадили «звезду» Жуанвиля г-жу Марсель Шанталь. Французские тосты. Французские шутки.

После завтрака г. Лотье показывают фабрику: испанцы, шведы, румыны... Вот мастерская, где печатают позитивы... Мистер Кен произносит патетический спич:

— Г. министр, эти усовершенствованные машины, так же, как и проявочные, изготовлены на французской фабрике...

Как же не улыбаться г. Лотье: после французских вин, французские машины!.. Да здравствует французский Холливуд!..

О некоторых деталях мистер Кен вовсе не упоминает. Он не говорит, например, о том, что аппараты для с'емки говорящих картин принадлежат американской фирме «Уэстерн-Электрик» или о том, что пленка приготовляется на американской фабрике «Истман-Кодак». Он

также не настаивает на национальности сценаристов, техников и операторов. Он наконец не напоминает о том, что он, мистер Кен, — только посол «папы Цукора» и что отчеты о доходах поступают в тридцатишестиэтажный дом на Бродвее. Это известно всем и об этом вряд ли стоит говорить министру изящных искусств, к тому же после изысканного завтрака. Это грубая проза жизни.

Воет над Парижем мартовский ветер, воет, кружится, мечется ветер с моря, с Ламанша, ветер из дальней Америки. По двору фабрики мечутся люди. Сверкают прожекторы. Вечер пахнет весной и тревогой.

В дорожном пальто обходит свои новые владения мистер Адольф Цукор. Он справляется о темах и о цифрах. Он прислушивается к непонятным диалектам. Эта шведка наверное говорит: «Гарри, я тебе верна»... Но слова на неизвестном языке полны иного значения. Адольф Цукор приостановился. Его глаза потемнели, дорожное пальто на миг превратилось в «талес». О чем толкуют они?.. Уж не о суете ли сует?..

Пять минут седьмого. Шведы уходят. Приходят французы. Сцена ревности. Потом примирение и дуэт. Кстати, мистер Клерсфильд резонно говорит, что мест в театрах достаточно, надо только повысить расценку и укоротить сеансы. Кстати, что вы думаете о Дании? Это превосходная страна: масло, свиньи и 270 театров. За прошлый год Дания ввезла американских картин на 85 000 долларов. Можно вспомнить и о Дании. Кстати, хорошо бы отослать в Холливуд несколько французских куплетистов...

Двенадцать версий. Адольф Цукор добился своего. Когда ему было шестнадцать лет, он открыл Америку. Он привез в Новый свет древнее беспокойство. Теперь Цукору пятьдесят восемь — он открывает Европу. Он привез сюда новый порядок. Французы уходят. Приходят венгры. Ага! Земляки! Несколько лирических секунд: поле, гуси, тоскливые песни. Режиссер: «полная тишина!» Здесь венгры не горланят по-мужицки, они — мистеры в клубе, они курят сигары и говорят о долларах. Это очень возвышенные венгры. Это почти Цукоры.

В Будапеште, в его Будапеште хотели поджечь театр!.. Впрочем, те же венгры попробовали устроить дурацкую революцию. Их быстро одернули. Так и теперь. Мы их заставим смотреть наши картины, прекрасные картины, картины «Парамаунта»!

Воет, мечется весенний ветер. Но мистеру Цукору не до него. Он обсуждает с мистером Кеном, как обуздать строптивых европейцев. Он не слушает, о чем поет ветер. Он знает, что ветер вернется на свои круги. Через два года Цукору исполнится шестьдесят. Он знает, что бывают картины в восьми, даже в десяти частях, пышные, дорогие картины. Люди смеются или плачут. Потом вспыхивает свет люстр, от которого больно глазам — Адольф Цукор знает, что всякая картина кончается.

По двору проходят вереницы людей: одна смена уходит спать, другая становится на работу.

(Продолжение следует)

Филателист

Рассказ

Николай Анов

Г. Санникову

I

Пухлые, низкие облака плыли над весенними бурыми полями. Кое-где белел еще нерастаявший снег, а лужи затянуты были хрупким, прозрачным стеклом. Ночью, очевидно, прошел дождь. Некрашенные пристанские сараи были черны, словно вымазанные сажей. С моря дул ветер и длиннополая кавалерийская шинель мешала красногвардейцу итти полным шагом. Дукаревич, в коротком дорожном пальто, мог бы шагать быстрее.

Конвоир шел сзади и держал винтовку на перевес, а Дукаревич, вспоминая неожиданный арест, беспокойно думал, как бы красногвардеец не споткнулся и не разрядил ружье ему в спину.

Так, борясь с ветром, дошли они до белого изотермического вагона, снятого с осей и поставленного на землю. Около вагона скучал низкорослый человек с ружьем и саблей, царапавший, от нечего делать, на крашеной стене революционный лозунг.

— Еще одного чижика поймали! — весело крикнул конвоир, — принимай на сохранение.

Часовой поставил винтовку, гостеприимно отомкнул гиреподобный громадный замок, отодвинул тяжелую задвижку, и Дукаревич очутился в полной темноте. Он постоял неподвижно минуты две-три и сделал робкий шаг вперед, словно боясь провалиться в неожиданную пропасть. Но колено его наткнулось на что-то мягкое и он услышал злобное шипенье:

— Тише вы, облом, не наступите мне на горло.

— Кто вы такой? — раздался с другой стороны вкрадчивый баритон, — и нет ли у вас курить?

— С удовольствием... Есть...

— У него есть табак! — радостно воскликнул тенорок. — Товарищ, пропадаю без курева! Вот, ей-богу, две недели не курил.

Дукаревич почувствовал, как десятки рук ощупали его со всех сторон и как тяжелый портсигар сразу же исчез из бокового кармана. В правой стороне вспыхнула спичка, вырвав на секунду из мрака одно бородатое и два бритых лица, и потухла.

— Господа, позвольте... Возьмите папиросы, но верните мне мой портсигар... он же серебряный...

Голос Дукаревича задрожал от негодования.

— Верно. Кто взял портсигар, пусть вернет сейчас же! — предложил суровый бас.

— Пожалуйста, передайте, коллега.

— Благодарю, — сказал Дукаревич, опуская портсигар за кальсоны, — не подумайте, что я что-нибудь подумал... Я очень рад, напротив...

Ощупывая растопыренными пальцами вокруг себя густую темноту и шаркая подметками, он медленно опустился.

— Вы немного левее возьмите, здесь мои ноги...

— Простите!.. виноват!..

— А здесь мои, — прожужжал кто-то над самым ухом.

— Еще раз виноват!

Дукаревич сел, снял шляпу и принялся вытирать со лба пот. Ему стало тоскливо. Он вспомнил залитый электричеством Бродвей, Питера Мак-Доуэлла, дававшего ему наставления перед от'ездом в Россию, прекрасную синеглазую Стефанию, ради которой Дукаревич покинул спокойную Америку, и филателистическую контору на 9 авеню.

— За что вас сгребли? — поинтересовался левый сосед. — Сахарин? Шпионаж? Контрреволюция?

— Я американский гражданин, — уныло произнес Дукаревич. — Я полчаса назад приехал из Америки... Я ничего не знаю...

— Тогда, очевидно, шпионаж. Это хуже, чем контрреволюция и немного лучше, чем сахарин. Если отряд матроса Нелепки уйдет из Архангельска, вас могут не расстрелять. Но Нелепко вас расстреляет обязательно, потому что вы американец, очевидно, только по паспорту, да и то, вероятно, фальшивому.

— Я не шпион, а честный гражданин обиделся Дукаревич.

— Вы думаете станет Нелепко разбирать? Очень ему это нужно! Наивный вы человек. Разве вы не знаете, какой сейчас год?

Дукаревич вздохнул и ничего не ответил.

Чья-то рука осторожно дотронулась до его плеча. Чьи-то губы чуть не влезли ему в ухо, и он услышал горячий шопот:

— Я — Соломон Фрадкин, и вы вполне можете меня слушать доверчиво. Соломон Фрадкин никогда не обманет. Что? Вы находитесь в неприятном положении? Будьте покойны, все обойдется, и вас никакой матрос Нелепко не тронет. Это вам говорит Соломон Фрадкин. Ползите в мою сторону. Я устроился вполне комфортабельно.

Соломон Фрадкин потянул за собой Дукаревича. Пробираясь через спящих и лежащих людей, он затянул его в угол, отгороженный фанерным ящиком.

— Я здесь живу, как настоящий нарком, уже две недели. Что? Вы смело можете лечь на этот тюфяк. На него никто не ложится, потому что на нем умер сифилитик. Что? Я же венеролог! А потом это был вовсе не сифилитик, просто обыкновенный человек; это я только сказал, что он сифилитик, а на самом деле у него никогда в жизни не было даже, может быть, самого простого триппера. Почем я знаю!.. Ведь я же не доктор, я только так, чтобы можно было спать на тюфяке... Будьте спокойны!

Дукаревич хотел обнять Соломона Фрадкина, но в темноте это было сделать неудобно, и он ограничился теплым рукопожатием.

— Что? Давайте разговаривать напрямик... Но, прежде всего, как ваша фамилия? Что? Осип Дукаревич? Вы сказали, что вы американский гражданин... Вы, действительно, приехали из Америки? Когда вы выехали? 23 апреля 1918 года? Очень хорошо. У вас есть деньги? Сахарин? Кокаин? Бриллианты? Царские?

— У меня в чемодане есть четыре тысячи долларов... Но чемодан остался у коменданта.

— Что вы говорите? — взвизгнул от ужаса Соломон Фрадкин. — Четыре тысячи!.. Ой, мне стало нехорошо! Я прямо задыхаюсь...

— Я вам отдам любую половину, — деловито предложил Дукаревич, — если вы поможете мне уйти отсюда.

— Да, да! Это большие деньги! — задумчиво пробормотал Фрадкин. — Две тысячи... Это очень много...

Он сидел молча и время от времени тяжело вздыхал.

— У вас чемодан закрыт?

— Закрыт.

— Это уже хорошо, — зашептал Соломон Фрадкин. — Может быть, они вас вызовут, чтобы вы им его открыли. Сейчас на рынке чемоданы в цене и портить хорошую вещь бессмысленно. А? Что вы скажете?

Что мог сказать Дукаревич? Он пожал в темноте плечами и пошевелил пальцами.

— Вы внимательно слушайте, а я вам буду говорить. Я вижу, вы человек совершенно не революционный, вы ничего не знаете, что происходит кругом. Я же это вижу прекрасно и, поверьте, я вас не осуждаю. Как может человек, попавший прямо с парохода в комендату-

ру, разобраться в текущем моменте? Вы что, Ленин? А, может быть, Керенский? Милюков? Да нет же! Вы просто обыкновенный человек, который не изучал политическую экономию, потому что он никогда не догадывался, что будет революция. А, вы думаете, я изучал ее? Да она мне нужна так же, как нашему коменданту собачий хвост! Я же, ведь, жил так хорошо, что дай бог всякому!

Голос Соломона Фрадкина журчал в темноте, как тихий ручеек, и вносил успокоение в душу Дукаревича.

— Вы должны себе твердо зарубить на носу, что в Америке вы были социал-демократ, но не меньшевик, а обязательно большевик. Это, оказывается, совсем не маленькая разница. Полгода тому назад меньшевики сажали в тюрьму большевиков, а теперь, представьте, большевики сажают меньшевиков... Вот вам и одна социал-демократическая партия! Видали вы что-нибудь подобное? Слушайте теперь дальше. Эти доллары в чемодане не ваши. Их собрали американские большевики для товарища Ленина, дай ему бог здоровья. А вы только везете в своем чемодане. Мандат? Что значит мандат в наше время, и неужели на пароходе нет воров? Мандат у вас украли. Очень просто. Но вы едете в Москву, к самому Ленину. А если вам чинят препятствия, разве вы не будете жаловаться? Хотел бы я посмотреть, какую рожу тогда скривит комендант.

Утомленный дорогой, переживаниями и дружескими советами, Дукаревич через час заснул крепким сном. Разбудил его Соломон Фрадкин.

— Меня сейчас вызывают на допрос. Будьте покойны, если Соломона Фрадкина не расстреляют, вы получите обратно ваш чемодан в целости.

Он ушел, а Дукаревич остался один. Прошел час, другой, а Фрадкина все не было. Дукаревич начал беспокоиться. Почему же он так долго не идет? Неужели его уже успели расстрелять?

Сердце его заныло от жалости, но в эту минуту загремел замок на дверях и в вагоне появился человек. Это был Соломон Фрадкин. Он шел к своему тюфяку, как победитель, наступая в темноте на руки и на ноги арестованных. И потому, с каким пренебрежением и достоинством он опустился на тюфяк, Дукаревич сразу понял, что Соломон Фрадкин на допросе у коменданта одержал победу.

— Что вы скажете хорошего? — поинтересовался Дукаревич. — Как к вам отнесся комендант?

Соломон Фрадкин презрительно фыркнул.

— Комендант? Что для Соломона Фрадкина теперь комендант, если Соломон Фрадкин лечится у самого матроса Нелепки...

Дукаревич словно почувствовал в своих руках никелированную ручку чемодана и зажмурил от радости глаза.

— Я вернулся сюда только ради вас... Что вы думаете, мне очень нужен этот тюфяк? Сегодня ночью Соломон Фрадкин будет спать на двухспальной кровати с никелированными шишками, под атласным голубым одеялом... У меня уже ордер на квартиру в кармане. А вы мне говорите про вшивый тюфяк...

— Я ничего вам не говорю, Фрадкин, — запротестовал Дукаревич.

— Хорошо! Через несколько минут я отсюда уйду, а вас вызовут сегодня к коменданту. Вы говорите все в точности, как я научил вас. Но, кроме того, я еще приму меры... Будьте покойны, Соломон Фрадкин не такой человек!

Фрадкина, действительно, вызвали через несколько минут, и он, пожав Дукаревичу руку, покинул арестантский вагон. Дукаревич опять остался один.

Соломон Фрадкин честно сдержал свое слово. К концу дня за Дукаревичем пришел конвоир и повел его в комендатуру.

— Этот? — спросил комендант человека, сидевшего на подоконнике и ковырявшего в зубах обломанной спичкой, когда Дукаревича подвели к решетке.

— Этот самый, — ответил человек и сплюнул на пол.

— Соломон Фрадкин! — хотел закричать Дукаревич, узнав по голосу своего друга, — вы благородный человек!

Но Соломон Фрадкин соскочил с подоконника и, потирая руки, ходил уже вокруг комендантского стола.

— Товарищ Нелепко просил выдать пропуск и не чинить препятствий, —

осторожно напомнил он, пододвигая к коменданту записку, подписанную крупным, корявым почерком.

— У вас остался мой чемодан, — нерешительно заметил Дукаревич, — большой, кожаный...

— Да, да, — засуетился Соломон Фрадкин, — товарищ Нелепко просил вернуть по принадлежности. Прочтите еще раз записку, товарищ комендант. Видите, он даже подчеркнул слово «чемодан» двумя чертами. Обратите ваше внимание. Здесь написано черным по белому: «а кто замоет чемодан, тому—ша!»

— Ну, что же, пусть берет, — недовольно согласился комендант и вытолкнул ногой из-под стола чемодан Дукаревича. — Грешным делом, я примеривал набойки сделать, но если товарищ Нелепко сомневается — не жалко!

Дукаревич схватил чемодан, а Соломон Фрадкин протянул коменданту руку.

— Вы видите, я сделал для вас все, что мог и все, что было нужно, — сказал Фрадкин, когда они остались вдвоем. — Давайте теперь мне любую половину, о которой шел разговор.

У Дукаревича вновь началась одышка, он тяжело вздохнул и полез открывать чемодан.

— Уверяю вас, если бы был обыск, они бы ничего не нашли! — воскликнул восхищенный Соломон Фрадкин, увидев потайное дно чемодана. — Это же восторг, а не чемодан! Это что-то особенное! Скажите, кто вам его делал?

Он быстро проверил отсчитанные Дукаревичем деньги и рассовал их по карманам.

— Мой вам совет — уезжайте сегодня с ночным поездом. Билет я вам достану, а пропуск у вас есть.

— Хорошо, — охотно согласился Дукаревич.

И, действительно, он уехал ночью. На вокзал его провожал Соломон Фрадкин, доставший билет в штабном вагоне.

II

«Милый брат мой Казимир!

Накануне своего от'езда из Америки я получил твое письмо, в котором ты интересуешься подробной судьбой твоего брата, не написавшего тебе за семь лет ни одной буквы. Я готов сгореть со стыда, если бы это была хоть какая-нибудь правда. Но, дорогой брат, я писал тебе в Лодзь, в Калиш, в Бобруйск и не моя вина, если почта работает, как паралитик. Это письмо я пишу тебе на пароходе «Ангелина», идущем через Атлантический океан, в каюте первого класса, со всеми удобствами вплоть до футбольной площадки и бассейна, где я могу принять участие в игре и плавании с первоклассными пассажирами. Но так как ты не получал от меня никаких вестей, я думаю сейчас воспользоваться свободным временем и написать тебе подробно о моей судьбе.

Милый брат мой Казимир! Ты, конечно, знаешь, что в Америку я поехал вместе с Мошкой Фридманом, сыном нашего сапожника. Так вот, мы вполне благополучно добрались до самого Нью-Йорка и даже жили первые месяцы вдвоем. Наш земляк Юшинский, к которому Ян Яныч дал рекомендательное письмо, помог нам устроиться на швейную фабрику. Вот бы куда нужно привести мужа тети Брони! Я уверен, от изумления его прохватил бы понос. Подумай, Казимир, на фабрике две тысячи людей, а шьют они одну пиджачную тройку. Каждые полминуты из фабрики вылетает по готовенькому костюму, который уже выутюжен. Можете одевать и итти в театр, или вешать на вешалку. Так тонко поставлено дело! Мастерская нашего варшавского портного Исаака Линевского в сравнении с фабрикой — это плюнуть два раза. Это все равно, что казенный пруд, в котором мы ловили пискарей, и океан, по которому я сейчас еду в каюте первого класса. Должен тебе сказать, что я семь месяцев работал на этой фабрике. Если бы ты знал в чем заключалось мое занятие? Я только и делал, что пришивал к брюкам левую пряжку, а Мошка Фридман обтачивал клапан заднего кармана. И только! Работа не скажу, чтоб была тяжелая, но от нее у меня иногда мутнела голова и мне даже казалось, что пол-Америки ходит в брюках, на которые я собственноручно пришивал левую пряжку. От этих мыслей мне стало так нехорошо, что я буквально закрыл глаза и бежал с фа-

брики. Если бы я захотел тебе подробно описать, кем я работал после и что пережил — на это не хватило бы тридцати клеенчатых тетрадей. Коротенько сообщу, что я был рассыльным, чистильщиком сапог, носильщиком, газетчиком, агентом, уличным фотографом, гравером, чертежником, химиком, торговцем и даже мозольным оператором! Вот сколько профессий успел переменить твой Осип! Сейчас же, милый мой брат Казимир, я — филателист и компаньон Питера Мак-Доуэлла, с которым мы вместе имеем собственную контору. Помнишь, на Скобелевском проспекте, угол Княжеской, была табачная лавка еврейки Розы, где еще обменивали с доплатой старые перья на новые? Еврейка Роза также продавала старые почтовые марки, которые у нее покупали гимназисты для наклейки в альбом. Мы этого ремесла тогда не понимали, Казимир, потому что у нас под носом текли зеленые сопли, а сейчас я в этом деле опытный специалист, потому что филателия — это и есть собирание марок. Ты, быть может, скажешь с презрением: «Какой у меня брат дурак!» и даже пожалеешь, что я занимаюсь таким незначительным делом. На это я тебе отвечу: «Казимир, ты не прав! Почтовые марки — это великая вещь». Это вовсе не пустяк, как тебе кажется. Подумай сам, только три человека в Америке могут обойтись без марок: это три вдовы президентов, которым по специальному закону разрешается заменить марку на конверте своей подписью. Даже сам президент Америки обязан покупать марки! Но если такое значение имеют марки обыкновенные, которые печатают в наши дни, то какой великий горизонт может иметь старинная марка?.. Должен тебе сказать, что филателия довольно выгодное предприятие, но об этом мало кто знает. Мой компаньон Питер Мак-Доуэлл говорит: «Это золотая жила, не больше, не меньше!» Как же я наткнулся на эту золотую жилу? — спросишь ты. Прежде всего, я поступил сортировщиком марок в филателистическую контору и подбирал марки в пакетики (от 50 штук до 5000 в каждом) для рассылки их по всему миру. А после, Казимир, я стал ездить по разным городам и покупать редкие коллекции... Чтобы ты еще раз не подумал, что это дело пустяковое, могу сказать, что марки собирают не только неразумные гимназисты. Император Всероссийский Александр III, миллиардер Ротшильд, который живет в Вене, английский король, бельгийский король Альберт и целый ряд других великих людей занимались и занимаются, подобно мне, филателией. Конечно, еврейка Роза продавала гимназистам разный хлам, на копейку по две штуки и больше. А что ты подумаешь, Казимир, если я тебе скажу такую новость: румынская марка выпуска 1858 г., со штемпелем погашения, бумага верже, цвет черный с розовым, достоинством 27 р. по каталогу Ивера стоит 35 тысяч франков. Как тебе это нравится? Ведь, если бы такая марка попала тебе в руки, я уверен, ты сегодня же продал бы ее и купил четырехэтажный каменный дом. И ты бы смог прожить богачом до конца своей жизни. Или еще пример: существует 60-сантимовая желтая доплатная французская марка выпуска 1871 г. Чистая такая марка стоит 375 франков, а со штемпелем — 4000 франков. Разница — 3625 франков. Ну, а если твой брат химик и гравер одновременно? Если он может превратить чистую марку в гашеную и наоборот? Что это может принести, Казимир? Но, между прочим, это очень трудная операция и очень опасная... Другое дело — ремонт марок. Мы при конторе имеем маленькую клинику, в которой лечим больные марки. Ты знаешь, иногда марка бывает разорванная, с дырой, запачканная... Если у тебя есть такая марка, которую можно только выбросить, пришли на пробу мне, и я тебе сделаю из нее конфетку. Она будет новенькая, словно из-под типографского станка. Ты ее не узнаешь.

Иногда мне Питер Мак-Доуэлл говорит: «Дукаревич, вы второй Фурнье!» Это тонкая и очень лестная похвала, которой можно гордиться. Ты, конечно, не знаешь, кто такой Фурнье. Это великий фальсификатор. Он прогремел на весь мир подделкой очень редкой 4-сантимовой марки Эльзаса и Лотарингии. На международных выставках он получил восемь золотых медалей, четыре премии и шесть дипломов. Вот кто такой

Фурнье! И вот что значит ловко подделать марку!

Правда, Казимир, я еще не разбогател, как это следовало бы ожидать. Я все еще беден, хотя, как видишь, еду экспрессом I класса. Но я буду богат, Казимир, и не позже, чем через один год. Мне нужны сейчас деньги, милый мой брат, так как я желаю жениться на дочери ювелира Вецеховского, Стефании Вецеховской. Я люблю этого прекрасного ангела, который, к сожалению, имеет родителем такое подлое животное, как ювелир Вецеховский! Этот бывший ломжинский стекольщик, разбогатевший на ворованных бриллиантах, слышать ничего не хочет о моей любви. Он считает меня нищим и даже не пускает в свой дом. Не правда ли странно, что такой наглый негодяй может иметь прекрасную дочь изумительной красоты?

Но, Казимир, я, должно быть, родился под счастливой звездой. Сама дева Мария идет мне навстречу. Недавно мой компаньон Питер Мак-Доуэлл передал мне выгодное предложение главного секретаря Джорджа Аштонга — ученого марковеда д-ра Хиглета. Джордж Аштонг — миллионер и тоже филателист, его марочная коллекция считается четвертой в мире. Так вот ему нужны русские марки эпохи гражданской войны. У него есть марки, выпущенные во время Парижской коммуны резчиком Тейсом. Это большая редкость. А сейчас он собирает марки русской революции. Ты не филателист, Казимир, тебе это непонятно, но я могу только сказать, что марки с исторической датой штемпеля ценятся очень и очень высоко. (Кстати, если у тебя будут какие угодно почтовые марки со штемпелем 12 февраля и 25 октября 1917 года, ты их береги, я тебе заплачу за них очень хорошо!) Так вот, предложение, которое я получил, заключается в том, чтобы я поехал в Россию собирать погашенные марки. Это, конечно, очень нетрудная командировка, но д-р Хиглет требует, чтобы марки были из тех мест, где идут бои. По его мнению, там, где убивают больше людей, и совершается история. Может быть, это и верно, Казимир, я не спорю, но командировка моя опасная. Единственное, что меня успокаивает, это то, что я прекрасно знаю русский язык и сумею поддержать разговор с революционерами и с большевиками. Первая моя остановка будет в Архангельске, а оттуда поеду в Петроград и Москву. Мне хочется поискать в этих городах редкие коллекции, а после уже отправиться на Украину, где гетман Скоропадский и настоящая война. Будь уверен, я перед обратной поездкой в Америку обязательно заеду в Бобруйск, чтобы обнять тебя и поцеловать твоих милых детишек, которых ты прислал мне на фотографии вместе с твоей уважаемой супругой.

Твой брат Осип Дукаревич.

P. S. Если бы ты, Казимир, знал, что такое из себя представляет Стефания Вецеховская! Я уверен, ты бы обязательно влюбился.

О. Д.»

III

Комендант, арестовавший Дукаревича в день возвращения его в Советскую Россию, оказал ему неоценимую услугу. Дукаревич научился осторожности и многое понял в революции из того, что было ему ранее, когда он ехал на пароходе, не ясно. Прежде всего, американский паспорт он зашил под стельку сапога и запасся хорошими советскими документами. Искусство гравера в революционной стране, где круглая печать пользовалась особым уважением, оказалось кстати. А сделать лишнюю печать для Дукаревича было нетрудно: один вечер усидчивой работы и готово дело — получайте любой документ.

В Петрограде Дукаревичу подвезло. Когда он проходил по Гороховой улице, его окликнул знакомый голос:

— Осип! — закричал человек в кожаной тужурке и замахал военной фуражкой.

— Мойсей! — воскликнул Дукаревич, бросаясь к автомобилю, ибо человек, находившийся в нем, был не кто иной, как Фридман.

— Садись, поедем, я тороплюсь... По дороге все расскажешь, — говорил Мойсей Фридман, втаскивая Дукаревича в машину.

Они мчались по опустевшим улицам Петрограда, и Дукаревич с осторожно-

стью отвечал на вопросы старого товарища, недавно возвратившегося из Америки на родину.

— Что ты думаешь делать в России?— в упор поставил последний вопрос Фридман.

— Работать на пользу Советской республики.

— Я так и знал, что ты вернешься,— задумчиво произнес Фридман,— ты, ведь, пролетарий, Дукаревич. Подлая Америка не могла развратить твою душу, хотя ты и находился на скользком пути, когда покинул швейную фабрику и стал торговать порнографическими карточками.

Моисею Фридману дозарезу требовались надежные люди, чтобы создать новый революционный уголовный розыск в столице, и он предложил Дукаревичу поступить к нему на службу. Дукаревич охотно согласился. Новая служба давала возможность принимать участие в обысках, а для филателистической деятельности Дукаревича это не было лишним. В то время, когда проворные агенты искали у хозяев крупчатку, сахарин и свиное сало, Дукаревич шарил в письменном столе и в шкафах, разыскивая драгоценные альбомы с марками. Опытным взглядом он определял стоимость найденной коллекции, находил редкие экземпляры старинных марок и потихоньку извлекал их, убирая в кошелек.

Как-то раз у одного фабриканта обнаружили большой чемодан, набитый золотыми и бриллиантовыми вещами. Фабрикант собирался бежать за границу и собрал все ценности в дорогу. Этот чемодан, конечно, запечатали для отправки в комиссариат.

— Хорошо, берите,— сказал богач, превратившись сразу в нищего. — Оставьте меня только в покое. Я не занимаюсь политикой. Я просто хочу пожить спокойно.

В кабинете вытряхивали ящики из письменного стола, расшвыривали на полу толстые книги в кожаных переплетах. Дукаревич отрывал обивку с кресел и дивана. Он знал, что в доме находилась ценнейшая филателистическая коллекция. Но где она спрятана? Несгораемый шкаф был открыт и обыскан, а все шпалеры в кабинете содраны. И все-таки коллекции нигде не было.

— Покажите все ваши комнаты.

— Будьте любезны! Пожалуйста.

Фабрикант, тучный, жирный человек, с рыхлым заспанным лицом, шел впереди и светил свечкой. Пугливые тени прыгали на стенах. Дукаревич шагал по пятам.

— Здесь столовая. Здесь — детская... Дочь живет... Зайдете?

— Обязательно.

Дукаревич заметил: на столе, среди синих ученических тетрадей, небрежно валялись марочные альбомы. Филателист почувствовал легкое головокружение. Он хотел броситься к столу, но, поймав на себе пристальный взгляд хозяина, отвел глаза в сторону и полез под кровать. Он достал ночной горшок, передвинул вышитые шелком туфли, после пощупал матрац. Колючие, выцветшие глаза хозяина следили за каждым его шагом, за каждым движением руки. Дукаревич прекрасно понимал, в чем было дело. Эти идиоты из уголрозыска радуются, что нашли чемодан с золотом и бриллиантами. Болваны! Они не знают, что шесть альбомов стоят значительно дороже, чем саквояж с золотом.

Дукаревич взял альбом в шагреневом переплете. Глаза миллионера стали похожи на глаза кошки, у которой понесли топить котят. Лицо его сделалось багрово-синим. Он судорожно мотнул головой и схватился одной рукой за ворот сорочки, а другой за край стола.

— Оставьте,— промычал он, и около губ показалась розовая пена.

— Оставьте...

И грузное тело фабриканта тяжело рухнуло на пол.

Дукаревич забрал все шесть альбомов.

— Кожа замечательная,— сказал он,— сапоги выйдут красота, а марки отдам сынишке — пусть забавляется.

— Ну, это мы еще посмотрим,— запротестовал завистливый начальник,— марки сынишке можно отдать, а кожу придется провести по акту.

Дукаревич сделал вид, что обиделся. Он выдрал дрожащими руками листы с наклеенными марками и спрятал под шинель. Кожаные переплеты начальник при-

общил к реквизированным вещам. В эту же ночь Дукаревич выехал на восточный фронт.

IV

Три месяца шли за Уралом ожесточенные бои, смерть уносила десятки тысяч людей, а Дукаревич, каждую минуту рискуя головой, вступал одним из первых в занимаемый красноармейцами город. Обычно он бросался на почту и завладевал всей корреспонденцией. Он срывал конверты с писем и поспешно срезывал проштемпелеванные марки. Ими филателист набивал сумку, а после, оставшись один, приводил марки в порядок.

Он старательно отмачивал их в теплой воде, любовно очищал от бумаги и клея, тщательно высушивал и складывал в аккуратные пакетики. Каждый такой пакетик, размером и весом со спичечный коробок, вмещал пятьсот марок и как раз помещался в секретном кармане, нашитом на нижнем белье. Дукаревич прекрасно знал, что филателисты всех стран интересуются сейчас русскими марками. Ему посчастливилось найти в Челябинске, после ухода белых, американскую газету, в которой он вычитал сведения о последних рыночных ценах. За обыкновенную погашенную марку американские конторы предлагали по шестнадцать долларов. Тысяча марок — это шестнадцать тысяч долларов. Десять тысяч марок — сто шестьдесят тысяч долларов. Двадцать тысяч марок — и Дукаревич обеспечен на всю жизнь, а синеглазая Стефания станет его женой.

В Маслянской, где Дукаревич намеревался перейти на сторону белых, он отсиживался почти две недели. Когда красные отступили и в село вошли егеря — он был уже не библиотекарь, а артист Художественного театра, пробиравшийся через фронт во Владивосток.

— Это замечательно, — сказал ему полковник Ерин, с которым он случайно разговорился на вокзале, — я приглашаю вас в свой агитпоезд. Советую согласиться. Все равно вы подлежите мобилизации, как военнообязанный.

Полковник Ерин имел смелый профиль с крутым подбородком и Дукаревичу показалось удивительно знакомым его лицо.

— Где я его видел?

— Решайте! — торопил полковник.

— Такой же нос и такие же брови...

— Что вы думаете?

— Вы не были в Америке? — хотел спросить Дукаревич и даже зажмурился от неожиданности.

— Решайте! — еще настойчивее сказал полковник.

— Португальский король! — чуть не воскликнул Дукаревич и даже улыбнулся: — Марка 1894 года... Изумительное сходство... Чорт побери!.. — пробормотал он.

— Даете вы ответ, или нет! — теряя терпении, рассердился полковник.

Дукаревич согласился. Вечером он перебрался в классный вагон, на обшивке которого написано было волнующее слово «Победа». Так назывался агитпоезд полковника Ерина.

На другой день Дукаревич узнал, что полковник Ерин имеет передвижной театр, кино, фотографию, баню, прачечную и парикмахерскую. В передвижном театре полковник Ерин ставил свои пьесы высоко патриотического содержания; фотография снимала зверства большевиков, а баня, прачечная и парикмахерская обслуживали многочисленных сотрудников и артистов передвижного театра. Агитпоезд имел двадцать два вагона. В первом, мягком вагоне ехал полковник с женой, дочерью и сыном. В следующем вагоне, тоже мягком, разместилась героиня Чернота-де-Бояро-Боярская—вторая жена полковника Ерина. В остальных, жестких, жили сотрудники агитпоезда, артисты и художники. В хвосте шли: вагон-фотография, кино-вагон, вагон-театр и вагон-склад.

Ад'ютант полковник Ерина, молодой человек с черными усиками, играя круглыми бровями, сказал:

— Мы живем дружно и очень не плохо. Полковник Ерин — гениальный человек. В труппе есть невредные девочки. Рекомендую. Впрочем, увидите сами и, надеюсь, оцените.

Он отвел Дукаревичу купе вместе с художником-декоратором. Художник был желчный человек, страдавший геморро-

ем, и встретил Дукаревича не совсем любезно. Вечером, устраиваясь на ночлег, Дукаревич, чтобы завести разговор, сказал:

— Полковник Ерин пользуется авторитетом... Очевидно, он не плохой человек?

— Жулик, — коротко ответил художник.

— Однако ад'ютант давал мне другую оценку...

— Ад'ютант — мерзавец, — сверкнул глазами художник, — вообще весь агитпоезд состоит из сплошных негодяев. И мы с вами негодяи, что находимся здесь.

Через час Дукаревич знал, что полковник Ерин вовсе не полковник, а только военный чиновник, но носит защитные погоны с двумя широкими просветами, хотя по закону ему полагается носить с узкими. Чернота-де-Бояро-Боярская шепелявит, делает тридцатый аборт, нюхает кокаин и вовсе она не артистка, а кафешантанная певичка. При том же у нее вставная челюсть, и полковнику Ерину она изменяет не только с киномехаником, но даже с парикмахером.

Все сотрудники агитпоезда увильнули с фронта и сейчас дают ад'ютанту взятки, который делится пополам с полковником Ериным. Артисты в театре — халтурщики, артистки — проститутки, а фотограф, снимающий зверства большевиков, уголовный преступник, педераст и наглый обманщик. Он снимает убитых красноармейцев, а после тушью подрисовывает разные фокусы.

— Чем скорее поезд попадет в руки большевиков и чем скорее они перевешают эту сволочь — тем будет лучше! — мрачно заключил художник свое повествование и швырнул под скамейку снятый ботинок.

На другой день Дукаревич отправился в вагон-театр на репетицию. Готовилась к постановке шестиактная пьеса полковника Ерина: «Белый подвиг Ивана Овсова». Артистов на сцене было больше, чем действующих лиц в пьесе, и Дукаревичу пришлось заменить заболевшего суфлера.

Сюжет патриотической пьесы не отличался особенной сложностью — полковник любил в искусстве, прежде всего, простоту. Через четверть часа Дукаревич, бегло прочитавший тетрадь, ознакомился с содержанием пьесы и узнал, в чем именно заключался подвиг Ивана Овсова. Оказывается, Иван Овсов, сын старательного хозяина, любил девушку Машу и мечтал о собственном хозяйстве. Но счастью Ивана Овсова помешала революция в лице продотрядников, приехавших грабить крестьянский хлеб. Вместо семейного счастья Ивану Овсову пришлось возглавить партизанский отряд для борьбы с большевиками. Получив от Маши на дорогу серебряный образок Георгия Победоносца и побывав на исповеди у священника, Иван Овсов повел свой отряд в наступление и во время первого боя погиб геройской смертью с возгласом: «Да здравствует единая неделимая Россия!» («Продотряд врывается в с. Урожайное. Комиссар насилует Машу».)

Как опытный драматург, полковник Ерин не закончил на этом трагическом моменте свою пьесу. Зритель из театра должен уйти радостным. Белая справедливость должна восторжествовать над красным насилием. Полковник Ерин дал бодрый эпилог. Он показал село Урожайное через два года. Белые победили. Деревня застроилась. Сидя у окна, Маша оплакивала жениха. К ней подошел странник и попросил напиться. Когда странник снял шапку, Маша узнала в нем Ивана Овсова. Оказывается, в бою его только ранили и взяли в плен. Маша, конечно, обрадовалась, но, вспомнив о потерянной невинности, горько всплакнула. Иван Овсов тоже помрачнел в лице. Но после он сказал: «Маша, на все воля всевышнего, я люблю тебя попрежнему!» И благословил невесту тем же самым образком, который Маша в третьем акте повесила ему на шею. Занавес.

Однако пьеса Дукаревича не взволновала. В Америке ему приходилось видеть более нежные истории, и он принялся добросовестно суфлировать. Машу играла Чернота-де-Бояро-Боярская, а Ивана Овсова — артист Недолин. Полковник Ерин, сидя в первом ряду, наблюдал за ходом репетиции и давал авторские указания.

Над пьесой работали две недели. Сыграли в вагоне генеральную репетицию и

намечали постановку в городском театре для егерей. Но за день до спектакля красные зашли в тыл и агитпоезд попал в плен. Спасся только один полковник Ерин, сумевший во-время прицепить свой вагон к поезду главнокомандующего.

Почувствовав опасность, Дукаревич быстро собрал чемодан и заготовил советские документы. Он предпочитал унести ноги по добру по здорову, но ад'ютант, срезавший погоны и заменивший георгиевскую ленточку красной, преградил путь.

— Позвольте, это нечестно, — сказал он, играя бровями. — Сейчас состоялось общее собрание коллектива агитпоезда, постановившее арестовать полковника Ерина и выдать красному командованию. За ним уже послана погоня. Передвижной театр организует постановку для героев-красноармейцев. Я внес кое-какие поправки в пьесу Анатолия Семеновича и, представьте, она вышла теперь очень неплохой.

Сотрудники агитпоезда ходили без погон, рабочие организовывали ячейку, фотограф переделывал подписи под снимками, превращая зверства большевиков в зверства белых, а Дукаревич суфлировал по исправленному экземпляру перелицованную пьесу, которая называлась «Красный подвиг Ивана Овсова».

Иван Овсов теперь превратился в бедняка деревни Нееловки. Вдвоем с Машей они мечтают, как хорошо будет жить в коммуне. Но крестьяне с ужасом ждут налета белогвардейцев и единогласно выбирают Ивана Овсова комиссаром красного партизанского отряда. Иван Овсов не отказывается, он ставит к стенке священника, а Маша вышивает для отряда красное знамя. Под этим знаменем Иван Овсов и гибнет в бою с возгласом на устах «Да здравствует Третий интернационал!» («Белогвардейцы врываются в деревню. Офицер насилует Машу».)

Эпилог со странником остался, но концовку ад'ютант дал несколько иную. Когда Маша вспоминает об утраченной невинности, Иван Овсов восторженно кричит: «Это буржуазный предрассудок! Да здравствует новый быт и раскрепощенная женщина!»

На другой день в городском театре начался спектакль, и Дукаревич влез в суфлерскую будку. Зрительный зал застыл. Занавес раздвинулся и Дукаревич увидел полные ноги Черноты-де-Бояро-Боярской, облитые серебристым шелком, и блестящие голенища Недолина.

— «Маша, классовое расслоение деревни неизбежно, — зашипел Дукаревич, — крупный капитализм душит крестьянское хозяйство»...

— «Милый Ваня, это же мне стало очень ясно, как я прочитала книжку «Аграрный вопрос в России»... — «Маша, читай больше такие увлекательные сочинения»...

Спектакль прошел блестяще, красноармейцы радостно отбивали ладони, Чернота-де-Бояро-Боярская три раза выходила на авансцену и, улыбаясь накрашенным ртом, раскланивалась перед зрителями, но после окончания последнего акта за кулисы пришел наряд вооруженных людей и всех артистов повезли на грузовиках в Особый отдел.

Дукаревич во-время успел скрыться и ночью шел по глухим улицам города, раздумывая, где бы найти ночлег.

— Это вы? — раздался над его ухом возбужденный голос ад'ютанта. — Как вы избежали ареста?

— Так же, как и вы, — ответил Дукаревич.

— Я буквально чудом. А, вы знаете, сейчас расстреляли Черноту-де-Бояро-Боярскую и Недолина. За какую-то провокацию... Чорт знает что!.. Этак, ведь, и нас с вами могут шлепнуть.

— Могут, — согласился Дукаревич, радуясь, что на сегодняшнюю тревожную ночь у него есть спутник.

V

Если бы Дукаревича при аресте стали обыскивать, у него нашли бы не менее двадцати тысяч почтовых марок, зашитых в потайных карманах нижнего белья. По ценам, вычитанным Дукаревичем в американской газете, это равнялось приблизительно 320 тысячам долларов.

И Дукаревич решил: не стоит дальше испытывать судьбу, надо срочно возвращаться домой. Он наметил переход фронтовой линии в десяти верстах выше железнодорожного моста на Ишиме, как

раз против песчаной косы, и двинулся в дорогу.

В последние дни, когда он собирал сведения, где лучше перейти фронт и каким образом, ему указали именно это место. Здесь по ночам белые солдаты переходили на сторону красных, и наоборот.

Дукаревич сильно продрог, пролежав в прибрежных кустах до глубокой ночи. Осенний ветер забирался за воротник, за обшлага, дул в уши, колючими иглами щипал лицо. Филателист лежал на мокрой от ночной росы земле и дрожал. Зубы его отбивали мелкую дробь. Он мечтал о мягкой постели, о теплой комнате, о камине с догорающими углями, о ласковой звериной шкуре около дивана. Ему хотелось выпить горячего, крепкого чаю, налитого розовыми руками Стефании, ему хотелось закутать шею в пуховый платок и уснуть около раскрытого жаркого камина, положив голову на круглое колено возлюбленной.

Но кругом выл ветер, от реки несло пронизывающей до костей сыростью и с неба падал не то дождь, не то снег.

Дукаревич взглянул на часики со светящимся циферблатом и подумал «пора». Он ползком пробрался до реки, снял сапоги, привязал их к спине, а резиновую сумку с марками — на голову, и, согнувшись, вошел в воду. Дно было каменистое и мелкое. Надо было итти прямо шагов сорок, а потом взять влево. Так учил крестьянин. Потом нужно было плыть через глубокое место саженей шесть, не меньше, пока можно будет встать на ноги и итти до песчаной косы. На острове следует отдохнуть и дальше вплавь добираться до противоположного берега.

Дукаревич мог бы нарисовать самый подробный план своего путешествия. Он знал, где именно нужно было войти в воду, в каком месте вылезти на мель, и в каком — на противоположный берег. Но легко было рисовать чертежи в блокноте, отмечая крестиками и кружочками условные пункты. Совсем иначе почувствовал себя Дукаревич, когда очутился в ледяной воде. Верное ли направление он взял? Не слишком ли криво повернул влево? Коса может оказаться благодаря этому в стороне.

Такие мысли тревожили Дукаревича, когда он шел, передвигая с трудом ноги по вязкому, глинистому дну. Одежда его промокла насквозь, тело стыло от холодной воды, но Дукаревич беспокоился не о том, что он может простудиться и навсегда искалечить свое здоровье, — Дукаревич думал о марках, зашитых в потайных карманах нижнего белья. Карманы хотя и сшиты из резины (предусмотрительный Питер Мак-Доуэлл предвидел всякие неожиданности), но проверить их надежность филателисту до сих пор еще не пришлось. Он больше надеялся на герметически закупоренную фляжку в резиновой сумке, которая была привязана к голове.

Дукаревич поднимался и шел на цыпочках. Черная, как деготь, вода доходила ему до подбородка. Теперь приходилось двигаться вплавь. И Дукаревич поплыл.

Детство филателиста прошло на берегах большой реки. Ему было четыре года, когда он в первый раз попал в воду. Мальчишкой он переплывал Вислу в два конца, а перед самым от'ездом в Америку получил награду за спасение утопающего. Перебраться через Ишим для Дукаревича, даже в одежде, ничего не стоило, если бы дело происходило не ночью, а днем. Но сейчас он плыл в неизвестность, и спереди, и сзади были враги. Кто знает, как встретят его на том берегу? Вдруг начнется обстрел, и тогда Питеру Мак-Доуэллу долго придется ждать своего компаньона.

Плыть в намокшей тяжелой одежде было очень трудно, и Дукаревич сильно устал, пока добрался до острова. Нащупав дно ногой, он ощутил прилив бодрости. Переправа шла по плану и это действовало успокаивающе. Дукаревич растянулся на траве около пня, подложив под голову сапоги, и стал отдыхать. Ночь была туманная, и филателист чувствовал себя в безопасности. Неожиданно три выстрела прогремели со стороны белых. Красные не ответили. Снова наступила тишина. Дукаревич поправил сапоги под головой, устраиваясь поудобнее, но в это время кто-то вздохнул рядом, в двух шагах, не дальше. Дукаревич почувствовал веянье крыльев смерти. «Здесь кто-то есть, я

не один» — установил филателист и ощутил тоску. Самое тяжелое было неведение, кто находится рядом — красный или белый. Может быть, дезертир из одного стана переходит в другой? А возможно, просто местный крестьянин, тогда и вовсе не опасно. Интересно, видит ли этот неведомый человек Дукаревича? Вероятно, тоже нет.

Два человека лежали рядом, их разделял только широкий пень спиленного тополя. Иногда они слышали затаенное осторожное дыхание друг друга. Длинные минуты казались бесконечными. Кровь стыла от пронизывающего осеннего ветра и мучительно ныли замерзающие ноги.

— Ты что, дезертир? — не выдержал, наконец, неведомый сосед.

Дукаревич обрадовался, что тягостное молчание нарушилось.

— Дезертир, — прошептал он, стараясь увидеть, кто его спрашивает.

Снова наступило мучительное безмолвие. Дукаревичу было ясно, что теперь все зависит от второго вопроса и ответа. Белый? Красный?

И он почувствовал радостное облегчение, вспомнив, что есть еще третья сторона, пока не воюющая.

— Дезертир, — повторил он громче: — дезертир.

— Откуда? — раздался в темноте осторожный, нащупывающий вопрос, и Дукаревичу показалось, что кто-то сжал в руке наган.

— Зеленый, — прошептал Дукаревич: — зеленый.

Опять наступила тягостная пауза. Собеседник или сомневался, или обдумывал услышанный ответ.

— Плохо это, братишка, — сказал, наконец, неизвестный: — но не мне судить тебя. Время не такое. По совести...

Снова в темноте загремели выстрелы со стороны белых и опять красные не ответили.

— В какую сторону пробираешься?

— К красным, — осторожно ответил Дукаревич.

— Ну, что же, это хорошо, — одобрил шершавый голос, и филателист догадался, что имеет дело с красноармейцем. — Тогда, какой же ты зеленый?.. Выходит, ты самый настоящий белый?..

— А я совсем не хочу воевать... Не признаю...

— Не баптист, случайно? Сектант? — подозрительно спросил собеседник. — Я у одного евангелиста на квартире стоял, те тоже против убийства... Чудаки! Словно нам кровь нужна. Мы и воюем-то только для того, чтобы человечеству равную жизнь предоставить, да чтоб никогда войны не было.

Дукаревич почувствовал, как тревога отлетела прочь. Опасность смерти миновала. Но как быть дальше? Он сказал, что пробирается от белых к красным, и, похоже, попал удачно. Но что делать теперь? Как отвязаться от встречного красноармейца? И почему этот красноармеец сидит ночью на острове посреди реки? Для чего он здесь? Кого ждет?

Целый ряд вопросов возник в голове Дукаревича, но ни на один он не мог дать ответа.

— Ты, парень, крой прямо через протоку. Держи все время правее, тут скоро мелко будет, — сказал красноармеец.

— Ладно, — буркнул недовольно Дукаревич. — Отдохну, устал я.

— Отдыхай, это ничего. Я бы вот закурил, да боязно. А курить до смерти охота.

Они лежали молча еще некоторое время. Дукаревичу волей-неволей приходилось мерзнуть. Он даже подумал, не нарочно ли его пережидает красноармеец? Но тот, очевидно, имел свое дело и свои точные сроки.

— Ну прощай, братишка, — сказал, наконец, красноармеец, и Дукаревич увидел полусогнутую фигуру, спускающуюся в воду.

Красноармеец обернулся, махнул рукой и поплыл вниз по течению, по середине реки. Так показалось Дукаревичу. Через несколько секунд голова пловца пропала в темноте.

И тогда Дукаревич решил взять последнее препятствие. Он снова привязал сапоги к спине, а сумку к голове, вошел в воду и поплыл на левый берег, стараясь не производить шума. Течением сносило его сильно вниз, он боролся и выбивался к берегу, но в темноте не видно было, какое расстояние еще оставалось плыть. Несколько раз он старал-

ся нащупать дно ногами, но безрезультатно, место было глубокое. Дукаревич начал выдыхаться и выбиваться из сил. И тут ему стало ясно: если через пятьдесять минут он не сможет встать на ноги, — тогда, значит, будет конец. Тяжелая, намокшая одежда гирей тянула вниз озябшее и заледенелое тело. Руки отказывались работать.

«Тону», — подумал Дукаревич, теряя сознание.

Но в эту секунду раздались выстрелы и пули зазвенели по воде. Ноги Дукаревича неожиданно твердо встали на усыпанное гальками дно. Глубоко вздохнув, он набрал полную грудь воздуха и погрузился в воду. Почти целую минуту он пробыл в таком состоянии, потом осторожно высунул голову. Выстрелы гремели где-то правее. Дукаревич простоял в воде почти час и когда стихло— стал пробираться к берегу. Он ступал медленно, едва передвигая ноги и, хотя зубы выбивали дробь, но холод почти не ощущался, — чувство страха перед смертью брало верх. Дукаревич шел, сильно согнувшись, но с каждым шагом дно становилось мельче и его согнутая фигура делалась все заметнее и заметнее.

«Или-или», — подумал Дукаревич, выпрямляясь во весь рост и находу развязывая висевшие за спиной сапоги.

В эту минуту, филателист знал, решалась его судьба. Если его кто-нибудь видит, значит, конец. На таком расстоянии убьют наповал. Но если он успеет крикнуть только одно слово — тогда спасен.

Дукаревич уже не шел, а бежал, с трудом передвигая в воде ноги. В руках он нес сапоги и словно защищаясь, держал их перед собой около груди. Вот уже последние два шага и— берег. Нужно будет сразу броситься на землю и отлежаться. Дукаревич поставил ногу на камень и согнул колени.

— Стой! — крикнул кто-то сбоку и нанес сильный удар прикладом ружья в бок.

Дукаревич упал и протянул руки кверху.

— Свои, свои, — закричал он, — перебежчик.

Правый бок у Дукаревича ныл тупой болью. Казалось, что ему сломали ребро.

Привели его в какой-то погреб, втолкнули в дверь, дверь закрыли и солдаты ушли.

VI

Оставшись один, Дукаревич несколько успокоился. Скоро его поведут на допрос к офицеру. Он расскажет о себе всю правду, кто он, как попал на фронт, куда сейчас пробирается. Для проверки сведений могут запросить американскую миссию в Омске. Можно, наконец, послать телеграмму в Нью-Йорк Питеру Мак-Доуэллу. Белые — это не то, что красные. Они поддерживают связь с цивилизованным миром, — успокаивался все больше и больше Дукаревич. Если он не погиб в опаснейший момент переправы через Ишим, то сейчас смешно думать о гибели.

Бездеятельность тяготила филателиста и он принялся за обследование темницы. Прежде всего, Дукаревич установил отсутствие окон и нашел еще заключенного.

— Кто вы? — спросил он, дотрагиваясь до чьих-то лохмотьев.

— Женщина я... Ачемчирская... Снизу я...

— За что вас задержали?

— А кто их знает, за что... Шла вечером к сродным, а солдаты и напали. Может, шпиенка, говорят, кресты получим. А какая я шпиенка, восьмой месяц хожу... Брюхатая я, господи помилуй...

Женщина всхлипнула и замолчала, видимо утирая слезы.

— Ничего, — посочувствовал Дукаревич, — скоро будет утро. Все выяснят и вас отпустят.

— Да я, рази, что говорю... Дома беспокоются...

Он сел рядом. Зубы вновь заляскали от холода. Вздумал размять затекшие ноги, но намокшая одежда мешала двигаться.

— Ты что дрожишь-то? Прозяб?

— Очень.

Бабьи руки участливо дотронулись до его куртки.

— Батюшки... Где же ты это промок так? И дождя-то такого, кажись, не было...

— В реке...

— Упал?

— Плыл, — ответил Дукаревич, щелкая зубами.

— Ой-ты, ой-ты! — заохала баба: — да ты хоть бы разделся и бельишко выжал. Право, говорю, отожми...

— Ничего, не стоит.

Он посидел несколько минут молча и почувствовал, что замерзает. Надо шевелиться, надо заняться гимнастикой, иначе дело может кончиться плохо.

— Я б тебе шубенку дала погреться,— нерешительно предложила жалостливая баба: — право слово, а то застынешь и пропадешь.

Дякаревич задумался на мгновение, а потом быстро снял куртку, фуфайку и нижнее белье с секретными карманами, в которых хранились марки. Баба по шороху догадалась, что Дукаревич сидит полуголый и протянула шубенку. Кислый запах овчины остро ударил в нос Дукаревичу, но он с радостью закутался в теплый бабий полушубок. Приятная теплота сразу же растеклась по его телу.

— А тебе не холодно?

— Я сухая, мне легче.

Но Дукаревич почувствовал угрызение совести и ощупал бабу.

— Ты почему нижнее белье не носишь? — досадливо прошептал он.

— Обедняли... Где теперь мануфактуру достанешь?.. Довоюем до того, что голыми ходить будем.

— Посидели некоторое время молча, а после Дукаревич сказал:

— Вот что, баба давай полушубок поделим... Я не хочу, чтобы ты мерзла.

— Да ничо, ничо, ты не беспокойся, сам грейся. Я теплая.

Но Дукаревич решительно запротестовал:

— Забирай его обратно, если так не хочешь... Слышишь?

Баба помолчала, а после проговорила, должно быть, улыбаясь:

— Ишь ты, какой... Ну, ладно, садись поудобней... Мне брюхо-то не надави ненароком... Ребеночка еще спортишь...

Дукаревич погладил круглый, как арбуз, живот соседки и поинтересовался:

— Дети есть, или первый?

— Какое там, третий уж...

Они сидели молча. Баба думала о покинутом доме, а Дукаревич вспоминал Стефанию. Ради нее он жертвует сейчас жизнью, а чувствует ли она смертельную опасность, грозящую ему?

В эту минуту дыра погреба раздвинулась и вошел новый человек. Он присел на корточки и, затаив дыхание, сидел несколько минут молча. После так же, как Дукаревич, пошел шарить стены.

— Кто тут? — вполголоса спросил он, задев бабу за ноги, и Дукаревич сразу по голосу узнал того самого красноармейца, с которым он сидел час назад на песчаной косе.

— Мы тута, — сказала женщина: — мы, люди.

— Ага, это хорошо, что люди. Мокрый я только... Прямо с реки... Нет ли одежонки? В воде сейчас сидел...

— Всех вас не пригреешь, — неожиданно рассердилась баба и потянула полушубок. Дукаревич начал выжимать фуфайку. Но одному было трудно, и он сказал, обращаясь к красноармейцу:

— Вы бы мне подсобили выжать белье...

— А по голосу-то я тебя узнал, — изумился красноармеец: — на реке были вместе? А?

— Да.

— Что же, заграбастали, выходит?

Дукаревич ничего не ответил. Красноармеец нашел конец фуфайки. Они свернули ее жгутом и со всей силой стали выкручивать воду.

— До капельки! — хозяйственно сказал красноармеец. — Ты что же, разоблачился? Надо и мне.. А, впрочем, все едино... Шлепнут скоро. И трудиться не стоит. Ну их к дьяволу!

Он сел с Дукаревичем рядом и ощупал его, как слепой.

— Помирать, выходит, будем вместе... А баба причем? Для равноправия, что ли?

Он выругался крепкой бранью, помянув богородицу. Тогда Дукаревич недовольно сказал:

— Женщина — беременная, нехорошо так...

— Не рассыплется... Тебя за что, тетка, морят?

—За шпиенку признали... А какая я шпиенка? На восьмом месяце... К сродным шла... Вот Христос, не вру...

— Бывает, — согласился красноармеец: — Спичек нет? Закурить бы сейчас...

Он вздохнул и затих. Дукаревичу даже показалось, не заснул ли красноармеец. Больно уж тихо он сидел. Но красноармеец не спал. Он знал, что доживает последние часы, а, может быть, даже и минуты. Странно только, что его не пристрелили сразу: ведь, у него нашли пироксилин. Он должен был взорвать железнодорожное полотно, чтобы не дать противнику продвинуть бронепоезд к Ишимскому мосту. Мост находился еще в руках белых и они вели за него упорную борьбу. Но начдив, руководивший операцией, распорядился ночью взорвать полотно между бронепоездом и мостом. По полученным сведениям, бронепоезд на ночь уходил за четыре километра и этим обстоятельством решило воспользоваться командование.

Когда красноармеец согласился пойти взорвать полотно, он знал, что идет на верную смерть. Но от этого взрыва зависела судьба всей операции, а красноармеец был слесарь и вдобавок коммунист. «Война, так война», сказал он, и комполка понимающе пожал ему руку на прощанье.

Ночью его спустили в воду, он добрался до мели и пролежал несколько часов на песке. После он поплыл по течению, имея на груди пробковый пояс. Ночь была туманная и план мог увенчаться успехом. Он уже благополучно пробрался на сторону противника, но совсем случайно напоролся на белый секрет. Ударом приклада в голову его сшибли с ног и обезоружили. Сейчас красноармеец ждал с минуты на минуту расстрела. «Скорей бы уж», подумал он и ощутил противную тошнотворную слабость. Но присутствие еще кого-то, будущего товарища по смерти, подкрепляло самочувствие. Двоим умирать всегда легче, чем одному. И он вдруг почувствовал, что человек, сидящий рядом, сделался для него близким, вроде родственника или старого друга. Красноармеец не знал, как выглядит этот человек — рыжий, черный или светловолосый, сколько ему лет, чем он занимался раньше, какое у него лицо. Он пожалел, что под рукой не было спичек, хорошо бы взглянуть на соседа и разглядеть его, как следует.

— Какой губернии?

— Витебской.

— Не бывал там никогда, — словно извиняясь, сказал красноармеец: — не доводилось. Помолчал немного и добавил:

— А я вот из Тулы. На оружейном работал... Слесарем... Хороший город...

Дукаревич терялся. Он не знал, как себя лучше держать. Что это за странный красноармеец и каким образом он попал в плен? На перебежчика не похож...

И филателист осторожно переменил тему разговора:

— Как это вас задержали? Мне показалось, вы плыли на правый берег?

— Дуром взяли, — недовольно ответил красноармеец. — На секрет нарвался. Где тонко, там и рвется, — выругался он. — Ну, да ладно все едино эту сволочь сметут... Помирать вот только не охота. Жизнь-то какая предвидится! Мировая жизнь!

Голос его зазвучал тоскливо.

— Но если вам раскаяться? Вас не расстреляют....

— То есть, как раскаяться?

— Ну, хотя бы для виду, — поспешил поправиться Дукаревич.

— Для виду? Не поверят. Эта же сволочь умная — старые генералы. Что они — пальцем деланы что ли?.. Маленькие?.. Раз пироксилин... все ясно без сомнения, а тут каяться... Чего зря каяться-то? Это тебе не исповедь, а война. Человек ты, видать, штатский и рассуждаешь не по-военному, а вроде как дьякон...

Дукаревич подумал и решил, что его собеседник прав.

— Расстреляют, — еще тоскливее вздохнул красноармеец. — Это вот не люблю... Лучше бы в бою... сразу, чтобы не думать ничего. Сгоряча помрешь и не заметишь... А тут чего только не

надумаешь... Перемучаешься больше... Не скотина, ведь... Известно... Недаром попы душу выдумали... Я, конечно, в в бога не верю все это один несообразный мрак. Но жизнь человеческую я превыше всего ставлю. В Туле у меня баба осталась, не то, чтобы жена, а так, по любовному, теплый человек... И на заводе бы еще поработать хотелось. Цеха у нас хорошие, большие, светлые, в войну перестроили... Завод-то военный... А ты чем занимаешься? По профессии?— неожиданно спросил он.

— Я филателист.

— Филателист? Это что же, не по текстильной промышленности?

— Нет.

— Не слыхал что-то такой профессии. Не доводилось. В чем ее сущность, по работе?

— Марки собираю.

— Ага, в почтовом ведомстве. Я так и подумал сразу, что ты из чиновников. По разговору. Интеллигент, вроде.

— Нет, я не чиновник, — принялся раз'яснять Дукаревич. — Филателия — это собирание почтовых марок для коллекций. А филателист — это человек, который собирает почтовые марки. Старинные марки стоят очень дорого и за них платят большие деньги.

— И здесь спекуляция! — изумился красноармеец: — до чего же человек сволочь все-таки...

Дукаревичу стало обидно, что его, полную опасности, работу по собиранию марок на линии фронта красноармеец определил таким оскорбительным коротким словом.

— Это не спекуляция, — сказал он с достоинством: — Вы не ошиблись, я, действительно, штатский человек. Но я филателист, а не спекулянт. Это не одно и то же. На фронте я собираю штемпелеванные марки, которые на ваш взгляд, конечно, не имеют никакой ценности, но для филателистов они очень дороги, потому что собраны в районах гражданской войны. Да, это сейчас является моим занятием.

Красноармеец сидел и тяжело думал, стараясь уяснить возможно точнее профессию своего соседа. Человек собирает марки... У него усы, борода, может быть, детишки, словом не мальчуган, а взрослый дядя. Эти марки он носит в табачную лавочку, где после продают их в маленьких пакетиках. В Туле был такой магазин и, правильно, кое-кто из школяров покупал эти марки. Верно было такое дело... Нищенское занятие, хуже, чем семячками торговать... Но надо же человеку кормиться...

— А все-таки пустое дело, — сказал, подумав, красноармеец. — Неужели ты ремеслу не сумел научиться? Сколько тебе лет-то?

— Тридцать шесть...

— Ну вот! В такие года ты бы мог и столяром стать, и маляром, и вообще, чем хочешь...

— Напрасно, — обиделся Дукаревич,— вы так презрительно относитесь к моему занятию. Когда я был маляром, я зарабатывал девять долларов в неделю, а когда я стал агентом-филателистом, я стал зарабатывать девяносто, и больше. Доллар — это два рубля. Я, ведь, американский гражданин, и нахожусь здесь в командировке.

— Вот оно что, — сказал красноармеец и даже отодвинулся.

Наступило молчание. Дукаревич соображал: напрасно он пустился в такой откровенный разговор. Он обычно ни с кем не разговаривал о свой профессии и о целях приезда в Советскую Россию. Не может ли ему повредить эта откровенность? Но он сразу же успокоил себя: ни в коем случае. Все равно перед допросом его обыщут до нитки и в секретных карманах обнаружат марки. Придется рассказать все, не скрывая ни одного слова. Иначе, действительно, могут заподозрить в шпионаже и расстрелять. А откровенная беседа, очевидно, кончится посылкой телеграммы Питеру Мак Доуэллу. Разговор же с красноармейцем, которого, вероятно, сегодня расстреляют, никаких последствий иметь не может. А в случае чего, это даже и лучше: есть лишний свидетель, который может подтвердить, что Дукаревич говорит правду.

Мысли же красноармейца теперь текли в ином направлении. Оказывается, собирать марки — это вовсе не семячками торговать. Он вспомнил — доллар это два рубля, помножить на девяносто — сто восемьдесят в неделю, потом

на четыре — семьсот целковых с лишним в месяц... Это — деньги! Ясно — спекулянт! Надо было бы его стукнуть на острове. Жаль, не знал... Знал бы, так обязательно стукнул. Вот гад! Мы тут воюем, а он, сука, марки собирает, в альбомчик наклеит и продавать будет... Спекулировать... Налетайте с пылу, с жару... Паразит... А еще притворился зеленым... Я, говорит, войны не признаю... Святой какой нашелся!..

Чем больше вдумывался красноармеец в сущность новой, открытой накануне смерти, профессии, тем сильнее душила его злоба. Но побеждая накипавшую ненависть, он глухо спрашивал, притворяясь любознательным:

— Ну, и много на этом деле заработать можно?

— Много, —уклончиво ответил Дукаревич и крепче сжал в руках рубашку с секретными карманами.

— А все-таки? Может, помилуют белые, так займусь этой штукой... Ежели выгодно...

— Есть марочные коллекции, которые стоят миллионы рублей. Правда, их не так много, но ценятся они очень высоко... Ротшильд, английский король имеют такие коллекции.

— Вона оно что!.. Так, так...

Голова красноармейца кружилась и рот стал сухим.

— Ты, лоди, для них и марки-то собираешь? А?

— Если купят, — снисходительно пожал плечами Дукаревич.

— Купят! Эта сволочь все купит... Миллионов у них хватит... Будь покоен. Они бы нас купили с потрохами, а не только твои паскудные марки...

Красноармеец проглотил слюну и зажмурил глаза.

— Ну, и гадина же ты, все-таки, должен я тебе сказать. Сволочь ты!

Дукаревич нерешительно отодвинулся.

— Но позвольте, что я вам сделал? Что вы ругаетесь?

— Не ругать тебя, подлюгу, надо, а задавить, как змею.. Сука ты, спекулянт... Мы кровью в борьбе истекаем, друг дружку на смерть калечим, а ты, стерва, марки для буржуев собираешь... Марки! За что ты жизнь-то свою на кон ставишь?.. За марку, за бумажку дерьмовую... Гадина подлая! Меня вот расстреляют, так я хоть знаю, за что... Я бронепоезд хотел остановить, полотно взорвать, чтобы победа скорей была, и крови меньше пролилось... А тебе, сукину сыну, и победы никакой не надо, тебе бы только долларов побольше... Проститутка ты американская!.. Хуже ты беляка последнего... Вот ты кто!

Красноармеец дрожал и, задыхаясь, брызгал Дукаревичу слюной в лицо.

Дукаревич молчал. Впервые он почувствовал, что его оскорбили как филателиста. Это грубое животное еще хвастает, что собирался взорвать железнодорожное полотно. Ему непонятно, что можно рисковать во имя филателии, не говоря уже о любви к женщине. Да, Дукаревич способен на такой риск, потому что он знает истинную цену марки и истинную цену любви. Крохотный лепесток бумаги может стоить четверть миллиона... Этот бумажный лепесток может сделать счастливым человека на всю жизнь. Как же смеет с такой наглостью говорить о филателии человек, который в ней ни чорта не смыслит!.. — с негодованием подумал Дукаревич и возмущенно сказал:

— Послушайте, пошли вы к чорту!

— Он еще обижается... Да я тебя пришибу, гада ползучего. Паскуду паршивую...

Красноармеец неожиданно схватил цепкими пальцами филателиста за горло. Дукаревич отбивался и царапал красноармейцу лицо и руки.

— Ироды, что вы, — закричала баба: — оставь его! Оставь! Что он тебе сделал? Пусти его, пусти!..

Два тела катались по земляному полу. Красноармеец был сильнее Дукаревича, но филателист знал, что смерть готова настигнуть его каждую секунду и напрягал последние силы, стараясь высвободиться. Он хрипел, царапался, кусался и норовил ударить противника в лицо. А красноармеец, задыхаясь от великой ненависти и обиды, выверты вал ему руки за спину и шипел:

— Вот тебе марки.. вот тебе доллары... Мы кровь проливаем, а ты марочки, сука, собираешь... Марочки.

Он, вероятно, задушил бы Дукаревича, но дверь погреба неожиданно открылась и кто-то грубо закричал:

— А ну, выходи все до одного!.. Живо!

Тогда красноармеец с такой силой отшвырнул Дукаревича, что филателист головой стукнулся об стену.

— Шевелись быстрее, — заорал унтер-офицер и вынул сверкнувшую на солнце шашку.

VII

Человек с погонами капитана, у которого на лице играл тик, вначале допрашивал красноармейца:

— Какой части?

Красноармеец густо отхаркнул и плюнул капитану в лицо. Капитан отвернулся и плевок угодил на белый череп, пришитый к рукаву.

— Расстрелять! — крикнул капитан и тик покрыл его лицо зигзагами молний.

Красноармейца увели и ввели Дукаревича.

— Шпион! — утвердительно произнес капитан: — А? Что? Кем послан?

— Я — американский гражданин, — ответил Дукаревич, гордо выпрямляя грудь: — я нахожусь под защитой северо-американского флага Соединенных Штатов. Я протестую против произведенного обыска...

У капитана на руке блестел золотой браслет. Капитан играл тоненькой цепочкой застежки и смотрел Дукаревичу в глаза колючим, неодобрительным взглядом.

— Коммунист? Сознавайся сразу...

— Нет, нет, — поспешно сказал Дукаревич: — напротив, я никогда не состоял ни в одной социалистической партии. Я искренний враг губительных коммунистических теорий и анархизма. Я приехал из Америки...

— Do you speak english? Where dia you lived in America? — спросил по-английски капитан.

— I speak english fluently... I made my home in New-York,— ответил по-английски же Дукаревич.

— А кто же может поручиться, что вы не агент большевиков? — усмехнулся капитан, переходя на русский язык.

— Пошлите, пожалуйста, за мой счет телеграмму Питеру Мак-Доуэллу... Это мой компаньон по филателистической конторе в Нью-Йорке, на 9 авеню, 57... Он моментально ответит. Я собираю почтовые марки... Убедительно вас прошу, пошлите... Я — филателист. Тут недоразумение... Поверьте моему честному слову американского гражданина.

— И все-таки я думаю, что вы шпион, а марки для отвода глаз... Разумеется! — сказал капитан, и на лице его снова заиграл тик.

— Позвольте, но, ведь, на руках у меня вещественное доказательство. Вы видите, какую уйму марок я набрал. Тут несколько тысяч. Если бы я не был филателистом, зачем они мне? Посудите сами.

Дукаревич размахивал нижней рубашкой, как знаменем и шелестел карманами из тонкой резины.

— Вы видите, все это марки... Пожалуйста, взгляните сами и проверьте... При обыске у меня не нашли ничего компрометирующего. Только штемпелеванные марки, и больше ничего...

Капитан молчал томительно долго, а, может быть, это только показалось Дукаревичу. Длинным ногтем мизинца он счищал пятнышко на обшлаге рукава. На столе перед ним лежал чистый лист бумаги и огрызок карандаша. Капитан взялся было уже за карандаш, и после сказал:

— По существу говоря, вас следовало бы расстрелять сразу... Но я делаю исключение... Хорошо. Я вас отправлю на допрос к американскому офицеру.

— Это замечательно! — воскликнул Дукаревич, чувствуя, что близится благополучная развязка. — Я вам очень благодарен, капитан.

Унтер-офицер с наганом в руке и два конвоира повели Дукаревича на другой конец деревни. Его вели по середине улицы, где было грязнее, лужи шире и глубже, но филателист уже не протестовал. Он шел, гордо подняв голову, как настоящий американский подданный, и старался не слушать оскорбительных выкриков, несшихся вдогонку.

— Кого ведете? — спросил встречный казачий есаул в громадной папахе, останавливая рыжего коня.

— Должно, красного, — ответил унтер-офицер.

— Из-за такой сволочи беспокоят усталых бойцов, — возмутился есаул, берясь за рукоятку шашки: — ну-ка, посторонись, я ему для счета башку снесу...

— Я американский гражданин! — сипло крикнул, зажмуриваясь, Дукаревич и поднял руки, защищая лицо.

Унтер-офицер заступился:

— Ваше высокоблагородие... До американца ведем... Не трогайте... Нам же отвечать придется.

Есаул убрал шашку и пришпорил коня.

— Счастлива твоя арихметика! — сказал один из конвоиров. — Прошлый раз он троим башки поотрубал... Все считает...

Дукаревич почувствовал неимоверную слабость в коленях и шагал, с трудом вытаскивая сапоги из вязкой, густой грязи, хлюпавшей и шипевшей под ногами.

— Стой! — крикнул унтер-офицер и подошел к высокому резному крыльцу пятистенного большого дома. Он скрылся за крашеной голубой дверью, а конвоир потихоньку сказал:

— Табачку нет у тебя? Угостил бы, приятель...

— С удовольствием, но не осталось,— искренне пожалел Дукаревич, почувствовав в тоне солдата сочувствие.

Через минуту вернулся унтер-офицер. Он кивнул, чтобы конвоиры остались на улице, а сам повел Дукаревича в избу.

— Иди туда, — зашипел он, толкая Дукаревича наганом в спину.

Дукаревич распахнул дверь и остановился у порога. На деревянном диване за большим столом, заваленным газетами и бумагами, сидел гладко выбритый человек в очках и быстро писал вечным пером. Перед ним стояла крынка с молоком и недопитый стакан какао. На тарелке золотилась ватрушка и темнели квадратные плитки шоколада. Простой обеденный стол был превращен в письменный. Дукаревич заметил около пресс-папье две рамки с портретами курчавой улыбающейся женщины, вспомнил прекрасную Стефанию и ощутил волнующую грусть. Вероятно, у американца тоже осталась за океаном невеста. А, может быть, эта красавица, похожая на артистку, жена? Дукаревич обладал прекрасным зрением, постоянная работа с марками выработала у него особенную остроту взгляда, он умел находить различие в 78 красных цветах, 57 желтых, 64 зеленых, 68 пурпуровых, 58 синих и 17 оранжевых. Он без затруднения прочел адрес на конвертах и газетной бандероли: везде стояло одно и то же имя — мистеру Хейгу. Итак, значит, перед ним был мистер Хейг. Дукаревич напрягал память, стараясь вспомнить, не приходилось ли ему встречать когда-либо эту фамилию в Америке. Но так и не вспомнил.

Он слегка кашлянул, чтобы привлечь внимание американца. Американец поднял глаза и сказал по-русски:

— Сейчас.

Мистер Хейг торопился докончить письмо, чтобы успеть отправить его с уходившим поездом на восток. Он приехал пять дней назад на фронт, чтобы лично посмотреть боевые операции на Ишиме и сейчас посылал в Америку очередную корреспонденцию. Мистер Хейг у себя на родине был простой репортер, но когда он из'явил желание поехать в Сибирь для работы в Христианском Союзе Молодых Людей, «Чикагская Трибуна» неожиданно предложила ему быть военным корреспондентом. Мистер Хейг согласился. Правда, у него была еще одна цель поездки в Россию, но она не служила препятствием, чтобы принять предложение редакции.

Мистер Хейг привез из Америки полвагона новых заветов для бесплатной раздачи населению и две испорченных кинофильмы. Этим ограничилась его деятельность в Христианском Союзе Молодых Людей. Но «Чикагская Трибуна» аккуратно получала пространные корреспонденции, которые печатались в отделе «Большевики погубили великий народ». Репортер Хейг, находясь в Сибири, тщательно собирал все случаи «зверств» большевиков, регистрировал сожженные храмы, подсчитывал количество изнасилованных девушек, подводил итоги расстрелянных чрезвычайкой «невинных» людей и призывал читателей «Чикагской Трибуны» на защиту уду-

шенной большевиками свободы. Репортер Хейг сумел давать самую свежую информацию о положении в Советской России. Это он дал телеграммы, помещенные во всех газетах мира, что в Туле совдеп поставил памятник Иуде Предателю, а в Воронеже успешно прошла национализация гимназисток. Эти два известия потрясли цивилизованный мир, и на другой день из Калифорнии отправился во Владивосток миноносец, имевший на борту две тысячи горячих волонтеров, готовых умереть за свободу. Большой портрет мистера Хейга был напечатан во многих американских журналах, а на его имя в Сибирь стали пересылаться пожертвования в пользу пострадавших от большевизма. Репортер Хейг был ошеломлен славой и благословлял тот момент, когда у него явилось желание поехать в Россию. Ведь, иначе до самой смерти влачил бы он полуголодное существование, собирая убийства из ревности для уголовной хроники и редкие марки-находки для «Уголка филателиста» в воскресные номера приложений. Шесть лет репортер Хейг проработал в «Чикагской Трибуне», но ни разу редакция не поставила под его заметками фамилию автора. Хейг был в отчаянии и готовился было поставить крест на журналистике и заняться филателией. И свою поездку в Сибирь он задумал, главным образом, для того, чтобы поискать у богатых петроградских и московских беженцев редкие марки. Хейг рассуждал правильно: там, где решается вопрос о жизни и смерти, обычно людям не до марок. Но судьба его в Сибири сложилась иначе: именно здесь он нашел себя как журналист...

Мистер Хейг кончил писать и завинтил вечное перо.

— Я извиняюсь, что вас задержал,— вежливо сказал он, и Дукаревич почувствовал теплоту в груди.

Унтер-офицер подал запечатанный конверт. Мистер Хейг аккуратно вскрыл его специальной машинкой, быстро прочел записку и спросил:

— Вы американский подданный?

— Да.

— У вас есть при себе какие-нибудь документы?

— Нет.

— Простите, но как я могу вас считать в таком случае американским гражданином? — улыбнулся мистер Хейг.

— Я прошу протелеграфировать Питеру Мак-Доуэллу в Нью-Йорк на 9 авеню, 57. Это мой компаньон по филателистической конторе. Я собираю марки для коллекций...

Лицо мистера Хейга оживилось. В глазах промелькнуло любопытство. Он с видимым интересом и сочувствием выслушал подробную историю, рассказанную Дукаревичем, и даже согласился посмотреть собранные марки.

Дукаревич моментально вскрыл резиновые карманы. Тысячи марок расползлись по столу наподобие мыльной пены.

— Хорошо, — сказал Хейг: — я пойду вам навстречу и напишу записку. Марки пусть пока останутся здесь... Вас, разумеется, сейчас выпустят, но мой совет: срочно хлопочите себе документы. Иначе у вас будут неприятности... Мы находимся в такой обстановке, что трудно за что-либо поручиться.

Дукаревич сделал движение к столу, но Хейг успокаивающе поднял палец:

— Не беспокойтесь... Все будет в целости...

— Но мои марки! Я не желаю оставлять их! — вскричал Дукаревич. — Это моя собственность!

Он хотел было кинуться к столу, но мистер Хейг приказал унтер-офицеру:

— Уведите этого человека.

Днем, до обеда, Дукаревича повели к гумну расстреливать вместе с бабой и красноармейцем.

Красноармеец стоял прямо, как в строю, и руки держал по швам. Лицо его было серо-землистого цвета, а тусклые глаза смотрели вниз, на осеннюю желтую траву.

Баба долго мигала и все время норовила опуститься на колени.

Но Дукаревич был ошеломлен неожиданным недоразумением. Он никогда не был шпионом. За что же его сейчас расстреливают?

Филателист видел семь черных точек винтовочных дул, наведенных на него добровольцами из дружины святого креста. Глаза его неожиданно наполнились слезами и точки стали расплываться в

отдельные круги. Филателист вспомнил немой штемпель военной почты — четкий и круглый, как монета, со спиралью вместо цифр и букв. Таким штемпелем гасили марки во время империалистической войны, чтобы сохранить в тайне расположение частей.

— Но, ведь, это подло! — хотел крикнуть Дукаревич, и не успел.

Усатый подпрапорщик с четырьмя георгиями подал команду, и добровольцы в шерстяных английских шинелях дали дружный залп...

Красноармеец лежал, уткнувшис цом в землю.

Баба упала боком и держала руками живот: глаза у нее были большие и пустые, как стеклянные пуговицы; ветер раздувал, словно ковыль, выбившийся из-под платка клок весцветных волос.

Но Дукаревич был еще жив и ползал, цепляясь скрюченными пальцами за жесткую, блеклую траву.

И тогда пожилой псаломщик-ефрейтор, имевший жалостливое сердце, поспешно подбежал, чтобы докончить филателиста из новенькой японской винтовки.

Казакские песни

1. Спор Бай-Батыра с инженерами

Своя политика есть у всякого.
У каждого она неодинакова:
Юноша ведет свою политику,
А девушка — противоположную;
Охотник ведет свою политику,
А белая цапля — противоположную;
Советская власть ведет свою политику,
А Бай-Батыр — вековой кулак — противоположную.

На краю пустыни семь палаток стоят,
Около палаток русские люди сидят.
Чай кипятят, баранину кушают
Русские люди на краю пустыни.
Голос песков русские люди слушают,
Доносящийся из пустыни.

В полдень пески пустыни бывают серыми,
Вечером — синими, ночью — серебряными.
Едет по краю пустыни Бай-Батыр с аткаменерами,
Ищет Бай-Батыр встречи с инженерами.
Ночью, когда пески стали серебряными,
Инженеры выходят из палаток и говорят: — «Здравствуйте!
Расскажите нам, в каком вы колхозе участвуете.
Здоров ли скот и души ваши?»
Бай-Батыр отвечает:—«Здоровы ли души ваши?
Ускакали в пустыню лошади наши,
Вы их не видели, инженеры?»
«Нет, лошадей мы не заметили,
Целый день мы шли, ни одной не встретили,
Мы железный путь через пустыню ведем,
Мы железным шагом до Туркестана дойдем.
Из холодной Сибири мы в Туркестан идем
По предписанью правительства! —
Так отвечает самый главный инженер
Бай-Батыру с его аткаменерами.

А сейчас мы отдыхаем, отдохните с нами и вы,
Пьем мы чай с леденцами, пейте с нами и вы,
Мы беседуем, побеседуйте с нами и вы,
А потом покажу я вам одну трубу из Москвы.
Покажу вам луну через трубу из Москвы.
Это зрелище полезное и поучительное
Посмотреть на луну через трубу увеличительную
И увидеть на луне горы и пропасти
Вроде тех, что в горах Арганатау».

Пески пустыни в полдень бывают серыми,
Вечером - - синими, ночью — серебряными.
На песчаный бархан за инженерами
Поднимается Бай-Батыр с аткаменерами.
Труба из Москвы на трех ногах металлических
Установлена, чтобы видеть лунные пропасти.
Закричал Бай - Батыр: — «Прекрасны лунные пропасти!
Но не будем времени тратить на лунные пропасти попусту.
Мы знаем наверное, — все же не дети мы, —
Русские землю мерят московскими трубами этими.
Русским — земля, а казакам — луна!»
Отвечает ему один инженер, самый ученый,
Злою речью Батыра опечаленный и огорченный:
— «Русским земля? А казакам то, что на ней родится!

Русским земля? А казакам рис и пшеница!
Русским хлопок? А казакам из этого хлопка ткани!
О каком же обмане говорит человек озлобленно?
Железная дорога пройдет через Казакстан, —
Советская власть приедет на паровозах,
Будет легче раскрыть кулацкий обман,
Будут в колхозах все трудящиеся!»

Собственная политика есть у всякого,
И у каждого она не одинакова.
Советская власть ведет свою политику,
А Бай-Батыр — противоположную.
Бай-Батыр не попрощался с инженерами,
Уехал Бай-Батыр с аткаменерами.
И пески его взору помраченному
Показались серебряной лунной пропастью.

Понял Бай-Батыр, что власть его и могущество
Скоро провалятся в далекие лунные пропасти,
В далекие бездонные лунные пропасти,
Отделяющие прошлое от настоящего.
В лунные пропасти провалятся власть и могущество,
Но на земле останутся скот и имущество.
Будет имущество кулака Бай-Батыра
Властью поделено между трудящимися!

Леонид Мартынов

2. Песня о химике, почти волшебнике

Сарычев — химик, почти волшебник,
В желтую дверь Отрау
Стучал загорелой рукой:
— Открой свои двери, пустыня,
Открой свои двери, Отрау!
Я Сарычев—химик, почти волшебник,
Вот кто я такой!

Открыла пески пустыня,
Солончаки затвердели, —
И Сарычев шел не проваливаясь
И верблюд его шел не проваливаясь.
«Благодарю, пустыня,
За то, что пропустила!»
— Зачем ты пришел, Сарычев?
— Затем, чтобы делать мыло.

Где гриву свою рыжую
Купает пустыня
В море, называемом Денгиз или Балх-Аш,
Поселился Сарычев —
Химик, почти волшебник,
Друг любезный наш.

Он рыбу ловил
И жег саксаул.
Из рыбьего жира
И золы
Он мыло варил,
Чтобы каждый аул мылся,
И город Каркаралы.

Были грязными люди даже в Каркаралы,
Чумазыми были казаки и русские люди.
Зимою, когда застыл Балх-Аш,
Сарычев мыло развез на верблюде.

Эй, Сарычев, ты шел не проваливаясь
И верблюд твой шел не проваливаясь,
Ты советовал мылом красавиц мыть,
Прежде чем их полюбить.
Хорошо ты советовал, Сарычев!
Мыло полезно для глаз, если глаза
Гнойная застилает слеза —
Мыло трахому смыло.
Сарычев — химик, почти волшебник,
Вся степь о нем говорила:

Великий он человек, слава ему, слава!
Ему открыла желтую дверь
Сама пустыня Отрау!
И когда нам теперь посылает Москва
Много всякого мыла,
Вспоминаем Сарычева — он мыло варил,
Когда Москва не варила.

Сарычев шел не проваливаясь
И верблюд его шел не проваливаясь.
Летом, зимой ходил Сарычев,
Химик, волшебник Сарычев!

Леонид Мартынов

3. Насыр джаным

Насыр, Насыр джаным,
Солнце за курганом,
За курганом три орла,
Ковыли, песок и мгла.

Насыр, Насыр джаным,
Будешь гостем званым,
За рекою пулемет
Раскрывает тонкий рот.

Насыр, Насыр джаным,
Скачет полем бранным
Желтоплечий эсаул,
Хочет сжечь аул.

Насыр, Насыр джаным,
Поскачи с арканом.
Ты, ползучий пулемет,
Закрывай змеиный рот.

Сергей Марков

Записки Мосолова

А. Толстой и П. Сухотин

(Продолжение)

Для меня не было сомнения: случилось очередное очищение Омской тюрьмы. Еще при Директории в октябре Красильникову и Волкову дано было задание ликвидировать излишки политических заключенных. В Омскую тюрьму и, по тому же плану, в Тобольскую, Екатеринбургскую, Челябинскую, Семипалатинскую, Новониколаевскую, Томскую, Мариинскую, Красноярскую и Иркутскую тюрьмы подсаживались провокаторы и поднимали бунт. Энергией местных начальников быстро ликвидировали бунты и участников. Очищался воздух от красной заразы и освобождались места в тюрьмах.

Но на этот раз инициатива, кажется, принадлежала не атаману. Восстали три роты омского гарнизона, разобрали оружие, кинулись к тюрьме, разбили ворота, обезоружили караул в тридцать пять человек, связали офицера и раскрыли камеры, где сидели комиссар Михельсон, несколько десятков большевиков и сотни две красногвардейцев. Но дальше, повидимому, уже начинается провокация. Во всяком случае не было ни дальнейшего плана восстания, ни дисциплины, ни порядка. Солдаты вместе с заключенными двинулись в направлении за Иртыш, на Куломзино. По дороге часть заключенных разбежалась по городу, но группа большевиков перешла Иртыш и соединилась с местным рабочим населением. Не было ни оружия, ни командования. Сотни Красильникова рванулись за реку, и началась расправа.

Ночь. Из-за Иртыша залпы и торопливые стуки пулемета. Изредка бухают пушки, — это полковник Уорд защищает от рабочих железнодорожный мост через Иртыш.

Адмирал не отпускает меня ни на минуту... Анархическое желание вогнать ему всю обойму в голову... Слишком много чести, — жалкий, маленький человек и лгун, лгун-актер... Он не спит вторую ночь и, уже не стесняясь меня, —только отходит за раскрытую дверцу книжного шкапа, — всаживает себе в ляжку шприц с морфием...

Чехо-словаки держат нейтралитет, и Жанен с ними вместе. У адмирала дрожит подбородок, когда он говорит с Жаненом по телефону, но, ничего не сделаешь, говорит вежливо. Зато Уорд герой дня. Его пушки спасают столицу новой империи. Город на военном положении, с шести часов ни души на улицах, приказано почему-то даже завешивать окна. Тьма, вздрагивают иногда стекла. Адмирал ходит по кабинету. Только что всадил шприц, глаза блестят. Говорит:

— Обманутые, одураченные люди... Виноваты они? Нет, они не виноваты. Сатанинская гримаса истории. (Поднял палец, — дрогнули стекла от пушечного выстрела.) Выстрел, направленный в грудь Ленину, попадает в одураченного им железнодорожного рабочего. Быть может, я страдаю больше всех в эту ночь. Да, Мосолов, это бремя власти... Они говорят о классовой борьбе... Какой еврейский вздор! Есть Россия, наша родина и человеческие уровни, подымающиеся, опускающиеся, как морские волны... И есть любовь, да, любовь...

Для какого чорта он нес всю эту чушь, не могу понять до сих пор. Он был неглупым человеком. Только на третьи сутки он отпустил меня домой. В городе все кончено. Тишь и гладь, божья благодать. А кроме того выяснилось (неофициально, конечно), что красильниковским отрядом было расстреляно, повешено и утоплено в Иртыше более пятисот человек рабочих и бежавших из тюрьмы красногвардейцев. На берегу Иртыша зарублены шашками, застрелены и зарыты в сугробы девять членов учредительного собрания и несколько десятков (взятых из тюрьмы и выловленных из города). Эти-то попали, как кур во щи, — в свое время они больше всех старались спихнуть советскую власть и сами же вырастили сибирских атаманов, генералов и самого Колчака.

Закржевский не без литературного дарования. Он затесался в отряд Красильникова и ночью в атаманском штабе (в Куломзине за Иртышом) записал сценку столь отвратительную, что привожу ее целиком...

«Изба. Огонь в лампе вздрагивает от выстрелов за окошком. Но, кажется, все уже кончено со сволочью. На столе четверти со спиртом, огурцы, остывшие пельмени. Все пьяны и устали адски. Генерал Шерстобитов читает Надсона, — он не расстается с этой книгой. Герке кончает писать протокол. Атаман валяется на постели. Рядом в кухне пьяные казаки. У стены стоит железнодорожник. Руки связаны за спиной. Явный большевик. Надоело допрашивать, о нем как-то забыли. Картина чрезвычайно сочная. Шерстобитов читает:

Тихо замер последний аккорд над толпой,
С плачем в землю твой гроб опустили.

За окном залп, — кончаем с последними. Атаман ржет.

— Вот это так аккорд!

Железнодорожник говорит тихо:

— Атаман, отпусти мою дочь.

Атаман скрипит пружинами:

— Ты говори со мной по душам. Я человек простой, русский... Ты мне душу переверни... Говори мне: Григорий Александрович, отпусти мое родное единственное дитя.

— Дочь не виновата, она не знала, что я здесь скрываюсь.

Начштаба Герке читает по протоколу:

— Допрошенный в числе прочих бунтовщик Иван Лутошин показал... Это ты Иван Лутошин?.. Показал, что он и дочь его Антонида двадцати двух лет, девица, учительница, состояли в партии большевиков.

— Я этого не показывал, — торопливо говорит Лутошин, — я один.

Генерал Шерстобитов с досады, что его прерывают, произносит громовым голосом:

Спи спокойно, моя дорогая.
Только в смерти желанный покой,
Только в смерти ресница густая
Не блестит безнадежной слезой.

К Лутошину:

— Чьи стихи? (Потрясает книгой.) Революцию делаешь, а национальных гениев не знаешь... Шомполов! (Но от резкого движения валится вместе с книгой со стула.)

Атаман хохочет. Герке, не обращая внимания, пишет. Генерал Шерстобитов встает на четвереньки, отыскивает книгу и опять усаживается. Лутошин тихо, настойчиво:

— Атаман, отпусти дочь.

— Так дочь, значит, невинна? — спрашивает атаман (Герке фыркает в бумагу).— Хорррошо, проверим... Генерал Шерстобитов, это ты у нее под подолом нашел большевистские прокламации, или после тебя казачки напали на эту находку?

— Какие прокламации? — (Шерстобитов не понимает юмора). — Я нашел непорочность и поступил с ней по закону военного времени.

— Гадина! — кричит Лутошин, — кат, палач!

Мы все смотрим на него с удивлением. Красильников приподымается:

— С тобой интеллигентно разговаривают. Хам, другого захотел! — (Всовывает в рот два пальца и свистит так, что трещат перепонки): — Казаки! — (Появляются два казака.) — Поддай ему свежего воздуха!

Лутошина утаскивают в кухню, — работают шомпола. Все, как полагается. Атаман, видимо, рассчитал: когда начнут шомполовать отца — заговорит учи-

тельница. Но она продолжает валяться у стены, не приходя в сознание. Все это, в конце-концов, однообразно и довольно скучно. Острота положений приелась. Лутошин в кухне мычит. Мы выпиваем спирту под огурцы. Шерстобитов опять декламирует. Входят полковник Волков и поручик Дурново. Они из города и сообщают новости:

— Уорд повесил на мосту трех большевиков... Демократ, демократ, а начинает привыкать к нашей обстановке... Тюрьму очистили на ять... По этому случаю в городе среди либеральных гадов паника: кто-то помечает парадные двери мелом, тремя крестами... Купечество выставило в окнах иконы. Но чехо-словаки — вот сволочи — опять начинают гугнить о революционных свободах... Награбили золота, напились, как клопы, и, видите ли, им еще нужна в России демократическая республика... Пора осадить.

Опять пьем спирт. Волков спрашивает:

— А у вас как дела? Сколько в расходе?

Герке, переворачивая ведомость:

— Расстреляно пятьсот тридцать один.

— Здорово!

— А, по-моему, немного, — хохочет атаман, — даже на хороший бой не хватит.

Казаки опять втаскивают Лутошина. Выкатив глаза, налитые кровью, он хрипит:

— Я прошу меня расстрелять.

— Барон Герке, — говорит атаман, повалившись на кровать, — агитатор Лутошин Иван?

Герке:

— В списке есть.

— Как помечен?

— Повесить.

— Повесить? — Атаман зевает и трет ладонью лицо. — Ничего не могу поделать, голубчик. Как же я могу тебя расстрелять, когда в протоколе постановлено повесить... Казаки-и, уведите товарища налево.

Звонит телефон. Герке берет трубку и сейчас же почтительно приподнимается, — говорит верховный правитель... Долго слушает... Звякнув шпорами, кладет трубку:

— Неприятность, господа... Генерал Стефанек от имени национального комитета чехо-словаков пред'явил Колчаку ультиматум о неприкосновенности бежавших из тюрьмы членов учредительного собрания, всех эсеров и меньшевиков.

— Ах, так! — атаман, как бешеный, срывается с постели. — Ну, это мы еще посмотрим! Есаул, дать казакам по чарке, седлать коней! Господа офицеры, одевайсь!.. Комендант Волков, приказываю, чтобы ни одного дома, ни одной щели не оставить, все обшарить... Чтоб завтра к утру в Омске было чисто... Ультиматума генерала Стефанека я не получал... Запомнили?

Атаман несомненно очень не глупый, решительный и боевой человек. В здешних условиях он пойдет далеко. Он добровольно взял на себя роль Малюты Скуратова, — только русские либералишки могут оплевывать такую высокотрагическую фигуру. При атамане верховный правитель может не надевать перчаток, — руки будет пачкать Красильников.

Я свалился в брюшном тифу. Должно быть это началось еще в дни расстрелов. Последнее, что отчетливо вспоминаю,— это телеграммы (то есть копии, переданные верховному правителю) в Париж и Лондон от французского и английского представительств в Омске о том, что счастливо ликвидирован большевистский бунт, правительство адмирала Колчака пользуется самым широким доверием всего населения и должно быть признано в качестве центрального российского правительства... Затем, отрывками вспоминаю пельмени у Холодных и ночную поездку за Иртыш... Очевидно, в то время я уже плохо владел мыслями. Почему-то придавал необыкновенное значение этой поездке за Иртыш на постоялый двор (знаменитый блинами и квасом). Я знал, — дом был разбит артиллерией, но поблизости на огороженной пустоши находилось то, что мне в бреду настоятельно хотелось показать Жанену и Уорду.

Болит голова, омерзительный медный вкус, знобит. Заехал к адмиралу про-

сить отлучиться на вечер. Вышла Темирова. Адмирал лежит, — жар, ломит грудь. У Анны Федоровны под глазами тени, лицо осунувшееся. В руке письмо (на конверте почерк Жанена). Она говорит мне:

— Голубчик, боюсь за его сердце, боюсь... Он столько перестрадал эти дни... Посоветуйте, что мне делать (показывает конверт)... Опять Жанен, — третье письмо... Александр Васильевич так бывает взволнован его письмами... Жанен пишет каким-то совершенно недопустимым тоном... Как приказчику... И все одна тема: на юг, на юг, — Александру Васильевичу не нужен Донецкий бассейн, Кавказ, Черное море... Нам ничего этого не нужно... (Расширила глаза, и шея у нее раздулась зобом.) Он — царь севера... Это всем нужно понять.

Я поехал к Холодных. Прием гостей наверху в чистой половине, которую отапливают только по высоко торжественным дням. В обычное время Савватий Мироныч помещается в грязной комнатешке в полуподвальном этаже, а время проводит в невероятно грязной кухне, где толпится с утра до вечера разный деловой народ — купчишки, прасолы, ямщики, приказчики, мукомолы, рабочие. Здесь на непокрытом столе весь день кипит четырехведерный самовар и делаются дела. Здесь же Савватий Мироныч и обедает, садясь за стол сам тридцать. Когда бывают вспрыски, водку ставят в ведрах или наливают в супницы, крошат туда черный хлеб и хлебают деревянными ложками.

Но сегодня отперто парадное, на лестнице красный ковер. Я опоздал, гости уже за столом. Савватий Мироныч расшибся, — завалил стол живыми цветами, рыбами, закусками. Пельмени были только предлогом, к ним никто и не притронулся. Французское шампанское, — неограниченная подача, хотя сам он пил только водку, выплескивая лафитные рюмки в широко разинутый рот, чем приводил иностранцев в изумление.

Повторяю, все это я видел тогда сквозь туман. Было шумно, Имен и Магдалина хохотали, как и полагается. Запомнились рассуждения полковника Уорда (вначале ужина он еще держался с большим достоинством):

— ...Да, господа, я представитель организованных рабочих Англии. Я трэдюнионист. И с гордостью заявляю, — мы ведем рабочие массы мимо революции к счастью. Да, господа, к счастью. Английский рабочий почти уже не чувствует пропасти, отделяющей его от буржуа... Но ваша революция, господа, не может радовать английское сердце. Большевики это прежде всего профессиональные обманщики, жонглирующие великими идеями. Это, — прошу прощения, — разбойники, вооруженные новейшим оружием. Они строят личное благополучие на обмане нищих, невежественных и политически неразвитых рабочих масс. И вы увидите,—так долго не сможет продолжаться. Ни одна война не наделала столько непоправимых разрушений, как русская революция... Мы, англичане, удивляемся да, да, удивляемся, и относим это к глубочайшей пассивности русских... Мне бы не следовало говорить, но я среди друзей,—господа, только широкий прилив английского капитала в вашу несчастную страну может спасти ее от окончательной гибели...

Морозный воздух меня освежил. Сижу в санях Уорда. Жанен и Магдалина — на передней тройке, Холодных с Имен за ними. Ночь мглистая, лунная... Ямщики пьяные, тройки мчатся, как бешеные. Уорд, размахивая руками, произносит речи о счастьи английских рабочих, но все время следит за передними санями. Сзади доносится визг Имен. Мимо летят заваленные снегом домишки, длинные полосы заборов, по мосту беззвучно дребезжат телеграфные столбы. Спускаемся за Иртыш. Ямщик, обернув заиндевелую бороду:

— Давеча, — указывает кнутовищем на дальний берег, — вон где лесок-та собаки из сугроба человека вытащили, весь в кровище, изрубленный, да и бросили на дороге...

Передняя тройка выносится на берег и останавливается у разбитого постоялого двора. Мы догоняем, Уорд выскакивает, спешит к Магдалине. Невдалеке, через недавно поставленный забор (это место куплено Савватием Мироны-

чем под мукомольную мельницу), вижу — перелезают, будто спасаясь от нас, какие-то люди.

Собираю все силы, вылезаю из саней. Желание — лечь раскаленным лицом в снег, как лежат те по ту сторону забора, на пустыре. Трактир разбит, вывеска сорвана. Магдалина сидит на крыльце, мечтательно смотрит на месяц. Уорд и Жанен обмениваются колкостями, что-то вроде:

— Простите, я не знал, что в обязанности главнокомандующего входит — вытряхивать снег из ботиков моего секретаря...

— Вы называете это — обязанностью, я нахожу это счастьем, я сожалею, что вам это не приходило в голову...

И так далее в том же роде... Два петуха топорщатся из-за женщины. У Жанена лицо измазано губной помадой, Уорд злобно острит по поводу этого, Магдалина закрывается муфтой. Подходят Холодных и Имен, — хохочет, ее всю облили шампанским... Колотит в дверь трактира, заглядывает в окошки, — «Господа, честное слово — там кто-то висит»... тогда все — хором (Уорд хлопает в ладоши) — «Блинов, блинов!..»

Меня мутит... Острый — едва сдерживаюсь — прилив ненависти. Но глаза все время застилает и — провалы в памяти... Наклоняюсь к Магдалине:

— Договор нарушен...

Она торопливо в муфту:

— Я чуть не на коленях умоляла Уорда не связываться с Красильниковым... Но он опять заговорил о чести мундира, о британской точке зрения, о преобладании английского оружия над французским... В конце концов его выступление на мосту было очень невинное, всего — несколько выстрелов из пушки...

— Я сейчас покажу — какое оно было невинное!

Бешено лезу через сугробы к забору, хватаюсь за доску, отдираю, — не поддается...

— Эй, миленок... (Холодных озабочен)... Чего ты раззоряешь? Забор-то ведь мой...

Хохот. Все кидаются мне помогать. Гвозди с визгом вылезают, широкая доска отдирается. Я кричу:

— Глядите, господа, чудный вид на Омск...

Шагах в десяти от забора навалены кучами человеческие трупы (раздеты до нитки, — одежный и бельевой кризис)... Кучи — по всему пустырю, и под горой — огни Омска...

Имен шопотом:

— Что это такое?..

Поняла, шатается, садится в снег. Холодных сердито сопит, — ему загадили пустырь. Жанен говорит спокойно:

— Трупы расстрелянных Красильниковым и полковником Уордом...

Молчание, и, затем то, чего я и ждал: со стороны трактира и из щелей забора по нас револьверные выстрелы... Или это шум в ушах, шум в мозгу заглушает их, — но выстрелы слабые, редкие, всего пять-шесть...

Женщины взвизгивают. Жанен кричит:

— Мы в засаде...

Уорд:

— К саням!

Бегут... Магдалина бежит, как слепая, трясет руками... Жанен подхватывает ее. Холодных в распахнутой дохе впереди всех несется по сугробам. Из-за угла трактира вспышки, выстрелы. Уорд вытаскивает наконец оружие, выпускает всю обойму...

Провал в памяти... Кажется, я «рысцой» побежал за ними, засунув (нарочно) руки в карманы... может быть — я только хотел так, но не успел... Папаху сорвало пулей... Ко мне подбегали Петр, Ваня и еще третий (незнакомый). Ваня стреляет в упор (осечка):

— С белой сволочью связался!

Петр с силой отталкивает его:

— Подожди, не твоего ума дело... (И мне)... Ну, благодари уж не знаю кого... Не признали... Смотри, Мстислав Юрьевич, себя перехитришь.

Вытянув шеи, раздув ноздри, глядят на меня, как волки, все трое...

— Не веришь, стреляй, какого чорта, — говорю... Будь я на их месте — тоже бы не поверил в двойную игру адмиральского адъютанта, прикатившего на тройках с пьяными иностранцами на пустырь, куда по ночам прокрадывались люди опознавать трупы... И, хотя давеча я и послал записочку Петру Лутощину, до конца верить он не мог... Если они

не пристрелили меня тут же у забора, то только потому, что окончательно им было трудно и безвыходно, если можно было поверить мне на ничтожную долю, — стиснув зубы — поверили... Петр сказал:

— Ну, ладно, вертайся к своим... Отчета спрашивать пока не будем... Ты еще нам пригодишься...

Не помню — как вернулся в сани к Уорду... (Он меня поджидал, остальные тройки умчались)... Кажется об'яснил ему, что получил контузию, а те сочли меня убитым... Залез под полость, но ни шкура, ни полушубок не грели, точно я был голый на морозе... Озноб, и затем — провал окончательный в сознании и в памяти...

Весна 1919 года...

...Полгода жизни вычеркнуто, — сыпняк, потом возвратный... Госпиталь, сотни людей — в палатах, в коридорах, на полу, без подстилки, вперемежку с мертвыми. Хруст вшей под подошвами... Кто этого не видел в то время!.. У меня, как адмиральского ад'ютанта — койка, те, кто валяется на полу, с бредовым нетерпением ждут, когда умру, чтобы занять ее. Кажется, одно время я был в отдельной палате (там за койку платят по десяти тысяч), но, видимо, сочли что безнадежен, — перевели в общую. Отрывками вспоминаю весь этот ад бреда, бормотанья, мечущиеся воспаленные лица, хрипы умирающих. Иные в припадке безумия, вскочив, скрипя зубами, глядят на проносящиеся ужасы, бредят чорт знает чем. Немногие выкарабкиваются из кровавой каши бредовых видений... Глубоко уверен, что эти-то видения и останавливают сердце.

Когда выяснилось, что я умирать не собираюсь, опять перевели в отдельную палату, там меня свалил возвратный. Было уже начало мая, — ветра, дожди, солнце сквозь тучи, запоздавшая зелень, грачи на липах в больничном саду и молодое (давно забытое) желание жить... И вот наконец схожу с крыльца на зеленый двор, пошатываюсь; в мураве — тропинка в жизнь, острый воздух, весенний солнцепек... Хорошо вернуться!

За воротами ждет извозчик. Сажусь, говорю адрес. Пересекаем немощенную площадь. Извозчик — в полоборота ко мне — говорит негромко:

— Многое без вас тут случилось, Мстислав Юрьевич...

Едва не вскрикиваю: Ваня Лутошин! — похудел, возмужал, и глаз не детский...

— Карловича помните, Мстислав Юрьевич?

— Ну как же. А что с ним?..

— Выдал организацию. После томской партийной конференции выдал товарищей Вавилова, Рабиновича, Александра и Лизу... (Задергал возжами). Чехи расстреляли.

— Как чехи расстреляли?..

— А вот так... (шмыгнул носом, помолчал)... Вчера в комитете говорил о вас. Постановили, чтобы я работал с вами в контакте.

— Значит, я наконец в партии?

— Нет. Этого, сказали, нельзя, — подождем.

— Все еще не верят?

— Ну а как же... Сами посудите...

...Оказывается, в день поездки за Иртыш, предчувствуя, вероятно, что свалюсь, я просил Магдалину вести дневник. Сейчас ее записки передо мной. Помимо дамской чепухи и тщеславных мелочей, в них много любопытного. Во-первых, сама Магдалина оказалась далеко не такая уж рафинированная дамочка, надломленный цветок. (В семнадцатом году при Керенском командовала женской ротой, но кажется недолго.) Тотчас после Октябрьского переворота уехала в Сибирь — с намерением пробраться в Америку, из-за безденежья застряла во Владивостоке, где сошлась с Франком. Видимо, вначале намерения у нее были скромные — сколотить коекакую валюту для заграничной поездки. Омские события ударили ей в голову (Магдалина женщина с фантазиями), и представилось — почему бы не разыграть историческую роль на такой мировой сцене, как двор адмирала. За шесть месяцев она сделала крупные политические успехи. У нее уже был влиятельный салон, она вмешивалась в междусоюзнические трения (держалась английской ориентации) и недавно начала издавать еженедельный журнал «Рус-

ская армия». Журналом очень интересовался Колчак, в редакции сидели генералы и полковники генерального штаба, но составлялся он в салоне Магдалины Франк.

Дневник вела вначале для меня, затем, повидимому, для истории. В нем отмечены — прибытия иностранных войск, банкеты, благотворительные базары, речи адмирала, недоразумения между англичанами и французами. Эти ссоры причиняют адмиралу много хлопот, так как он не всегда ясно представляет себе задачи и противоречия союзников. Официально союзники дают средства и солдат из-за горячей любви к России и сердечного желания восстановить ее величие. Удивительно, что адмирал этому верит, еще немного, — и поверит в любовь народа. Из Парижа, Лондона и Вашингтона получаются на имя Колчака сочувственные телеграммы, но все же окончательное признание верховного правителя всея России почему-то затягивается. Это создает некоторую нервность... Проскользнул даже подпольный слух, будто у Ллойд-Джорджа явилась идея помирить большевиков с белыми и будто бы большевики идут на перемирие, даже указывали место мирной конференции — на Принцевых островах, но в Омске слух замяли.

Магдалина записывает: «Уорд сказал, — конференция уже по тому невозможна, что с большевиками придется здороваться и посадить их за стол, — в одном этом уже какой-то намек на признание». Адмирал отказывается верить слухам. Зато из России хорошие известия — Ревель и Рига очищены от красных, генерал фон-дер-Гольц формирует добровольческую армию против Петербурга. Германское правительство (Шейдеман и Носке) снабжают его деньгами и оружием. В Пскове появился легендарный народный герой Булак Булакович,— новый князь Пожарский... Говорят, Петроград давно бы уже пал, если бы финны, эстонцы и латыши не пред'являли наглых требований о самостоятельности. Адмирал на-днях сказал: «Ни вершка земли чухонцам. Лифляндия, Эстляндия и Курляндия исконные русские вотчины. Что касается Финляндии, — этот нарыв вскроет будущее. Генерал Маннергейм был и будет офицером русской службы. Он такой же финн, как я. Провозглащая независимость Финляндии, он совершает акт государственного преступления, караемого военно-полевым судом. За очищение Финляндии от красных я пошлю ему офицерский георгиевский крест. За предательство я его расстреляю».

Дальше опять мелочь... Колчак едет на фронт, генерал Нокс посылает адмиралу личную охрану — пятьдесят английских стрелков. Французская миссия спохватывается и требует, чтобы охрана была из англичан и французов поровну. После целого дня переговоров англичане соглашаются. Но, оказывается, в Омске французских солдат нашлось всего девять душ, и те занимаются не военным ремеслом. Поезд правителя под парами. Перед салон-вагоном два взвода рослых, рыжих, великолепно одетых шотландцев. Французов еще нет. Адмирал нервничает в парадных комнатах вокзала, ломает спички: «Господа, я еду». Когда он поднимается на площадку вагона, свита раздается и пропускает красного, сердитого, маленького французского офицера (граф де-Мерси). Он встает впереди английского караула, спиной к генералу Ноксу и, надутый, с торчащими усами, очень небрежно подносит руку к козырьку. Рассказывают, когда поезд тронулся, адмирал разорвал в клочки замшевую перчатку...

...Сегодня меня удивил Уорд. Мы работали в его кабинете, я за машинкой, он ходил по ковру и диктовал воззвание (от имени английских союзных войск) к уральским рабочим. Воззвание составлено в очень либеральном тоне, но, по-моему, несколько наивно, хотя в этом есть своеобразная прелесть. Остановившись, почесал переносицу:

— Вы знаете, Магдалина, это факт: великий князь Дмитрий Павлович скрывается в Сибири под видом крестьянина... (Взглянув на меня с мальчишеской смущенной улыбкой.) ...Клянусь вам, я безумно боюсь монархического переворота...

Я рассмеялась, и он, схватившись за нос, затрясся от смеха...

...Вчера ночью в помещение офицеров первого Сибирского полка забрались

три большевика, вооруженные наганами. Оказывается, ошиблись помещением и вместо солдат попали к офицерам. По счастью, никто не спал, и большевиков приняли как нужно — один убит на месте, другому скрутили руки, третий выбил окошко и убежал. Захваченного шомполовали, и он сознался. Ходят слухи о волнениях во Владивостоке, будто стоящие там канадские войска потребовали созыва солдатского комитета, их не то усмирили, не то сменили. В общем много слухов, много тревог, но меня волнует такая жизнь. Я начинаю мириться с грязью Омска и нашим обществом. Великие эпохи неопрятны, и кто хочет пройти их на цыпочках, всегда поскользнется...

...Опять банкет, на этот раз в честь прибывшего из Парижа мосье Арну, представителя горнопромышленных предприятий. Конечно, Савватий Миронович (во фраке и трезвый) подносит адрес от сибирских промышленников. Речи — о кузнецком угле, о золоте на Алдане, о неисчерпаемых сибирских богатствах. Арну слушает очень серьезно, благодарит и восторгается, а на самом деле знает о Сибири в сто раз больше наших. Ему лет сорок, — великолепный законченный тип волевого, жестокого мужчины... Ах, много, много еще неизведанного!..

...Сегодня Уорд вызвал к себе. Я поехала с твердым намерением поговорить об изменении наших деловых отношений. Сидеть за машинкой становится скучным. Я уже чувствую, — этим начинаю себя снижать. Звание секретаря нужно переменить на «консультанта по русским делам». Я вошла, сухо поздоровалась, не снимая шляпки села в кресло у письменного стола. Он внимательно, вопросительно взглянул:

— Вы сегодня не в духе, Магдалина? Простите, что я вас так экстренно вызвал, но вы мне нужны. (Торопливо вынул из письменного стола грязный клочок бумажки, сел против меня.) Сначала, — что такое с вами?

— Уорд, я хочу это кончить.

— Что кончить, Магдалина? — бумажка задрожала в руке, поднял рыжие брови и глядит голубыми, ни в чем не виноватыми, простодушными глазами. Не хватило суровости, и я изложила мою точку зрения в очень мягкой форме.

Поджав губы, он долго думал:

— Мистрис Франк, я сделаю все, что вы пожелаете... Вы позволите мне закурить?

Отойдя к окну, долго возился с трубкой, раскурил, надымил и затем с прежней дружественностью, весело:

— Я очень хотел, чтобы вы перевели мне вот это (помахал листочком). Для моего альбома курьезов. Ценнейший автограф. Дело было так. Вчера в двенадцать ночи мне звонит комендант Волков, — «приезжайте в тюрьму». Я понял в чем дело и сразу поехал. Меня поджидали. Как только я вошел, Волков приказал ввести преступника, — чуть ли не московского комиссара. Да, да, да. Не Ленин, но кто-то из них... Очень редкая птица. Невзрачный, плохо одетый, общее впечатление — фабричный рабочий, каких много... Руки связаны за спиной, голова опущена, волчий взгляд. Тот самый, кого схватили в казарме. Волков прочел ему протокол допроса и приговор. Комиссар стоял так, будто чтение его не касалось. Я просил Волкова задать преступнику вопрос. Я спросил: «Что побудило вас к поступкам, которые, как вам конечно известно, признаны всем цивилизованным миром антигосударственными, антиморальными и уголовно преступными? Неужели, — я сказал ему,— вы настолько самонадеянны, что мнение всего культурного человечества для вас ровно ничего не стоит. Кроме того, если бы ошибка касалась одной вашей судьбы, я могу еще примириться с такой точкой зрения, — каждый сходит с ума по-своему, — но вы втягиваете в круг преступлений целый народ... Вы посягаете на судьбы совершенно вам чужих и вас никаким образом не касающихся наций... (Тут, сознаюсь, я повысил голос.) ...Представляете — какой груз преступлений вы взваливаете на свою совесть?!.» Знаете — что он мне ответил, Магдалина?.. Ни-че-го. Он даже и не взглянул в мою сторону. Его повели во двор, и мы вышли вслед. Он шел, низко уронив голову. Любопытная подробность: связанные за спиной руки

не переставая торопливо перебирали пальцами... Виселица очень примитивная, просто перекладина, концом упертая в стену, другим концом приколоченная к телефонному столбу. Служители накинули на комиссара мешок и заставили встать на табуретку. Я ожидал, что он крикнет что-нибудь вроде: «Да здравствует революция!»... Но он так нас всех презирал, что повис на веревке молча... Но вот что замечательно интересно, — перед казнью у него нашли эту записку:

«Товарищи! Я умираю на заре новой жизни, не изведав плодов рук своих. Но не для себя я работал, как мог и как умел. Мир обновится, — я знаю, я твердо верю, ибо старый строй рушится, обломками убивая нас, но нас много: все новые и новые силы идут под красное знамя, и они непобедимы. А как хочется жить, как хочется знать, верить и трудиться за идеалы человечества! Но судьбе было угодно бросить жребий на меня, и я пойду на смерть с верой в жизнь, завещая оставшимся не месть, а борьбу. Прощайте, товарищи. Не отчаивайтесь, если волна революции уменьшится. Верьте, снова поднимется ветер. Будьте всегда сильны духом. Мы всегда с вами. Да живет мировая революция!»[1]

...Видимо, кое-какие слухи о безобразиях атаманов — Красильникова, Калмыкова, Анненкова, Семенова и других дошли до Парижа. Оттуда погрозили. В Омске всполошились. Правитель кричал в совете министров о моральной грязи, о попрании прав человека и гражданина. Из тюрьмы выпустили дюжину меньшевиков, членов городской думы. Красильников с казаками выехал за три станции от города. Интеллигенты (и в салоне Магдалины Франк) заговорили о весне. В газетах появились чуть-чуть подмигивающие стишки, создающие приятное впечатление свежего воздуха. Один петроградский литератор из бывших декадентов взялся за перо и начал печатать в журнале «Русская армия» очень живые сценки под общим названием «Беседа белогвардейца с красногвардейцем». (Одна из сценок, отпечатанная листовкой, приложена к дневнику.)

Белый. Слепые вы там, в вашей Совдепии, или очумели на самом деле?

Красный. А чаво?

Белый. А то, что все вы там насквозь сумасшедшие.

Красный. Какие такие сумасшедшие?

Белый. Такие, что хлопаете глазищами да видеть не видите, в чем заключается ужас вашего положения.

Красный. Какие ужасти?

Белый. Оглянись, да посмотри хорошенько кругом. Что стало с Россией, нашей общей родиной?

Красный. Расея нонеча хведеративная режпублика. Энту самую решпублику... режпублику-то...

Белый. Эх ты, Гамаля-Гамаля! Скоро два года, как вы «режете публику», и все еще этой кровавой бойне конца-краю не видно.

Красный. Что ж: я пролетарий... лозунгами.

Белый. Скажи, есть у тебя жена?

Красный. А как же: Маланьей зовут.

Белый. Прекрасно. Вот эту самую жену то, Маланью твою, вдруг комиссарам вздумалось социализировать, то есть сделать ее общей женой всех мужчин, так, чтобы ее ласками, кроме тебя, могли пользоваться и комиссары, и китайцы, и евреи с латышами. Ну что, брат, ты скажешь на это? Как поступил бы ты, если около жены твоей увидел грязного гнилозубого китайца с косищей?

Красный. М-мерзавцы! Нешто можно. Голову им свернул бы, окаянным! Пущай попробуют. Мокрого пятна от них не останется. Своих хранзолей, чай, недохватка... (?)

Белый. Видишь, брат. После этого ты даже очень умный человек. Так знай, что все эти ужасы красного разгула, — далеко не все. Что ж, и по делом вам: большинство ваших комиссаров — вчерашние убийцы, каторжники, пропойцы, и голь перекатная. Им пристало грабить и убивать, а вы — честной люд, крестьяне и рабочие — по их пьяному зову, который они называют лозунгами, спе-

[1] Подлинное письмо. Ред.

шите им содействовать. В конце концов в дураках остаетесь вы.

Красный. И вправду...

Белый. Должна же наконец восторжествовать правда на Руси святой. Настанет светлый час и смоет всю нечисть с лица родной земли, и Россия — великая, неделимая — воскреснет к новой жизни!

Красный. Значит, наши комиссары брешут, ежели все сваливают на буржуев да антильгентов?

Белый. Я уже об'яснил тебе, кто ваши комиссары такие: какую правду можете ожидать вы от вора-каторжника? Чего доброго может дать вам убийца, бежавший из острога?

Красный. И верно...

Белый. Вы — честной народ — вляпались в такую мерзопакостную кашу, что вряд ли сумеете расхлебать ее.

Красный. Господи, боже! Да что ж нам делать?

Белый. Ты оказался умней, чем я ожидал. Ловите везде ваших живодеров-комиссаров и тащите их к нам. Сами же являйтесь к нам, как друзья. Мы дадим вам доподлинно и землю, и волю, и правду. А ворам, пропойцам и тунеядцам, живущим на шее мирных граждан, пощады не будет. Наши войска неудержимой силой движутся к сердцу России — Белокаменной. Спешите и вы с нами, пока не поздно.

Красный. Спосибо на добром слове! Теперича для меня все ясно. Побегу к своим. Беспременно расскажу обо всем им...»[1]

... В дневнике Магдалина утверждает, будто Уорд первый подал идею агитационной поездки по заводам, с тем, чтобы в смятенные души рабочих заронить надежду на скорый отдых и лучшую жизнь. Но кого было послать? Левые (кадеты, меньшевики) могут опять увлечься несбыточными мечтами, правые — усложнят и без того натянутые отношения. Уорд предложил себя. Блестящий выход, — трэд-юнионист, член английской рабочей партии, государственник-либерал. За интимным завтраком (где присутствовала и Магдалина) Колчак вспомнил, что Наполеон тоже был когда-то якобинцем, и одно другому не помешало. «Скажите моим рабочим, полковник, что я душой весь с ними. Я болею их нуждами, и лишь необходимость войны с большевиками, этими истинными врагами народа и рабочего класса, об'ясняют некоторые временные жесткости государственного строя...» Прощаясь, он обнял Уорда и Магдалине поцеловал руку.

[1] Подлинная агитка 1919 года. Ред.

(Продолжение следует)

Конь и Кэтеванна

Повесть

(Окончание)

Шалва Сослани

Товарищи! Мне осталось досказать вам немного. Но вас, наверное, интересует, чтó стало с конем. А, может быть, вам интересней, чтó со мной и как я живу без коня?

Скажите откровенно: на чьей стороне ваши симпатии? Мне это очень важно — иначе мне трудно будет говорить с вами дальше.

. . . .

Эти несколько месяцев я пролежал больной: расшибся. За это время Швилда успел побывать в нескольких командировках, а по приезде (это было в конце лета) нашел, что я окончательно оправился и об'явил, что через неделю собирается ехать к нам — в деревню, на уборочную.

Мы вышли вместе во двор (на лестнице Швилда меня поддерживал за талию).

Во дворе он осматривал коня Меру. Трепал его по крупу, гладил чолку, расчесывал хвост, часто заглядывал в глаза и сжимал в ладонях мягкие настороженные уши коня. Мы стояли по обеим сторонам Мера и перекидывались улыбкой и словами.

— Помнишь деда?

— Да-а, помню! Дедушка... бедный!

— Бедный дедушка! Он сейчас... далеко.

— Да!

— А как он любил лошадь...

— Очень! Да...

— Что бы он сказал сейчас, если бы видел Мера?

— Куда ему!.. Ему бы сидеть под туовым деревцом посреди поля, — помнишь там, что у межи, с Иларой и Гело, — да покрикивать на парней, когда замешкаются с сохой у межи...

— Где уж соха!.. У наших, брат, давно уже трактор, да и межей, должно быть, не существует...

— Ты что, имеешь оттуда сведения?

— Да, я все время получаю письма.

— Письма?

— Да.

— От кого?

— От Кэтеванны.

— От...

— От... Помнишь пастушку Арсо. Вот, от нее...

— Ты, значит... Тебе... Охо, понимаю... Да, да, помню! Как же... Арсо — вот, от нее... Ну, значит, ты увидишься с нею, когда приедешь в деревню.

— Они ждут...

— Кто они? Ну-да — в колхозе, значит... Жаль, что нет больше в живых дедушки. Бедный, бедный дедушка! Как был бы он рад...

— Да, ты хорошо сказал: сидеть бы ему в эту горячую кампанию под тутовым деревом и... хотя туту, наверное, уже снесли. Она стояла на меже... Она мешала...

— Нет, почему? Под тутой наши в солнцепек обыкновенно полдничали. На нее же вешали кувшин с водой или миску лобио с чуреком, завернутую в листья тыквы...

— Наверно там построили теперь что-нибудь более приспособленное для обеда...

— И чтобы пережидать зной... Да не двоим-троим, а всем семидесяти восьми...

— Значит, ты получаешь подробные сведения?

— Ну, как подробные. Писала Арсо, Кэтеванна, да я и сам знаю, в чем там нужда...

— А в чем?

— Вот, например, Мера... Это было бы кстати...

— На нем поедешь?

— С ним, вернее...

— К уборочной?

— На уборочную. Придется наладить там многое... Кэтеванна пишет...

— Что? А что она пишет тебе...

— Вон, там у меня письма. Познакомься с ними и напиши ответ. Я свезу.

— Ты передашь ей мое письмо?

— Нет, вообще... Могу передать и ей: в колхозе она грамотнее всех. Она зачтет его на собрании...

— Она зачтет мое письмо?—Я молчу.

Швилда смотрит на меня и тоже молчит.

— А ты останешься в деревне или выедешь обратно в город?

— Смотря по делу. А, может быть, ты тоже хочешь поехать со мной? — улыбается хитро Швилда и, не глядя на меня, водит рукой по спине Мера.

На самом деле хочет он ехать со мной к Кэтеванне, или же просто испытывает меня? Никак не угадаешь ни по его лицу, ни по руке, ни по голосу.

Швилда плотный, коренастый армеец города, но так же плотно сидит он и в земле. (Его мысли, как солнечные тени дуба.)

Я уже закончил письмо к Кэтеванне.

Часа через два ко мне зайдет Швилда и отсюда уже отправится в путь-дорогу.

Дайте же мне, товарищи, передохнуть немного (я вижу ваше сочувствие ко мне и от этого мне уже легче). Я еще очень слаб.

Вы должны меня понять.

Я уже написал письмо Кэтеванне...

Я кончил письмо...

Хорошо, что вы здесь, друзья мои!

Я не все еще написал ей... Разумеется, не все!.. Но это ничего! Я не буду извиняться перед ней...

Она селькорка.

Она поймет.

Очень уж отяжелела голова: должно быть, я еще не достаточно окреп.

Товарищи...

Ну, да! А письмо пусть полежит до прихода Швилды. (Он передаст ей прямо в руки).

Вы бы присели, товарищи!

Я...

Деревня Хеви. Селькорке Кэтеванне (лично в руки).

«Светает. Скоро должно быть утро.

Здравствуй, Кэтеванна!

Я еще не вставал и пишу в постели. У моего изголовья лежат вчерашние газеты и среди них наша местная газета (от 13 июля с. г., № 274) «За коллективизацию». В ней заметка о коллективе деревни Хеви. Внизу подпись — селькорка Кэтеванна.

Ты ли это, Кэтеванна? Ты? Наша Кэтеванна?! Или я ошибаюсь?

Я давно не опускал писем в наш почтовый ящик. Да и нужно ли было это, наконец. Ведь ты ни разу еще не удостоила меня ответом.

К чему такая гордость с твоей стороны? Зачем? Я столько думал о тебе, столько!.. Иногда вспоминалось сразу многое (я и так многим занят в городе, а воспоминания здесь только мешают человеку), а иногда я просто сердился на все, что напоминало тебя, и если бы мне, как мужчине, полагалось плакать, то я бы плакал в такие минуты. Почему ты не отзывалась, Кэтеванна, почему?

А, может быть, по нашей старинной традиции ты считала нескромным отвечать чужому человеку, который ничем не связан с тобой. Но, ведь, я тоже знаю, что ты не связана ничем и с Бондо. (Ты была тогда еще маленькой, как синица, а цепи твоего замужества — тяжелы, как жернова.)

Но ты ли это сейчас, Кэтеванна, — селькорка нашей деревни? Ты ли? Вчера вечером, когда я раскрыл у Швилды нашу газету, вдруг на третьей странице мне бросилось в глаза твое имя... нет, не имя, а твой голос, твои волосы, брови, лоб, ситцевое платье, мельница, конь и Квонтил, гора и Губа-река.. Вся наша деревня, наше небо и кукурузное поле...

Я сразу простил тебе все: и твое жестокое молчание, и... Но нет, лучше сначала ответь: неужели ты все это пишешь про нашу старую деревню Хеви? И на самом деле она в первых рядах всех коллективов нашего края? Давно ли сеют у нас новые культуры — хлопок и сою? У нас, ведь, в деревне и в помине не было иной культуры, кроме кукурузы. (Да и то, какая это была культура!)

А ты давно работаешь в колхозе? Я слышал, что председателем сельсовета у нас одно время состоял наш Илара...

А кто же теперь?

На имя дедушки (пока он был жив) я все время пересылал отсюда в деревню переводы лучших статей и книг по сельскому хозяйству.

Кстати, недавно в Москве, у одного букиниста (это собиратель старых, редких книг) совершенно случайно, в хламе, я обнаружил замечательный полный словарь нашего родного языка, составленный Чубиновым (это старый, редкий знаток нашего языка). Букинист, ты понимаешь, сначала оценил его в сорок копеек. Я, захлебнувшись от неожиданности, торопливо полез в карман. Букинист посмотрел мне в глаза и снова взял в руки книгу. Обтер локтем на обложке плесень и пыль и запросил вдруг четыре рубля пятьдесят копеек. Книга затрепанная и замусоленная: без двух листов в начале алфавита и на букву С.

Но это же ерунда! Главное — Чубинов. Наконец, отдал за четыре, т. е. не отдал, а обещал никому не продавать часа два, пока я занесу ему деньги.

Деньги я достал кое-как. Влетел, запыхавшись, к нему прямо на коне и, представь себе, его уже не застал. Стоял какой-то его товарищ. Когда я рванулся к словарю, он тоже взял в руки книжку, медленно полистал ее и затем, посмотрев на меня поверх очков, запросил вдруг восемь пятьдесят. Вот хитрый народ! Я, говорит, совсем не знаю того товарища, а если тот так мало оценил эту книгу, то, видимо, он не понимает, что книга ценится не сама по себе, а по ее потребителю. Дешевле, — говорит, — отдать не могу. (А сам в это время со строго научным видом осматривает коня.)

Ты только подумай, Кэтеванна, какое огорченье!

Пришлось оставить все деньги и в залог еще папаху. Я вылетел оттуда, даже не успев выругаться.

Ну, и чорт с ней, с папахой, зато Чубинов в руках.

«Руководство для тракториста» — получили?

Кто у нас трактористом? А ты не изучала? (Если бы я остался в деревне, то обязательно был бы трактористом.)

Надеюсь, что ты теперь напишешь мне.

Сейчас я хочу сообщить тебе одно весьма и весьма важное дело. Дело касается И-эР-Се...

Не думай, что это слово — моя обычная выдумка, на чем ты меня раньше часто ловила. Помнишь, как я называл кукурузные цветы «соцветием луны», а зеленые початки — «квонтиловым гранатом»? Или, помнишь, как я назвал однажды Губу, позабыв имя реки? Ты долго потом смеялась над этим словом и говорила, что это имя, пожалуй, больше подходит Губе-реке...

У-у, сколько всего вспоминается мне сейчас, сколько!

А помнишь, как я сочинил шаири о мельнице и о Бондо. (Даже старики повторяли это четверостишие потом.) Или, вот, например: однажды я и Швилда вместе спускались мимо вашего огородика, на Ламче. Мы ехали на лошади вдвоем и везли с собой большую связку зеленых кукурузных стеблей.

Вдруг на пороге избы показалась ты и, притенив ладонями губы, закричала: я не знаю, что ты закричала тогда, но помню хорошо, как у меня забилось сердце от твоего голоса и руки разжались над связкой стеблей. Я соскользнул по крупу, и Ламча иноходью понеслась вперед. Я остался внизу, у рва. Плетеный забор, в малиновых кустах, закрывая собой твой огородик, твою избу и тебя. Впереди частила Ламча. Швилда, повернув голову к тебе, внимательно всматривался в твой голос (а, может быть, и в тебя...)

Я молча погнался за лошадью, мне было стыдно кричать Швилде, что я упал с лошади и чтоб он подождал меня (он бы невозмутимо бросил через спину, что пеший конному не товарищ), и потому, догнав его, я только уцепился за связку свесившихся по крупу Ламчи кукурузных стеблей и, досадуя всем телом на острые камни, скакал так за Швилдой пешком до самой Шакаловки. Когда Швилда слез с лошади, я встал напротив него и, развязывая связку стеблей, искоса заглядывал в его глаза: не осталось ли там у него в глазах что-нибудь от тебя?! Я даже нарочно тронул плечом его правое плечо, через которое он смотрел в твою сторону.

Вечером, устраиваясь на кукурузной подстилке, я не выдержал и решил спросить Швилду о тебе, вернее, о чем кричала ты. Устремив глаза на луну, которая всходила с твоей стороны из-за гряды гор, я медленно вздохнул и так спросил Швилду: почему луна бывает то полная, то серпом и вокруг нее не бывает звезд. Швилда тоже смотрел в твою сторону. У меня настороженно билось сердце. Он всмотрелся в луну и сказал, словно отвечая кому-то еще, кроме меня, что когда луна идет серпом, то звезды ярче и это к росе. А полная луна — часто муть и не пропускает на поле росы.

Ответ сначала меня удивил, затем я улыбнулся и запел про себя. Швилда уже закрыл глаза. (Дни в это время были засушливые, но в этот вечер роса увлажняла даже нашу шершавую подстилку и мы оба победно храпели до утра.)

На утро, когда Швилда был уже на лугу, помнишь, мы встретились с тобой у огорода и говорили, говорили, говорили... О чем мы не говорили тогда?! Ну, хватит о воспоминаниях всяких...

Мне необходимо сейчас совсем о другом поговорить с тобой.

Дело касается организации у нас в Союзе И-эР-Се. Прошу тебя, не распространяйся пока там об этом — это секрет. Дело пока еще в стадии оформления и может при неосторожности рухнуть (дело пока лежит в Наркомпросе).

Не выдай нас, Кэтеванна!..

Ты понимаешь, И-эР-Се! Это будет первая всесоюзная организация рабкоров и селькоров всех краев и народностей: Институт ударников.

Интернационал рабочего слова.

Привлечем, разумеется, первым долгом и тебя: товарищам здесь уже известно о тебе. Хотя ты вот их совершенно не знаешь. Так я сначала расскажу тебе, как в городе я познакомился с ними, а затем про главное...

Верно, товарищи часто удивлялись и иногда даже с усмешкой спрашивали, как я мог устроиться в городе с конем? Ведь кругом трамваи, автобусы, авто! Возможно, очень скоро будем на родину летать на аэроплане. Да и вообще при такой общественной нагрузке, службе, учебе и так далее: смешно. Устарелое и дикое что-то...

Вначале я очень кипятился. Доказывал, гневался, даже ударил кого-то по лицу за открыто-дерзкое отношение к коню. Но потом я смягчился: постепенно мне многое стало понятным. В городе меня преследовали: многие и многие. Коня часто пугало всякое движение, и в то время, как я сам с удивлением следил за быстрым ходом трамвая или громким урчаньем автобусов — коня часто настигал какой-нибудь крохотный мотоцикл и, кипятясь от злости и дрыгая колесами, как подстреленный волчонок, вцеплялся ему в задние ноги.

Все улицы в городе устроены так, что по ним можно и нужно ходить только по правой и левой стороне. Посреди улицы ходят обычно трамваи, автобусы, дроги и так далее. Я хожу тоже посреди, и если в это время на улице лежит солнце, то я поворачиваю коня лицом к нему, чтобы тень падала сзади.

Большинство моих друзей обычно жило в горах и в лесу. Их не знал никто, кроме меня. Но у меня и моих друзей были враги: меня в горах высматривал Зосим-злой, а над лесом — над гнездами друзей кружился ястреб-беда. (Меня спасала Ламча, а моих друзей — крылья.)

Сейчас в городе у меня тоже немало друзей. У всех нас много целей в жизни и самая большая цель: построить город-гнездо. Мы, как птицы, слетевшиеся со всех краев нашей страны, с разными голосами и оперением, строим одно и об-

щее для всех: новое большое гнездо. (Мы все поем на разных языках, но поем одно и то же.)

Вот я еду по улице. Друзья тоже идут: у нас путь до поворота улицы лежит вместе. Они идут и по левой и по правой стороне и, разумеется, едущего в центре легко заметить. Завидев меня, они перебегают улицу и хватаются руками за стремена с обеих сторон. Мы все ровесники, но у них нет коня, поэтому, когда я вижу их, то безмолвно протягиваю к ним обе руки, а руки мои всегда заняты — портфелем и поводьями — и, когда протягиваю их — портфель, книги, тетради, диаграммы с шумом падают вниз, на мостовую.

Друзья гуртом прижимают меня с конем к стене и начинают выспрашивать: что и как?

Этим категориям друзей всегда везет: они меня встречают большей частью тогда, когда я еду на коне с работы, вернее, мчусь из последних сил к столовой. Это бывает далеко за полдень, когда все тоже спешат в столовые: каждый в свою столовую, я — в столовую ИРС. (Нас там кормят в счет будущего здания.)

Говорю — везет, потому что на голодного очень легко влиять: голодный принимает все или не принимает ничего...

Я слушаю их и делаюсь все меньше и мягче. Мне нечем возразить (я не парикмахер, который, обрив человека, делает его радостным, как мяч.)

Наконец, я слезаю с коня, становлюсь перед ним. Виновато глажу ему чолку и молчу.

Ну, что же я могу поделать с ними, Кэтеванна, скажи? На коне я мог бы промчаться мимо них, но.. но, стоя с ними рядом, я такой же бессильный, как и они...

Причина — в нас самих: мы не владеем словом (а все же мы строители слова). Слово у меня, во-первых, свое, а во-вторых, ты это знаешь, не русское. Человек я тоже свой, не русский, — товарищи тоже. Мы все — как початки слов, опыленные на своих полях, ищем, где бы войти урожаем.

Кроме того, всем моим товарищам хорошо известно, что я не один, что приехал к ним издалека, пишу письма на непонятном им языке и раз'езжаю по Москве на коне.

Все это им известно и потому, понятно, мы часто молчим: мы смотрим в будущее и молчим.

Если бы я с моими товарищами встречался на заводе у станка, или на постройке железо-бетонного или каменного здания, так мы сговорились бы легче: я брошу булыжник, он поймает. Он бросит дальше — другой поймает. Тот еще дальше подбросит — кому-нибудь из наших... Тот будет, наверное, с цементной кадкой стоят вблизи, — положит аккуратно булыжник на булыжник, зальет и замажет его цементом, словно языком, — так выстроим мы сообща дом, рабочий поселок, клуб или государственное учреждение.

А то — слово! Ну, как поймать его голыми руками? А поймав, как удержать?

Мы учимся вместе у города и у профессоров. Часто в городе говорят одно, профессора — другое. У нас происходит неурядица во времени (а время может поймать и закрепить только слово).

Часто сидим мы этак, за столом, а я — на коне, на самой последней скамейке. Вдруг конь начинает нетерпеливо бить копытами... Ты только подумай: в аудитории, при всех. Затем переступает передние места, становится на профессорскую кафедру и начинает круто мотать головой.

Все взоры устремлены на него, а я никак не могу его сдержать. Наконец, он встает на дыбы и со стола с размаху падают профессорские часы. Все товарищи-слушатели вскакивают с мест, с яростью бросаются на часы и начинают топтать их ногами.

Часы, в отличие от настоящего времени, Кэтеванна, очень хрупкого свойства: даже самые старинные — чугунные — Бурэ. Они большей частью всегда отстают. Но чтобы они изменили направление — этого не бывает никогда. Их ничто не трогает — даже сейчас, когда товарищи топчут их ногами — они до последнего издыхания продолжают выстукивать время под каблуками...

Профессор наш стар, глух и подслеповат. Он не слышит и не видит, как растоптали, смеясь, его время. Он по-

прежнему продолжает лекцию, медленно, по очереди протирая стекла своих очков.

Часы, наконец, обращены в порошок.

Время быстро набухает в аудитории и я, соскочив с коня, кричу:

«Товарищи! Уже настало время»...

Проект организации ИРС составляли мы все во время лекции нашего глухого и подслеповатого профессора.

Вот текст заявления, которое мы выработали и десять дней тому назад подали в Наркомпрос. Если бы заявление попало к наркому лично — было бы хорошо, а то в самом учреждении всегда тянуть и тянут бесконечно. (Это бюрократизм и волокита!)

В Наркомпросе нам сказали, что дело продвигается и беспокоиться не о чем, а беспокоиться все же приходится: мы пишем вот уже пятнадцатое заявление.

В заявлении мы пишем:

«Пока проект организации ИРС обсуждается в различных ведомствах, слушатели-рабочие не знают, как поступить.

Приближается время осенней сессии.

Исчезли стрижи и отлетела иволга.

Уже по ночам над Москвой, свистя, пролетают кулики. Вальдшнепы уже совещаются перед отлетом на юг. Зябкие вечера обступили клен и вязы и тополь уже роняет листья в ветер. А в канцелярии нашей еще ничего неизвестно. Со всех концов Союза поезда заносят к нам молодежь, желающую учиться в ИРС, а ее негде приютить. Когда же ожидается открытие Института? Всякое замедление этого вопроса»...

И так далее.

Третьего дня мы все гуртом отправились в Наркомпрос к самому наркому.

Мы сошлись рано утром на площади в центре.

Центр этот, Кэтеванна, в общежитии зовется Мясницкими воротами. Это ворота тех времен, когда еще Москва Ивана Калиты крылась соломой, гонтом и тесом. В воротах каменной стены, служившей некогда оградой против Тахтомыша, ютились мясники. Позднее «белая стена» царя Федора внезапно развалилась и придавила обломками туши мясников...

Сейчас здесь все прочно: ничто не может обвалиться.

В перекрестке площади сбегаются улицы. Улицы с перекрестков убегают в сад и по карнизу прежней белой стены на семь верст тянется тенистое кольцо бульвара и беглые остановки «ворот».

Мне знакомы на площади все вывески, лозунги и продавцы цветов.

У цветов иногда осыпаются нежные запыленные лепестки и, покружившись в воздухе, садятся на асфальтовый тротуар. В ворота, гарцуя, в'езжает автомобиль и, зажав шинами лепесток, уносит с собой за ворота. Пыль шлейфом поднимается за авто, он с гиканьем мчит лепесток из ворот в ворота, от улиц к под'ездам и когда, наконец, из авто вылезает человек с портфелем — лепесток дрожит и падает у его ног. Человек с портфелем наступает на него, и лепесток, скользнув слезой по подошве, умирает...

У Мясницких ворот сейчас семь ворот. Я здесь всегда слезаю с коня, и, взяв его под уздцы, прикладываю ладонь к глазам-и ищу выхода.

Сегодня выход был найден скоро: со мной товарищи, а они — организованные люди.

Мы сговорились и вышли на восток.

Восточнее ворот, против тенистого бульвара и трамвайного кольца «А», стоит Наркомпрос.

Человек с портфелем вошел именно туда.

Мы поспешили за ним.

Он вбежал по лестнице: сначала по одной, потом по другой, затем по третьей. Он бежал очень быстро. Пришлось мне догонять его на коне.

Товарищи отстали.

Лестница перед нами расступилась в коридор и человек с портфелем вбежал прямо в большие резные двери. Я за ним.

Двери захлопываются.

Я сдерживаю коня. Вернее, его сдерживает красная надпись: «Добьемся в ближайшие годы развития промышленного свиноводства и кролиководства».

(Нужно, разумеется, добиваться, а то кролик, ведь, тоже зверь: без присмотра он может убежать в лес. А мы — удар-

ники слова: наше дело, тем более, необходимо развить.)

Вот уже подошли все товарищи, и мы ждем, но нас пока не пускают в дверь. Товарищи быстро совещаются. Они заключают, что лучше всего войти в кабинет только им: то есть без меня.

Что же, товарищи! Идите без меня. Но, смотрите, будьте смелы и настойчивы! Нужно добиться во что бы то ни стало!.. Коня я сведу к под'езду, а сам буду дожидаться здесь...

Мне жаль товарищей! Они так долго стучались в эти двери. Стучали даже головой. Потом, проводя чернильными пальцами по лбу, они показывали друг другу фиолетовые шишки и смеялись.

Вдруг очередь выкрикнула: «Студенты ИРС»,— и товарищи вошли.

Вошли только они: я остался поджидать у дверей.

Стены имеют уши, а двери — глаза: один только глаз, как у циклопа. Да и этот единственный узкий глаз замыкается обычно ключом. Когда он открывается, двери поглощают людей друг за другом: и согнутых, и вспугнутых, и посторонних. Они в дверях, перед входом всегда спешно собирают галстук, бумаги и выражение лица. Убирают тихо кашель в кулак и переступают порог.

Но мои товарищи не из тех, а с фиолетовыми шишками на лбу. Они сгибаются только над книгами, где им настолько близкими становятся мир и люди, что, продрожав всю ночь над тетрадкой, они встречают утро, как свое изобретение.

Вот они сейчас смело переступили порог и вошли.

Я слышу их разговор и нетерпеливо прислоняю голову к щели.

Слышу, как они говорят о том, что пока проект организации ИРС обсуждается в различных ведомствах, мы, студенты-рабочие, не знаем, как поступить.. Приближается время осенней сессии. Исчезли стрижи и отлетела иволга. По ночам над Москвой, свистя, пролетают кулики. Вальдшнепы уже совещаются перед отлетом на юг. Зябкие вечера обступили клен и вязы, а тополь первый роняет листья в ветер... А в нашей канцелярии еще ничего неизвестно... Со всех концов Союза поезда заносят молодежь, желающую учиться в ИРС, а ее негде приютить... Когда же ожидается открытие Института? Всякое замедление этого вопроса, прежде всего...

Человек, сидящий за дверью, встает, проводит рукой по волосам, улыбается в мою сторону — в щель и, быстро сжав улыбку в бровях, произносит свое слово. Товарищи слушают. Проводят руками по волосам, улыбаются, потом быстро скатывают улыбку вниз и видно, как часто-часто дрожат у них подбородки.

Сидящий за дверью человек заканчивает речь. Снова смотрит в мою сторону — в щель и затем по очереди подает всем руку.

Я быстро сбегаю по лестнице вниз. У под'езда конь. Я перебрасываю портфель на седло и скачу по бульварам к себе...

Но, ведь, это ничего, Кэтеванна! Как выяснилось — человек с портфелем оказался только секретарем наркома. (Все еще неизвестно, в каком состоянии дело, но обо всем этом знаем только я, мои товарищи из ИРС и ты.)

Это письмо я посылаю тебе через Швилду. Сегодня вечером он выезжает к нам — в деревню, с конем.

Газету нашу с твоей заметкой я нашел у Швилды третьего дня, когда я рылся у него в письмах. Писем твоих я у него не обнаружил нигде. Может быть, для него твоими письмами служили все эти вырезки из наших газет, в которых помещались разные сообщения о нашем коллективе. Должно быть, так! Все письма-вырезки у него тщательно сложены и пронумерованы. На некоторых—его приписки от руки, но нигде, ни разу—твоего имени. (Твое имя, Кэтеванна! Ведь, я его очень ценил всегда, а теперь — тем более.)

Эту газету с заметкой за твоей подписью он еще не успел, наверное, просмотреть, а я перечитывал и вчитывался в нее тысячу раз. Искал редактора газеты. Состав редакции. Читал все статьи вокруг твоей заметки и снова возвращался к твоему имени, к твоим глазам, голосу, смеху, босым детским ножкам (помнишь, нашу встречу в детстве, на огороде?) и к смутному имени Бондо. (Когда-нибудь он ответит перед тобой и это будет значительнее смерти.).

Швилда говорил, что ты мое письмо будешь зачитывать на собрании. Этого, разумеется, не нужно. Не правда ли? Тем более, что я сообщаю тебе такой секрет, как дело ИРС. Об этом нужно будет сказать особо (ты меня понимаешь).

Итак, друг мой, до встречи! До свиданья!

С победой!

Пишу все, чем я живу в городе, сейчас, и о чем я так много переписывался с тобой безответно.

Швилда видел мой почтовый ящик и долго, очень долго смеялся. (Должно быть, он смеялся надо мной: он часто любит попрекать меня деревней, а при случае зовет меня, как прежде, «ветроплетом».)

Сейчас у меня сидят товарищи и перечитывают мои давнишние письма к тебе, а я заканчиваю это большое письмо, должно быть, единственное, которое ты получишь от меня за все время разлуки с тобой — маленькой Кэтоной. Конечно, когда мы встретимся, ты прочтешь все мои письма. Кстати, увидишь и моих настоящих и будущих «иэрсанцев».

А до тех пор я надеюсь получить от тебя ответ. Сообщи, как вы встретили Швидлу? Как с конем? Кто у нас в коллективе из соседей? Кто из них помнит меня? Что сейчас у вас вообще делается? Когда и от чего был падеж скота? (Я это вычитал в одной из газетных заметок у Швилды). Вообще обо всем... Как у вас будет проходить уборочная кампания со Швилдой. Куда примените Мера. (Как тягловую силу — его не стоит портить: на это у нас достаточно волов и буйволов.)

Как только получу от тебя ответ, — тотчас же напишу подробно о целях и задачах нашего Всесоюзного института.

Хотел бы еще о многом написать, но лучше уже в следующий раз, а сейчас, докончив это письмо, я вместе с товарищами пойду на большую улицу, где я похитил почтовый ящик, и мы хором водрузим его на место.

Устал.

Ночью снились какие-то всадники и тому подобное. Плохо спится в городе вообще, а к тому же комната у меня сырая и ноги холодны всегда, как точильные камни. (Кстати, этот дом, где я сейчас живу, должен быть снесен. Меня выселят, но не знаю куда. Пиши пока по адресу Швилды.)

Жду письма. Арсен».

А, вы здесь еще, товарищи!

Я, ведь, немного вздремнул. Сейчас чувствую себя хорошо. Придется снести почтовый ящик на улицу и прибить его обратно к стене.

Хорошо! Мы выйдем отсюда вместе.

Я чувствую доверие к вам и уверенность в нашем общем деле и мне легче сейчас досказать вам до конца сказку о коне, начатую еще давно дедушкой.

Однажды ко мне на улице подскочил какой-то человек в грязной манишке, но с удивительно мягким, густым голосом и стал уверять, что я могу сделать большую карьеру со своим конем на московском государственном ипподроме. Он взял коня под уздцы и, когда мы свернули в нешумный переулок, быстро и внушительно проговорил:

— Во-первых, я установил — а установил я, уже вторая неделя пошла с тех пор, — что ваш конь чисто восточного типа. Это очень, очень ценится, и вы тоже должны обратить на это внимание. Вы сами—азиат? Сразу видно! А лошадь эта настоящего арийского типа: они с самых древних времен были разводимы азиатскими народами арийского племени. Вы — азиат, азиат... Восточный человек! Как это восхитительно! Я искренне преклоняюсь! Но, вы подумайте, вдруг, сразу, такая карьера! Вы же можете произвести фурор, неслыханный, невиданный фурор!..

Вот, послушайте: бег на побитие рекорда 2.08.6. Дистанция 2600 метров. Ехать два гита. За побитие рекорда лошадь получает две тысячи рублей, и за каждую 1/8 резвее 2.08.6 — сто девяносто.

Подумайте, чудовищный вы человек!

Вы даже не знаете, какое золото имеете в руках. Кстати, как имя? Так знайте — вы молоды, а я старый, испытанный коннозаводчик, и первый рысистый охотник в Москве. Сейчас служу нашему

Советскому государству. Я не из тех: я честно. А лошадь — это моя стихия. Такого имени еще не было на нашем заводе. Вы родились под счастливой звездой! Как вы могли пробраться к нам с такой лошадью из такого далека? Вы из деревни Хеви? Подумайте! Как это звучит — просто романтично! Мера! Мера! Мера пространств и мера времени... Мера — это все!..

Человек с густым мягким голосом подошел быстро к Мера и, взяв его за ноздри, широко приосанил над зубами морду.

— Ведь еще совсем жеребенок! — воскликнул он, быстро пересчитав зубы.— Шестнадцать молочных резцов и двадцать четыре коренных. Ему всего четыре года... Славно! Семь постоянных и шестнадцать молочных... — бормотал он, захватывая одной рукой коня за храп, а другой вытягивая ему язык.

— Да, так и есть... Никаких угловых резцов в верхней челюсти...

Так, так, так! Все действительно в меру...

Мера резко мотнул головой, вырываясь из рук надоедливого исследователя.

Человек с густым голосом и в грязной манишке на это не обратил ни малейшего внимания, восхищенно провел рукой по шее, продел пухлые пальцы в спутанную гриву коня и авторитетно добавил:

— Длинная, округлая и сухая... Это же подлинные формы шеи арабской скаковой лошади, молодой человек! Посмотрите, как она утончается к концу и какая округлость с боков... Это не конь, а лебедь! Лебедь! Я знал одного такого жеребца ольденбургской породы — «Кадет», или, вот еще, жеребца «Саймон» знаменитого скакуна завода Дюка Портландского. Единственные! О, «Саймон» Дюка Портландского! Романтика! А вдруг, вот неожиданность... Дюк Портландский!.. Я вовсе не из тех, которые превозносят только Орловских... Орловские — тоже смесь. Такая же смесь, как сами Орловы-Чесменские... С арийскими... А вот эта — настоящая кровь!..

Подумайте, какая неслыханная карьера! Какой успех! Как славно! Об этой породе есть указания даже у Геродота. О, Геродот! Слыхали? Пойдемте ко мне: по Ленинградскому шоссе, на ипподром... Идем, дружище, восточный человек!.. Ваш Мера станет у нас мерой пространства и времени... — закончил он, подняв патетически руку.

Я не знаю, уговорил он меня или нет, но коня-то он держал уже под уздцы и мы ровным шагом направлялись к ипподрому...

Конь провел на ипподроме две ночи и два дня, а на третью ночь, когда его уже готовили к выступлению, я тайком вывел его из конюшни, подвязав ему копыта лоскутьями ковра и бесшумно двинулся по Ленинградскому шоссе.

Это одна из самых широких и прямых улиц Москвы, идущая за город. На ней много рельс, цемента и воробьев, но ночью не видать даже самой дороги.

Кругом только туман и гулканье копыт.

Мы едем. В руках у меня крепко-накрепко зажаты поводья, а по ним струйкой бегут холодный ветер и страх.

За нами каждую минуту может погнаться с ипподрома этот Портландский Дюк. И не один: с ним может выйти стая скакунов и волчьим бегом погнаться за похитителем коня...

Ты слышишь, Мера?!

Будь готов!

(У коня уши шире, чем улица. У коня слух глубже, чем ночь.)

Мера идет рысцой, нервно покусывает удила и водит ушами, как веслами.

Холодно и страшно! А, может быть, это последняя ночь: нам не придется больше возвращаться в город?!

А ты, помнишь, у нас, Мера?

Помнишь ночь у Губы-реки?

Мера наводит уши на меня.

Вот, слушай так! Впереди ночь и, может быть, деревня... В городе люди умеют только гнаться. Ты видел там, как они гонятся за трамваем, авто, друг за другом?!

Они могут за нами тоже погнаться: держи ухо востро. Вот так, мой Мера! У тебя на шее капли пота...

Ты не кусай удила!.. Хотя бы где-нибудь показалась звезда! (По звездам легко определить направление).

Звезды, звезды! Где ваше сияние?
Чу! Откуда-то шум.
Шум, шум! Я слышу голоса!
Молчи! Не фыркай!

Лучше, без паники: мы очень далеко от них. Спокойно, Мера!

Спокойно! Спокойно!
Бржж.... ззжжж.... ббб...

Да, идут! Но это ничего: они не перегонят нас. Они могут догнать нас — и только...

Слышишь, слышишь?
Ж-ж-ж-з з з ж... б б б ж ж... Их много. Приближаются.
Лети, мой конь! Дорога прямая здесь! Лети!

Мы там еще посмотрим, господин Дюк Портландский, кто кого!!

Летим, летим!
Жжбрбр...жжжж....
Летим!
Ж-ж-ж-ж....
Мера!
Ж-ж-ж...
Кто это? Откуда?
Жжжж...бб....

Звезда! Мера, впереди звезда! Она идет прямо на нас! Звезда, звезда!

Откуда она выплыла?
Она падает.
Она бабазжит...
Это она!
Мы направляемся прямо к ней.

Вдруг конь шарахается в сторону и останавливается как вкопанный.

Перед нами аэроплан.

Мы были на аэродроме. На нем только что снизился аэроплан и сейчас усиленно бьет копытами мотора. Он замедляет бег и подкатывает к свету. Навстречу отовсюду выбегают люди и, улыбаясь, протягивают руки вперед, точно хотят схватить поводья взмыленного коня и прогуляться с ним взад и вперед по полю несколько раз.

Из глубоких седел выпрыгивает авиатор — человек в больших четырехугольных очках — и направляется прямо ко мне. Я быстро соскакиваю с лошади и жду.

— Мне удался сложный трюк... Это не всегда бывает так удачно, — говорит мне, протягивая руку, человек-авиатор и улыбается всем телом (как бывает после умелой езды на коне).

Свои огромные кожаные очки он держит в руках и оглядывается на все стороны, как ребенок (как бывает в первое время, когда человек слезает с лошади и идет, похрамывая плечами).

— А вы издалека? — тоже улыбаясь, спрашиваю я.

— Я был на высоте четырех тысяч метров... Звезды, кругом звезды! Так и брызжут в глаза... А внизу туман... Ни зги! Хорошо!

— Хорошо, — поддакиваю я и тянусь к его очкам. — Одолжите мне, пожалуйста, на минутку...

— Изволь, товарищ! Но только я пойду к нашим. Умоюсь... (Человек, поднимающийся над землей, да еще к звездам, не знает пределов добра.)

Я быстро надеваю очки и, нащупав уздечку, вскакиваю на седло.

Конь встает на дыбы, и я соскакиваю снова вниз, даже не успев продеть ноги в стремена.

Что случилось, Мера?

Кого ты испугался? (Ноги коня выпрямлены, как стрелы, и по ним густо струится дрожь.)

Это же я: нам необходимо спешить!

Лети, мой конь! Лети, не зная пределов!

Я натягиваю уздечку туже и, ухватившись крепче за седло, хочу взлететь на коня и...

Конь пятится, выгибает спину и, кружась на месте, волочит меня за собой. Ржет. Фыркает и гневно взметывает корпус на воздух.

Я сгибаюсь, как подкова, и, уцепившись за гриву, плашмя наскакиваю на седло.

Конь срывается с места. Проскакивает с размаху через высокую ограду аэродрома и нас сразу испивает темень-туман.

У меня захватывает дух. Голова кружится. Ветер приплюснул голос ко рту и слова беспомощно стекают по подбородку в распахнутую грудь.

[illegible] азах мутнеет.

Ничего не слышно.

Я, кажется, скольжу...

Мы подымаемся над бездной. Все выше, выше...

Я теряю силы и сознанье.

Когда очнулся, было уже светло.

Свет проглядывал через купы деревьев.

Где же я?

Виски, как обручи, сдавливала какая-то плотная, нечеловеческая ладонь.

Что это?

Я потянулся к голове, но от острого жжения в правом плече рука бессильно упала опять на землю.

Я осторожно пощупал пальцами землю. Да, это была трава. (Видимо, роса еще не обсохла на ней.) Ладони горят. Я дотрагиваюсь ими до земли. От мокрого пушка травы во рту подымается какая-то липкость. Хочется пить. Я дотягиваюсь левой рукой до головы и вдруг ясно вижу на себе стягивающие мне виски кожаные четырехугольные очки. Я с трудом снимаю их одной рукой — и вдруг над головой открывается чаща леса. Я лежу на узкой тропинке в лёсу. Кругом тишина.

А где же конь ?

Мера! Я медленно поднимаюсь на левом боку. Слова свернулись в пересохших губах. Я вспоминаю все...

Снова становится темно и я забываюсь в каком-то тумане.

— Ссыш-ш-пшшш... — слышу я над головой чей-то предостерегающий голос и силюсь открыть глаза.

— Сив-цюий! Сив-цюий...

— Кто говорит?

— Цюй? Откуда? Где конь Мера?

— Цюй! Цюй!

— Ссс... пшш...

— Ты видела?

— Цюй. Пи-цюй... Цюй, цюй. Псшссс...

— Я буду тише, как можно тише...

— Сив-тчуи! Чуй-пи чуй пи чуй пи... Чиу-сив-цчуй...

— Я не могу встать! У меня горит плечо... За мной гнались.

— А ты откуда здесь? Ты видела все? Кто еще с тобой?

— Пин-пинь-та-ра-ра-пинь. Фьют-фьюить, фью-фи-ить-таю!..

— И ты здесь? Здорово, друзья!

— Ссс, спшш...

— Сив-чев, чев! Сив-чюик!

— Ти-лилили-лю-кэее...

— Кив-кэе. Кэе-кэе..

— Но вы понимаете меня? Я очень, очень рад! Если бы я знал,—давно бы пришел к вам... Я редко выходил из города, друзья... Дела! У меня теперь очень много дел и много новых друзей... А вы не знаете, как урожай у нас? Посевная кампания закончилась?... Мне нужно сейчас же встать и пойти в город, к нашим. Но я не могу без Мера...

— Си-ци-ци-ли-кэе... Кэ-ци-сю-ци-Кэккэ...

— Помогите, друзья, отыскать. Я в этом не виноват! Я хотел взлететь к звездам... К вам! К вам!..

— Пинь-пинь, фьють-тарра...

— С вами я не могу. На мне новая одежда, мне тесно в плечах...

— Кэ-сю-кэв... Сю-кэеее....

— Я не хочу оставаться один. Друзья!.

— Цюй-шсс-цик...

— Откуда? Кто? Почему оставляете меня?

— Шчи-чек-чэк... Чэк...

По тропинке послышались шаги. Птицы вспорхнули выше. Шаги приблизились ко мне.

— Чэк-чэк. Кэ-сю...

Птички вспорхнули еще выше. Перелетели на соседние березы и смолкли.

Я открыл глаза.

— Кто идет?

— Это я! Не бойся — Швилда.

— Куда ты меня привел? Где Мера?

— Успокойся, Ача! Лежи спокойно... Конь со мной.

— А что же я?

— Ничего. Ты теперь скоро выздоровеешь.

— А ты нас узнаешь? — раздались надо мной еще чьи-то голоса. Я быстро приподнял голову. (В глазах муть и синие круги света.)

— Я не знаю. Откуда вы?

— А мы заводские. У нас сегодня день выходной...

Голоса смолкли и пошушукались.

— Ну, что, авиатор, больно? — Нагнулись ко мне новые голоса.

— Да, я упал.

— Упа-ал! — чуть треснул смехом голос.

Я хотел крикнуть, но около лица услыхал чье-то ласковое дыхание. Меня осторожно приподымали за плечи.

— Раз упало — значит есть, что поднять, — сказал все тот же потрескивающий смехом голос. — Не падает только тот, кто не может подняться...

Я шире открыл глаза и всмотрелся в окружающих.

Это были рабочие — товарищи Швилды по бригаде.

. . . .

Постойте, кажется стучат.

Не Швилда ли?

Откройте двери!

Привет, товарищи, привет! Мы ждали вас: с утра все ждем.

Мы готовы. Вот ящик для писем. Ну, значит, двинулись.

Мы выходим вместе — нас человек семь, и направляемся мы к большой улице. Впереди всех Швилда за поводья ведет коня.

Вечереет.

Прохожие сторонятся и, проследив глазами, сворачивают с любопытством вслед. На улице нарастает шум и электрический свет. Автобус проносит улыбающиеся лица и флажки и, кутаясь клубом пыли, оседает впереди нас. Рядом, качаясь и позванивая, останавливается трамвай.

Я подхожу к знакомой стене и на обычном месте вдруг нащупываю железный ящик: новый почтовый ящик.

Но куда же тогда повесить похищенную мною скорбницу?

Мы идем дальше. За нами нарастают люди и дети.

— Товарищи, в колонну! — призываю я всех, и мы, построившись в ряд, медленно продвигаемся вперед.

Везде, у под'езда каждого нового дома — насторожен, как уши, почтовый ящик.

Куда пристать?

Мы становимся под аркой. Вокруг арки — площадь. Под аркой сходятся все улицы, площади и пробегают трамвайные рельсы. Арка сложена из жженых кирпичей, гранита, речного щебня и песку. Скреплена цементом и ржавьем, а между цементом и ржавьем, в морщинах гранита и жженых кирпичей нежно пробивается зеленый сорняк и кое-где выглядывают фиалки.

Арка стоит на площади Слияния города с деревней. Над аркой возвышается бронзовый конь и сине-бурые бабки вздыбленных ног коня указывают дорогу прямо в город.

Мы поднимаем почтовый ящик и прикрепляем его на граните сбоку арки. Я становлюсь на нем, как на трибуне.

— Товарищи! — говорю я на всю площадь. Впереди, против меня, на трамвайных рельсах, обнажив голову, сидит на коне Мера Швилда и ждет. За ним и вокруг него — вся площадь как зернами усеяна людьми, детьми, электрическими лампами и знаменами.

— Товарищи! Сегодня Швилду мы отправляем в деревню... В далекий горный край нашего Союза. Край — в кулачок, но если его разжать, то на ладони вы увидите всю жизнь — глубину и широту пройденных ею путей. Они сейчас, вместе со всеми другими путями, сливаются в один общий путь...

Стране нужны семена, чтоб произросло добро и благо. Швилда едет на уборочную кампанию в Хеви. Там, между гор, в узкой щели земли живут колхозные крестьяне. Они сейчас так же прислушиваются к земле, как к слухам, что за горой. Здесь, в этой узкой щели земли, сегодня проходит трактор, а раньше там над сохой изнемогал дедушка день и ночь, чтоб вырастить себе горсть кукурузного хлеба.

А вы знакомы с нашим тропическим злаком, нежнейшим в мире растением, кукурузой?

Это та сама белоярая пшеница, которою кормили раньше на Руси богатырских коней и которая сейчас в нашем Союзе принимает значение крупного агрикультурного завоевания. Кукуруза, представляющая издавна старую зерновую культуру, сейчас распространяется и по всем районам огромного Союза, где только этому мало-мальски благоприятствует климат и условия пропашной культуры. Кукуруза — главный злак не только всего юга САСШ, но и Мексики, большей части тропической Америки и, главным образом, Аргентины, где почти совсем не удается пшеница и вывозится по всему свету только кукуруза. Из маленьких портов Западной Грузии и Абхазетии каждый год

вывозилось за границу, до войны, больше пяти миллионов пудов кукурузы.

(Недаром дедушка выгибался в три погибели на земле, уделяя из своего урожая большую часть кукурузы Хосро и Мурману, потом хлебным чиновникам — из местных кулаков, казенным свиньям в налог, домашним птицам — наседке с цыплятами, Бечо и Реро, жене, соседям, мне и коню.)

Нам нужно больше хлеба

Мы хотим дешевого хлеба.

Кукуруза в два раза урожайнее пшеницы. При отборных сортах семян она может быть в пять раз урожайнее ее.

Кукуруза может стать пожнивной культурой: давать два урожая в год. (Два урожая в год — это не право, а обязанность социалистической земли.)

Она меньше всего заражена болезнями и даже сама убивает сорную растительность — бич наших полей. Она требует в два раза меньше воды, и в самые ненадежные годы — в годы бедствий, засух и недородов — кукуруза самое надежное растение Союза.

Кукуруза смеется над суховеем: ее не выбьешь и не развеешь так легко.

Мгла, туман — ничто для кукурузы, для этого лидера пропашных культур. Чем кормить, товарищи, наш обобществленный скот? Животноводство Америки держится на кукурузе: там миллионы лошадей питаются кукурузой, даже не зная вкуса овса.

Решайте!

Кукурузный корм, при одинаковой питательности, вдвое дешевле овсяного или ячменного. (Один га кукурузы на силос равен семнадцати га луга. Пастбище толоки дает 82 головодней коров, овса — 164, а кукурузы — 240.)

Решайте! Нас ждут.

Нам важны вопросы животноводства и птицеводства.

100 килограмм кукурузы по питательности равны 148 килограммам легкого овса, 136 килограммам среднего овса и 113 килограммам ячменя.

Больше кукурузы — значит, больше мяса, масла, молока, яиц.

Наши ученые говорят, что кукуруза среди хлебных злаков то же, что антрацит среди угля...»

По площади проносится гул.

Улицы, дома, небо и звезды словно растопырили уши и широко открытыми глазами электрических ламп вслушиваются в слова.

«Кукуруза богаче всех хлебов мира — жиром и витаминами.

Кукуруза — это крупа.

Кукуруза — галеты.

Кукуруза — бисквиты.

Кукуруза — масло.

Кукуруза — это сахар (давно перегнавшая в Америке свеклу).

Кукуруза — вино, порох, пироксилин.

Кукуруза — лучшая бумажная древесина.

Кукуруза книга: цветущий кочан бумаг!

У нас нет бумаги для Всесоюзного ИРС, а на наших полях ежегодно теряем 8 000 000 стеблей — атласных листов.

У них, в Америке, площадь кукурузы — 41 тысяча с лишним гектаров.

У нас площадь скудна: 2 тысячи с чем-то га. (Догнать! Догнать и перегнать!)

Нам нужно воевать!

Товарищи, во время войны кукурузу с успехом можно испечь или сварить в четверть часа. Так делалось раньше, при частых набегах врагов, в ущельях гор, когда останавливаться в дороге не было времени.

Так убегал я в школу рано утром, обжигая горячим, хрустящим в сумке чуреком бедро.

Так идут сейчас в сельсовет, райсовет и горсоветы — председатель, секретарь и уполномоченный центра, хлебозаготовитель, а в портфелях у них: циркуляр — чурек, проекты — чурек, инструкции, постановления и снова — чурек. Некогда! Строительство! Пятилетка! Спешим!

Циркуляр — чурек — проекты — чурек.

Товарищи, сейчас в деревне колхоз... Швилда подоспеет как раз к уборке.

Я вижу отсюда наших ребят...

Какое веселье и потный угар! В созревшем поле шелест и гул! Ходит между рядами стеблей в чалмах молодежь: девушки и парни босиком. Людей не видать — только шелест и крик. Качается раскидистая метелка цветов и гордый в атласе осанистый жених, нетерпеливо склоняя голову к подолу, бесстыдно опыляет на виду у всех синею-

щие пазухи стройных початок. Длинные, как у пальмы, с подпалинами листья царапают острыми краями до крови голые девичьи плечи и локти.

Парни разворачивают зеленую, плотную юбку самых длинных, светло-желтых початков и павлином пускают к большим корзинам — к слету урожая.

Над полем простерлась страстная роженица.

Армия беспощадно выламывает початки.

Солнце палит, салют. Бой! Резня! Любовь!

Шум, шелест, гомон, пение, шаиры и солнечные роды. Урожай... Товарищи!..

. . . .

С площади донесся резкий гудок паровоза. Швилда вздыбил коня.

Площадь заколыхалась и зашуршала.

— Да здравствует Хеви!

— Да здравствует Швилда! — крикнул я площади в ответ и соскочил с железной «скорбницы»...

Нужно было спешить.

Мы вышли все на вокзал.

Площадь втиснулась в стены станции.

Откуда-то со стены раздались два гулких звонка, как два зовущих языка, торопящих — один значительней другого.

(Первый зов звонка остался на городской станции, а второй слился с гудком поезда — в деревню).

Я подскочил к сидящему на коне Швилде, распахнул у него на груди кожанку и сунул вглубь письмо Кэтеванне.

— В Хеви. Кэтеванне! Лично в руки.

Швилда прижал ладонью письмо к груди, и левой рукой натянул поводья.

Паровоз заклубился дымом. В колесах, как паруса, распушился пар. Конь вздрогнул. Швилда приподнялся, как на стременах, и конь медленно понесся вместе с дымом.

С победой!

Нос

Киносказка

Другу-учителю А. Кондакову

Бор. Шабалин

I

Самуэль привык просыпаться в пять: его будил трехголосный гудок паровозных мастерских, расположенных рядом. Когда гудок смолкал, Самуэль успевал уже сбросить с койки свою костлявую фигуру и посмотреть в окно — какова сегодня погода. Для этого он садился на корточки и ловил кусок неба поверх забора, поставленного у самого окна. В комнате были всегда сумерки, но забор убрать было нельзя — он отделял владения железнодорожных мастерских.

Этим приседанием Самуэль окончательно освобождался от сонной вялости. Живо одевался, вскидывал на левое плечо точильный станок и шел по давно установившемуся маршруту: аккуратно дважды в неделю появлялся он в одних и тех же кварталах.

В этот час просыпались домашние хозяйки; владельцы продуктовых лавочек спешили встретить их; прислуга в грязных ресторанах и столовых для рабочих торопилась смахнуть со стола вчерашние крошки и протереть пятна на клеенках для ранних посетителей.

Все они нуждались в услугах Самуэля. На бойнях и в мясных лавках выносили испачканные омертвелой кровью топоры, чтобы рассечь поскорее дымящиеся свежие туши и отправить их на кухни; повара тащили длинные, как сабли, ножи, которыми они ловко отсекают мясо от костей; оффицианты гремели дюжинами тупоносых ножиков, исцарапанных золой и наждаком.

Такой работы хватало часов до двенадцати. Потом Самуэль заходил в квартиры и предлагал направить ножницы, бритвы, перочинные ножички, пока ему не надоедало подыматься по лестницам и пока к вечеру в кармане не набиралось около сотни центов. Этого было достаточно, чтобы пообедать в середине дня, а вечером пропустить в ресторанчике «Гейша» рюмку виски и с'есть дорогую, за двадцать центов, котлету.

Потом он шел на часок-другой к своей возлюбленной, Маргэрит. Она жила недалеко от Самуэля, возле бойни, где работала. Маргэрит была вполне независимым человеком, и ее друг был доволен, что ему не приходилось особенно тратиться. Он только баловал ее изредка яблоками или орехами.

В общем Самуэль был доволен судьбой. У него не было никого близких, кроме Маргэрит; он привык жить один. За день работы он успевал достаточно повидать и послушать людей, чтобы скучать о них. В его квартире жили рабочие из железнодорожных мастерских. Они торопились на работу в один час с Самуэлем; он видел, как они возвращались домой, измазанные и молчаливые от усталости. Но Самуэль не имел с ними связи. И хотя не было ни одного дня, чтобы Самуэль в один час с ними не вышел на работу, он все же считал себя более независимым человеком, чем они.

В общем он был доволен своей судьбой.

Сегодня ему повезло: он неожиданно заработал лишних двадцать центов: сто десять за точку и двадцать за... нос.

Да, за нос, потому что у Самуэля такой нос, которому удивляется весь город.

Немногим было известно его настоящее имя, но зато хорошо знали кличку «Флюгер». Если ему случалось оказаться в компании, то весельчаки непременно испытывали на нем свое остроумие, хотя за тридцать лет оно успело истощиться: трудно острить хорошо по одному и тому же поводу. Самуэль молчал и не обижался — он привык. Но в детстве его затравливали до слез. Заступаться за него было некому, и оттого вырос он замкнутым, нелюдимым, ни с кем никогда не делился горем или скупыми радостями. Да им никто и не интересовался.

Только ребятишки иногда бегали за ним по улицам, норовили зайти сбоку, чтобы подивиться диковинному носу. Они смотрели, как он точил, а когда им надоедало молчать, то отбегали в сторону и принимались по-детски жестоко издеваться:

— Продай нос на мотыгу...

— Какой ветер?

— Западный?

— Почему знаешь?

— Вон флюгер...

Самуэль давно перестал обращать внимание на мальчишек.

Сегодня ребята осмелились предложить ему:

— Самуэль, дай смерять нос. Самуэль дай... Мы ничего не сделаем...

У точильщика было хорошее настроение

— Не могу, — ответил он без злобы: — даром не могу.

Ребятишки предложили десять центов.

— Не могу... Такой нос дороже стоит...

Ребята собрали двадцать центов. Самуэль спрятал их в карман и нагнулся:

— Меряйте...

Ребятишки сперва с опаской приблизились к точильщику, попробовали закрыть нос ладонями: для этого понадобились руки двух малюток. Потом они перестали церемониться, хохотали, хлопали от радости в ладоши.

Чтобы не брать денег даром, Самуэль решил позабавить детишек: он повел носом во все стороны: орган оказался очень подвижным. Ребята не жалели двадцати центов. Один озорник нарушил сцену, пощекотав в носу грязным куриным пером. Самуэль выругался, чихнул. Детишки рассыпались в стороны. Им, видимо, стало жаль денег, и они принялись издеваться:

— Какой ветер?

— Южный...

— Где флюгер?

— Вон...

— Носорог, носорог...

Самуэль вскинул точило на левое плечо и двинулся к ресторанчику «Гейша».

Сегодня он выпил двойную порцию виски и, прежде чем итти к Маргэрит, набил карман орехами.

Веселый, покачиваясь, прибрел он к ее квартире, потянул дверь.

— Ушла, старая подошва. Я тебе задам сегодня жару...

Он прикурнул у двери и задремал. Сквозь сон он услышал смех и шумные движения в квартире. Дверь была по-прежнему заперта. Смех повторился — ее смех. Самуэль ударил, что было мочи, каблуком.

— Аааа!.. Вот как? Открывай! Я тебе покажу, подлая!.. Открывай же!

И он опять пнул в дверь с яростью, на какую был способен.

В распахнувшейся двери Самуэль узнал рыжего мясника с бойни.

Подогретый злобой и вином, Самуэль ничуть не испугался, он даже не попятился, а заорал:

— Ааааа... Это ты, рыжая собака! Я тебе!..

У него не хватало слов, чтобы обругать его как следует. Мясник шагнул к Самуэлю:

— Уходи, или я оторву в дверях твою нюхалку.

Он довольно ловко сцапал двумя пальцами его нос и так покрутил, что у Самуэля затуманились глаза. Не помня себя, Самуэль выхватил из кармана старые ножницы и ткнул как мог сильно в живот мясника.

Тот крякнул, зарычал, и через секунду Самуэль вылетел во дворик. Здесь на него обрушился сапог победителя. Самуэль пожалел, что у него нет бритвы, чтобы перерезать горло этому псу, и закричал во весь голос, пока еще мясник не успел убить его.

Орехи вылетели из кармана и хрустели под подошвами у озверевшего победителя.

Из соседних квартир прибежали люди, явился полисмен, скандалистов увели в полицию.

Утром мясник уплатил 20 долларов штрафу, а Самуэлю приказали выбраться из города в 24 часа: было доказано, что он покушался холодным оружием на жизнь свободного гражданина.

Буйная выходка молчаливого урода показалась очень опасной: ее поставили в связь с преступной наследственностью Самуэля. Отца его никто не знал, он был будто бы матросом и бесследно исчез. Мать приехала в этот городок с Самуэлем, когда ему было три года. Она работала прислугой в ресторане и пьяный хозяин будто бы зарезал ее за измену, — во всяком случае, она умерла в больнице «от несчастного случая». Она была очень красивой женщиной, но ее поведение отделяло ее от честных граждан, и соседи не хотели, чтобы их дети связывались с Самуэлем. Набожный хозяин ресторана купил для сироты точильный станок и поручил старику научить его работать. Этот ханжа счел, что сделал все необходимое для ребенка и для искупления греха. Самуэль скоро прошел выучку и стал работать один. Он только никогда не заходил в ресторан, где погибла его мать.

Судья знал биографию Самуэля и благоразумие подсказало ему, что лучше всего избавиться от опасного гражданина.

Днем Самуэль продал столик, два стула и безногую кровать; продал точило, чтобы не перевозить громоздкую вещь, и пошел проститься с Маргэрит.

Она стирала, когда он вошел к ней.

— Прощай, Маргэрит. Хоть ты и обманула меня, но я тебя люблю и зашел проститься.

— Куда же ты?

— Я уезжаю... может быть, навсегда...

И ему стало жаль себя.

— Ну, и с богом, Самуэль. Надо мной уже стали смеяться из-за тебя.

— Я пришел поблагодарить тебя, Маргэрит, за то, что ты меня любила. Меня больше никто не любил...

— Ну, иди, иди. А то я могу расплакаться...

Самуэль протянул руку, она вытерла свою от мыла, и они простились. Ее лицо стало грустным.

— Прощай... Да, а почему ты уезжаешь, Самуэль?

— Меня выслали за вчерашнюю драку с покушением на жизнь, — почти гордо произнес отвергнутый.

— Ну, я думаю, что мясник мне заменит тебя... У него недавно умерла жена... У него семь человек детей, и мне его жалко, Самуэль...

— Ладно... Ты уж ему об этом скажешь... Прощай...

Он почувствовал, что стал смелее со вчерашнего вечера. То, что его выселяют из города, подняло его в своих глазах. Это придало ему силы, чтобы спокойно продать имущество и с достоинством проститься с Маргэрит.

Он пошел на вокзал.

У него было восемь долларов на расход, двадцать на точило, которое он собирался купить на новом месте, и пять старых отточенных бритв: за них предлагали слишком дешево.

Сак, килограмм в десять, вмещал все пожитки гражданина Соединенных Штатов.

Он решил отправиться в Нью-Йорк: там, говорят, можно найти работу легче, чем где бы то ни было в мире... И если бы не Маргэрит, которую трудно заменить такой же снисходительной женщиной, то Самуэль нисколько не жалел бы городишко в штате Огайо... Ему вспомнилось сразу все, что перенес он здесь за свои двадцать восемь лет, и ничего не приобрел, кроме обидной известности.

Но когда тронулся поезд, и Самуэль взглянул на трубу паровозных мастерских, будившую его ежедневно в пять утра, ему стало нестерпимо больно и грустно. Он закрыл лицо руками.

II

— В Нью-Йорке для каждого найдется дело. Люди родят дело, дело требует еще людей, больше и больше... Их также надо кормить, поить, брить, для этого нужны снова люди, и так без конца.

Так растут города, и особенно, Нью-Йорк: он растет и вверх, и вширь. Страшно подумать, если будет землетрясение, он схоронит себя под камнем и бетоном... — так говорил Самуэлю сосед по вагону. Он, видимо, видел жизнь: его не особенно удивил даже нос спутника. Он только спросил просто.

— Это у вас, сэр, по ком такой нос? По отцу или по матери?

— Не знаю, — ответил равнодушно Самуэль: мать и отец, говорят, имели маленькие носы.

— Этого не может быть, сэр...

— Не могу сказать ничего больше...

— А большой...

— Что?

— Да нос ваш, сэр. В цирк с такой штукой можно.

Самуэль незаметно для себя погладил предмет разговора, заглянув на него справа и слева, поочередно закрывая один глаз, и согласился с соседом: большой, только в цирк вряд ли возьмут.

— Он мне не мешает, сэр.

— Весьма возможно.

Самуэль занялся своим мешком. Он достал бритвы, разложил их на коленях, стал проверять остроту. Он любил бритвы: он умел навести жало так, что волосок рассекался от удара об острие. Потом у них изящные ручки. Вот костяная женщина с вытянутыми руками...

Э-э-э... дружище. Да у вас целый клад, — оживился сосед, — если б я имел такое богатство, то я бы открыл в Нью-Йорке парикмахерскую...

Самуэль подумал и ответил:

— У меня нет средств на помещение и оборудование.

— Какое к чорту оборудование. Я говорю об уличной парикмахерской. Теперь тепло — потребуется тазик, стул и прибор для мыла. Я еду пока без дела и мог бы предложить компанию.

— Я хотел точить...

Эээ, точить. Парикмахерская выгоднее, уверяю вас.

Самуэль колебался. Он еще раз решил проверить нового знакомого.

— А вы хорошо знаете Нью-Йорк?

Сосед возбужденно заговорил:

— Еще бы. Я уже трижды был в нем почти богачом и трижды сбегал от долгов. Сейчас еду наверняка. С чего начать — все равно: для начала предлагаю парикмахерскую. Потом можно перейти на жевательные резинки. Я знаю прекрасный рецепт: подделка не отличается от патентованных... но для этого требуется подвал и кипятильники Папина.

Самуэль колебался. Но он ничего не терял от союза и, обдумав, согласился:

— Я согласен, сэр. Как вас зовут?

— Это все равно... Зовите Джоном...

Самуэль подал руку:

— Меня зовут Самуэль Курц.

— Хорошо... Надо выспаться, Курц, ложитесь. Завтра мы начнем работу...

Джон замолчал и скоро заснул. Самуэль тоже лег и закрыл глаза. На него опять напала тоска от неизвестного будущего. Он открывал глаза и повертывался к окну: плыла темная ночь, усыпанная звездами. И вместе с ночью плыла тревога. Танцовали столбы, деревья, хороводы огней. Грохотали встречные поезда и заставляли вздрагивать.

У Самуэля навертывались слезы от тоски, от одиночества, от жалости к себе, от того, что нет у него никого в мире, кто мог бы помочь ему. Отрыв от родного города заставил его думать обо всем этом. Он вспоминал всю свою жизнь. Мать его любила, она приносила ему из ресторана куски недоеденных пирогов, надкусанные фрукты. От нее часто пахло вином, и она, пьяная, жаловалась на что-то, плакала, ругалась. Вспомнил он несколько разговоров с соседом по жилью, который работал в железнодорожных мастерских. Самуэль слышал от него о стачке, о союзе, о рабочей кассе, но ему были чужды интересы железнодорожных рабочих, и сосед перестал его убеждать. Эти ребята помогали друг другу во время стачки и держались бодро и уверенно. А ему даже Маргэрит не сказала на прощанье ничего хорошего...

Тоска так защемила его, что он готов был разрыдаться. Он снова повернулся к окну. Так же плыла звездная, чужая ночь, и так же плыла с нею тревога.

III

На углу негритянского квартала новые друзья открыли парикмахерскую: два ящика от сигар заменяли столик, третий кресло.

Самуэль чувствовал себя отчаянно скверно, раскаивался, что подрался с мясником, вспоминал Маргэрит. Нью-Йорк испугал и придавил его. Они пронеслись по наземной дороге на окраину, и Самуэль успел только схватить невероятную сутолоку людей и машин внизу и многоэтажные стволы домов, уходящих в небо. Он ходил за Джоном, безвольный, как тень. Зато Джон не терялся: он смастерил даже вывеску из картонки.

Город рокотал рядом глухими подземными раскатами, пирамиды и башни домов, задернутые сизым туманом, казались чудовищными призраками и пугали Самуэля.

Он сперва не поверил в предприятие, и лишь когда они справились с двумя бородами негров и на столиках забренчала мелочь, он ободрился и улыбнулся Джону. Джон великолепно владел бритвой, и само собой установилось разделение труда: Самуэль разводил мыло, мыл кисточку и правил бритвы. Джон брил.

Безработные останавливались около них и с завистью смотрели: их руки стосковались по работе, но делать было нечего, и они просили милостыню, предлагая спички.

Негритянские детишки зажимали носы от хохота, разглядывая диковинный профиль Самуэля. Но ему было не до них.

Он не ожидал такого успеха: за три часа работы они имели больше, чем он зарабатывал прежде в день. Он повеселел.

Работа пошла бойко: брадобреи зарабатывали на приличный обед. Они сняли ночлег в подвале у негра Мака, и хозяин был очень доволен спокойным нравом белых квартирантов; он хвастался соседям их заработком и тем, что они хорошо ему платят. Этот дом кишел нищетой и всякий лишний цент казался счастьем.

Скоро Самуэль перестал жалеть, что бросил родину. Он уже стал подумывать о новой возлюбленной, которая заменила бы ему Маргэрит.

К Маку частенько заходила соседка Ада; она о чем-то шепталась со старухой Мака. Иногда они вслух разговаривали при нем и смеялись громко, поглядывая на Самуэля. Тот улыбался, хотя ни слова не понимал по-негритянски: ему нравились смоляные глаза Ады, крепкие плечи и руки. Он составил план действия: сперва он подарит ей бусы, потом еще что-нибудь, а потом... он будет с ней, как с Маргэрит... Бусы она уже получила.

Успехи ему казались столь щедрыми, что он не верил в их прочность. Ему хотелось только, чтобы ничего не изменилось больше. Он был снова доволен своей судьбой.

А Джон скоро заскучал.

Перед ним снова маячили планы разбогатеть во что бы то ни стало и разбогатеть навсегда. Он с презрением кидал в ящик серебряную мелочь, ему хотелось так же швыряться золотыми. Он теперь мало разговаривал с Самуэлем и замечал его не больше, чем сигарный ящик, на который садился в перерывы. Самуэля обижало такое отношение; конечно, он не умел брить так хорошо и быстро, как Джон... но, ведь, бритвы были его, и еще неизвестно, имел ли бы Джон что покушать, если бы не Самуэль.

Однажды Самуэль не выдержал, когда Джон, видимо забывшись, крикнул:

— Мыло, мальчик.

— Я вам не мальчик, сэр, — обиделся он: — и вы забываете, что предприятие мое...

Джон презрительно ответил:

— Ах ты, индюк... Ты же брить не умеешь... И без меня подох бы давно, как турецкая собака... Или торчал бы у дверей, как эти... Джон кивнул головой на группу тощих и оборванных безработных: они просили мылостыню, предлагая спички.

Самуэль вспыхнул, было, как тогда с мясником:

— Прошу быть осторожнее в выражениях, а то я...

Неизвестно, какие черты характера обнаружил бы в споре Джон, если бы их не отвлекло необычайное обстоятельство: из-за угла появились автомобили и остановились вблизи уличной парикмахерской.

Джону хотелось сообщить, что это машины для кинос'емки, но, еще полный презрения к Самуэлю, он промолчал.

Из автомобилей выпрыгивали странно одетые люди: Самуэль не видал таких широких костюмов.

Джон не выдержал:

— Чорт возьми. Я сам был когда-то акционером кинофирмы.

Толпа прохожих и детишек окружила машины.

Самуэль тоже загляделся.

В голубом автомобиле с золотой маркой «Меркурий» стояла женщина в ярко-желтом шарфе. Она разговаривала с высоким джентльменом. Потом показала пальцем в сторону Самуэля и бесцеремонно засмеялась.

Самуэль пригладил галстук, повел плечами и несмело улыбнулся в ответ. Белокурая лэди продолжала смеяться.

— Самуэль, мыла...

— А, чтоб тебе черти подали мыло... пробормотал он, — но вынужден был заняться делом. Джон притворялся равнодушным, как бы не замечая необычного на улице. Он придирался к Самуэлю, заставляя его править лишний раз бритвы.

Начиналась с'емка. Квартал был расчищен и по нему бегали и стреляли люди в странных костюмах.

Самуэлю нестерпимо хотелось смотреть, но Джон был неумолим:

— Самуэль, мыла... Подогрей воду...

Самуэль заметил, что к ним направляется высокий джентльмен, которому показывала на него лэди.

Он испуганно заговорил:

— Мы его откажемся брить, Джон... Слышишь, Джон?

— Не думаешь ли ты, что он даст нам уродовать свою рожу?

— Почему нет?

— Ты — идиот... Надо быть негром, чтобы бриться у нас...

Джентльмен приближался

Самуэль встретил его вежливо, смущенно улыбаясь:

— Мы не можем вас побрить, у нас нет одеколона, сэр...

— Откуда вы взяли, что я хочу бриться у вас? Чудак...

Джон дернул за полу Самуэля и что-то буркнул.

— Хотите заработать несколько сот долларов?

— Кто? Я? — растерялся Самуэль.

— Вы, — джентльмен ткнул пальцем на Самуэля: — я же с вами говорю.

— Каким образом?

У него загорелись уши.

— Мы заснимем вас в картине...

Самуэль поскромничал:

— Но я плохой артист, сэр...

Сэр рассмеялся:

— Ничего, приготовьтесь ехать, если согласны...

— Пожалуйста, я не против...

Джентльмен повернулся и пошел. Самуэль стал готовиться к от'езду. Он попросил отсчитать ему половину выручки. Потом осмотрел инструмент: оставил Джону две направленных бритвы, а три сложил в карман. Джон злился и молчал.

— Гудбай[1], Джон. Мы еще увидимся, наверное... Не испорти этих бритв... Правь сначала на оселке, а потом на ремне... И поворачивай, пожалуйста, через пятку, иначе собьешь жало... Гудбай...

— Ну, и валяй. Если б у тебя был такой же ум, как и нос, ты не поехал бы с ними...

Но Самуэль, кажется, уже не расслышал его слов...

Стрекотал аппарат. Режиссер кричал на операторов. Джон яростно шлепал бритвой по ремню. Он видел, как Самуэля усадили рядом с шофером в ту самую машину, из которой его заметила белокурая артистка. Она подошла и шофер предупредительно открыл дверцы.

Самуэль заметил у нее чистые и тонкие как перламутровые раковины ногти и такие же прозрачные ноздри. Он сидел и наблюдал за с'емкой, не смея ничего спросить у шофера, который, молча, сердито поглядывал на оборванца.

После с'емки его повезли в гостиницу «Глобус»: здесь фирма «Меркурий» имела квартиры для артистов.

Самуэль испытывал восторг от быстрой гонки, ему хотелось сделать что-то необычайное. Перед ними неожиданно вырастали автобусы, грузовики, и Самуэль боялся, что они сейчас разобьются вдребезги... Он чуть не вскрикивал от испуга. Но шофер каждый раз круто, но плавно огибал их. И Самуэль радостно трепетал.

[1] Прощай.

Сзади (ему казалось) за ним гнались сияющие глаза белокурой артистки в яркожелтом шарфе.

Что-то необычайно хорошее постигло его.

Что? Он не мог понять. Но ему было трудно сдерживаться от радости. Он оглянулся — лэди грубо захохотала.

В гостинице его поместили в отдельном номере.

— Пока вы будете жить здесь, — сказал ему режиссер, — по всем надобностям вызывайте прислугу, вот звонок. Располагайтесь.

Самуэль остался один и растерянно осматривал комнату. Он никогда не видел такой роскоши. Диван и кресла красного бархата занимали правый угол, в левом стояла высокая никелированная кровать, ковры на полу и на стене. Зеркала отражали его с трех сторон и подчеркивали убожество его одежды. Он несмело присел на краешек кресла и испуганно встал, когда в дверь постучали.

Вежливый бритый служитель провел его в ванную комнату, предупредительно показал, как пользоваться душем и кранами, а когда Самуэль помылся, то служитель помог ему одеться в новый серый костюм. Мягкий воротник сорочки и черный с красными пятнами галстук гладили шею.

Самуэль вернулся в комнату смелее. Он почувствовал себя даже как будто выше ростом. Он всю жизнь провел в своей комнатушке, отгороженной забором, и теперь ему вспомнился этот забор и приседания по утрам, чтобы увидеть небо... Ему показалось, что забор сломан, и на всю жизнь... Хорошо так... Но он все еще не понял — почему же его привезли сюда? Почему за ним ухаживают?

Трюмо подсказало ему: н о с...

Он вздрогнул...

Пока Самуэля мыли и одевали, о нем шла речь в соседнем номере

Режиссер фирмы Дени Ловер отличался необычайным уменьем угодить вкусам публики. Его комические фильмы знал весь свет: Париж и Токио, Рим и Пекин, Буэнос-Айрес и Архангельск.

Его комедии всегда поражали новизной сюжета и богатством приключений. Конкурирующие фирмы бешено завидовали его успехам. Он мог в любое время перейти к любой из них и получить там оклад на несколько тысяч в год больше. Это давало ему возможность быть независимым. Он выдрался «снизу» в режиссеры, растолкал локтями менее сильных соперников. Борьба за «счастье» сделала его грубым, жестоким и расчетливым.

Ловер умел простым подбором артистов заставлять зрителей смеяться. Он привозил из дальних штатов необычайных толстяков и самых тощих и длинных представителей человечьей породы, иногда всего для одной с'емки. И расходы неизменно покрывались.

Он знал, до чего падка публика на хорошенькие лица артисток и держал несколько бесталантных красавиц. Одна из них — Эдифь Фарли, заметившая Самуэля.

Правда, серьезная критика всего света не особенно лестно отзывалась о художественной глубине картины, но... количеством долларов измеряют деловые люди успехи фирмы, а не отзывами толстых журналов.

Режиссера Дена Ловера знал весь свет.

И это потому, что режиссер Ловер сам знал весь свет и умел брать жизнь за глотку.

Ему было достаточно взглянуть на Самуэля, чтобы моментально включить его в комический план.

— Надо заказать сценарий Гартли... пусть только увидит его сам. Он остряк и найдет применение его носу...

— Можно... Что же мы ему будем платить, мистер Ловер?

— Посмотрим... кормите и дайте пятьдесят долларов аванса... Этот дурень будет, как в раю — ему и не снилось, вероятно, ничего подобного.

Помощник Ловера расхохотался:

— Но это нечто потрясающее. Предельная величина. Я никогда не представлял себе ничего подобного...

Ловер добавил:

— Целое полено. Если верны женские приметы, то он должен быть пикантен.

— Ну, не отобьет же он у вас Фарли... Кстати — подкормить его жирами, или держать на острых блюдах?

Ловер распорядился:

— Минимум жиров. Максимум острого. Он должен быть худым, как Россинантэ [1].

— Я так и думал.

Ловер закончил:

— Поручите учить его жестам и мимике... Поручите Вильсону — этот кривляка ни на что больше не способен.

— Я так и думал.

— Хорошо.

IV

Первая комическая картина «Крайности не сходятся», в которой играл Самуэль, прошла довольно удачно. Это был грубый комический фарс, какими фирмы угощают неприхотливую публику «сверх программы». Гартли понимал, для кого делает сценарий и рассчитывал на внешние смешные положения героя с большим носом: Самуэль был так неразвит, что на серьезную игру рассчитывать было нечего.

Он снимался в роли влюбленного молодого человека. Собственно, играл не он, а нос, причинявший влюбленному большие неудобства: он не может поцеловать девушку, для этого ему приходится прибегать к тому, чтобы повернуть свою голову на один бок, голову девушки на другой. Девушке надоел такой неудобный кавалер, она издевается над ним, дергает его за нос и убегает.

Затем на него налетает куча ребятишек. Шалуны бьют его по носу, измазывают его сажей. Заканчивалось все тем, что нос влюбленного зажали в дверях, неудачник строит забавные рожи, стараясь освободиться.

Публика смеялась.

Дешевые газетки отметили нового комика. Один из проницательных рецензентов посоветовал артисту освободиться от влияния Паташона. Другой отмечал, наоборот, что у новичка есть «своя манера», которую нужно развивать дальше.

Ловер только улыбнулся, когда помощник показал ему сводку отзывов о картине. Ясно было одно: он не ошибся и на этот раз, взяв напрокат человека с улицы. Он решил использовать Самуэля еще для двух-трех с'емок.

Между тем Самуэль вовсе не играл, он просто делал то, что ему говорили. А так как он ни у кого не учился, то был не только свободен от шаблонов, он был просто неловок в игре: это и понравилось рецензенту, заметившему «свою манеру».

Фирма еще раз убедилась в изобретательности Ловера.

Самуэлю выплатили пятьдесят долларов. Он оказался так богат, что не знал, куда деть такие деньги, его кормили и одевали помимо этого. Ему захотелось повидать Джона — это было маленькое честолюбие. Он отправился на знакомый угол, где была их парикмахерская, но Джона там не нашел. Самуэль пошел в подвал к Маку.

Старик не узнал его в полутьме, он с ужасом отпрыгнул в угол конуры и упал на стул.

— Что с тобой, Мак? Чего ты испугался? — спросил дружелюбно Самуэль.

— Господи! — это ты Самуэль.

— Я—я! чего ты испугался, уж не подумал ли, что я пришел тебя ограбить или убить?..

Мак поднялся и потряс руку Самуэлю, он с суеверным страхом заговорил:

— Бог с тобой, Самуэль. Не говори таких слов... Видишь ли, на-днях залетели рядом к Рою куклукскклановцы и взяли его. Он кому-то из них ответил кулаком на оскорбление, и они вздернули его на нашем дворе. Они кричали, что он коммунист и кремлевская собака... Ох, Самуэль... мы боимся сейчас выходить из дому...

Самуэль спросил о полиции

— Полиция приходит защищать негров всегда слишком поздно... Ох, Самуэль, тяжело жить... Бедный Рой! Бедная Ада! Они хотели пожениться с ней...

Самуэль ничего не мог сказать утешительного. Он спросил о Джоне.

Оказалось, что Джон уже шесть дней не был дома, его пожитки Мак прибрал и предложил Самуэлю взять с собой. Самуэль отказался.

Пришла Ада — она лукаво улыбнулась Самуэлю смоляными глазами, и он уди-

[1] Кляча Дон-Кихота.

вился, как она могла нравиться ему, толстогубая и курносая...

Беднята влюбился в Фарли.

V

Ко второй картине его уже готовили: учили мимике, жестам, танцам и манерам держаться. Он присутствовал на репетициях и на с'емках и с тайной радостью любовался сиянием голубых глаз Эдифи Фарли.

Самуэль быстро развивался, незаметно для себя усваивал кой-какие знания. Он начал читать и неиспорченный школьной дреосировкой мозг жадно поглощал прочитанное. Вместе с этим он начал болезненно ощущать свою отсталость — это толкало его к работе над собой.

Время, когда он был доволен своей неприхотливой жизнью с ресторанчиком «Гейшей» и любовницей Маргэрит, — уходило безвозвратно. Серый костюм, ослепивший его в первые дни, не нравился больше — он был велик и широк в талии. У него разрабатывался вкус к одежде, к пище. В этой среде расходы измерялись десятками долларов, а не центами, и Самуэль стал мучиться от того, что не может так же небрежно швырять доллары. Успехи артистов измерялись полученными суммами. Все тянулись стать счастливцами. Десятки молодых людей вдыхали ежедневно аромат денег, растрачиваемых звездами экрана, и пьянели от желания сорить также деньгами. Успех — это деньги, деньги—значит успех.

Самуэль незаметно для себя потянулся за успехом. Ловер это великолепно учитывал и не стеснялся с уродом. Он предложил Самуэлю двести долларов за вторую с'емку. Режиссер заметил большие способности у новичка и у него рождались кой-какие планы в связи с этим.

Теперь Самуэль перестал быть самим собой. Его день был точно распределен: он учился в студиях, присутствовал на с'емках, репетировал.

Утром и вечером приходил опытный массажист и настойчиво добивался нужных форм и подвижности носа.

Двухнедельные массажи на вытяжку удлинили нос почти на 5 миллиметров. Упражнения на подвижность изощряли управлять нужными мышцами при полном спокойствии губ и щек. Самуэль научился втягивать одной ноздрей дамский шелковый платочек и выпихнуть его без всякого участия рук.

На ночь массажист надевал машинку и добивался, чтобы кончик носа приподнялся чуть кверху. Он заметил, что нос изменяется слишком медленно: Самуэль снимал прибор. Тогда массажист стал накладывать на машинку пломбу. Самуэль находился в ней до утра, как собака в дорогом наморднике.

Самуэль чувствовал постоянную тяжесть и жар в носу. Массажист дотрагивался обратной стороной ладони до кончика и был доволен: жар указывал на усиленный прилив крови и, следовательно, на рост органа.

Никто не интересовался переживаниями Самуэля и его мыслями. Артисты были поглощены борьбой друг с другом, деньги сделали их жадными и завистливыми, успехи одного рождали злобу десятков неудачников. Немногие получали огромные деньги — большинство рядовых артистов жило хуже, чем дрессированные собаки и лошади, за которыми ухаживали опытные специалисты. Жизнь была для этих артистов лотереей: каждый надеялся вытянуть счастливый номер. Решительные неудачники кончали жизнь самоубийством: так кончил с собой Вильсон, обучавший Самуэля. Вильсон был талантливым парнем, но Ловер не давал ему дороги, и за ним укрепилась кличка «Кривляка Вильсон». Он застрелился в клубе самоубийц. Никто не дрогнул от этого известия. Им не было дела друг до друга. Тем более никто не интересовался Самуэлем.

Они иногда шутили с ним — казалось артистам, издевались — казалось Самуэлю. Уродство стало угнетать его. Вдобавок его мучила Фарли. Самуэль тянулся к этому пустому цветку, торгующему с экрана улыбками. Каждый свой жест, выражение он примерял к тому: что сказала бы об этом Эдифь? Понравилось бы это ей? Она не знала, что Самуэль изучал ее вкусы, послушно следовал им.

Она стала вторым его разумом.

Самуэль не смел и подумать о том, чтобы сказать ей это. Только раз на ре-

петиции, когда она показалась ему почему-то доступной, он сделал отчаянную попытку не по-актерски, а по-настоящему поцеловать ее. По лицу Фарли пробежала гримаса отвращения, унизившая Самуэля. Он сжался как от удара и понял: безнадежная любовь.

Все это сделало его замкнутым еще больше. В нем по капле копилось огромное самолюбие и оно не могло быть здоровым. Он начал подчиняться формуле: человек человеку волк. Когда ему подвернулась книжка Лондона «Мартин Идэн», Самуэль трепетал, читая ее. Он поклялся себе также добиться славы и Фарли.

Он никогда не был так одинок, как теперь. Ему вспоминались иногда счастливые дни с Маргэрит, простяга Мак и хохотунья Ада... Но он не мог желать вернуться к ним — слишком далеко он ушел от них.

Самуэль подавал большие надежды. Ловер угадывал в нем крупный талант.

И когда он предложил Самуэлю заключить контракт, назначив сто долларов в месяц на первое время, Самуэль, конечно, согласился.

Пятый параграф контракта, заключенного фирмой «Меркурий» с артистом Самуэлем Курцем на десять лет, глухо гласил:

«Самуэль Курц со дня заключения настоящего контракта не имеет права без согласия фирмы прибегать к хирургическим операциям, изменяющим наружный вид артиста».

Самуэль не подозревал, какие возможности таит в себе этот параграф. Ему больше нравилось выражение: «наружный вид артиста». Именно — артиста.

Фирма со своей стороны обязывалась обучить его актерскому искусству.

Самуэлю показалось, что он выходит на дорогу славы.

Фирма не жалела теперь средств для рекламы.

Самуэль Курц становился знаменитостью.

Самуэль Курц становился доходным товаром фирмы «Меркурий».

VI

Ловер поражался успехам Самуэля, но он заметил, что в комических сценах у него иногда неуместно появлялись психологические выражения. Вместо комического страдания, рассчитанного на легкий смех, появлялись глубокие переживания, и Самуэль не в силах был их побороть.

Так врывалась в картину его подлинная жизнь, раздирающая его чувства и сознание. Прошел год, как он попал в новую среду. Чем выше становилось его развитие, тем острее чувствовал он унизительность своего положения, тем больнее становилась уродливость. Он доходил временами до отчаяния. И эта личная драма невольно врывалась в картины.

Ловер, кажется, понял, в чем дело.

Он решил испытать Самуэля в психологической драме «Вечное».

Сюжет был близок Самуэлю: молодой живописец страдает от того, что он некрасив.

Его талант признан всеми. Он любит художницу. Художница признает и ценит его талант, прекрасно относится к нему, как к другу, но любить не может. Она борется со своим «эгоизмом», но страсть уводит ее от талантливого художника к пустому красивому гуляке.

Художник кончает самоубийством. «Вечная» проблема не разрешима.

Самуэль не знал, что сценарий был написан специально для него.

Это была первая картина, в которой он не ломался, а серьезно, по-настоящему, мучился: художницу играла Фарли.

Она рабски следовала указаниям Ловера. Самуэль же сжигал себя в этой игре. Он чувствовал, что стареет от репетиций. За этот год жизни в новом мире его переживания так утончились, самолюбие так обострилось, любовь к Фарли так измучила его, что он близок к тому, чтобы на репетиции по-настоящему всадить себе нож в горло.

Ловер поступал жестко. Но как режиссер он поступал остроумно.

Критика находила картину удачной и серьезной. Игра Самуэля вызывала общее одобрение: он быстро шел к славе.

До выпуска картины «Вечное» о Самуэле писали только в театральных газетках, где кинофирма имела сеть рецензентов на жалованьи. Эти продажные гончие умеют интриговать публику и уводить ее внимание в сторону от больших общественных вопросов.

После «Вечное» заинтересовались личностью Самуэля: первым пронюхал о его сенсационной биографии репортер социалистической газеты «Свет».

Он застал Самуэля за завтраком. Представился.

Самуэль предложил:

— Не хотите ли кофе?

— Благодарю вас, — отказался репортер: он предпочитал заметить лишнюю подробность и лишний раз щелкнуть кодаком.

— Если позволите, я засниму вас за завтраком.

— Пожалуйста...

На него уставился светлый глаз об'ектива.

Затем пошли расспросы: где родился, история с матерью:

— А вы не думаете, что это была смерть на романической подкладке?

— Не знаю...

Репортер наглел и любезнейшим тоном выматывал; он был социалистом по убеждениям, но профессия требовала сенсационной добычи...

— Вы так любезны со мной, что я даже решаюсь спросить вас о некоторых интимных... (Он показал на портрет Фарли.) Это «она»?

Самуэль смутился. Он почувствовал себя догола раздетым.

— Как вам сказать... Я бы не хотел беседовать по этому поводу...

Репортер улыбнулся, совсем не обидившись, и что-то застенографировал.

— Простите... меня, собственно говоря, интересует главное — ваше отношение к социалистической партии.

Самуэль не знал ничего о социалистической партии. Репортер учуял это и подсказал:

— Вы, естественно, примыкаете по взглядам к партии, защищающей интересы трудового народа?

— Я плохо знаком с партиями...

— Но вы же не враг народа?

— Конечно.

Репортер застенографировал: «все симпатии на стороне социалистической партии».

Через день Самуэль получил «Свет» со статьей о себе. Социалистический орган писал:

«Самуэль Курц вышел из демократических низов... Романическая история матери и ее трагическая гибель.. Самуэль Курц унаследовал от матери темперамент и огромную эмоциональность... Вся трудовая жизнь напитала его ненавистью к угнетению... Американская демократия может гордиться, что, несмотря на социальные тормозы современного строя... Социалистическая партия укрепляет свои ряды за счет лучших... Он сохранил привычки простые и благородные, в его кабинете нет роскоши, костюм не претенциозен, манеры держаться простые»...

В газете были помещены фотографии:

1) Самуэль Курц завтракает.

2) Самуэль Курц дает интервью нашему корреспонденту.

3) Самуэль Курц смеется.

4) Кабинет Самуэля Курц (общий вид).

Репортер сделал четыре снимка — Самуэля это больше всего занимало: когда он успел? Ловкий парень...

Он оказался доволен статьей.

Фарли видела, как восхищенно горят глаза у Самуэля, когда он наблюдает за ней, и как он борется с собой, притворяясь спокойным, когда они играют вместе.

Ей показалось забавным видеть среди поклонников этого урода. Вдобавок, Ловер высказался о Самуэле, как об исключительной силе в будущем.

И она стала иногда приветливо улыбаться ему.

Самуэль стал надеяться...

Однажды Самуэлю приснилось, что он в больнице, что ему сделали операцию, он видит себя в трюмо и не узнает: у него прекрасный греческий нос.

Он проснулся в поту. Это была гениальная мысль: оперировать. Как он не подумал об этом раньше?

Он обдумал все и мысль эта показалась ему удивительно простой и возможной.

Он вышел на с'емку свежим и бодрым. Впервые смотрел всем в глаза, как равный.

Ловер сделал ему совсем мало замечаний и удивлялся смелости Самуэля. А он, озаренный недалеким будущим, в которое поверил, был сегодня счастлив и впервые радостно играл. Он не мог забыть свое тайное открытие, оно окрыляло и воодушевляло его, поэтому он так смело и вольно играл. Забор, отделявший небо и солнце, кажется упал, тюрьма душевная кончилась.

И вдруг, в тот момент, когда он начал хохотать, как полагалось по сценарию, он понял ужасный смысл пятого параграфа:

«Самуэль Курц со дня заключения настоящего договора не имеет права без согласия фирмы прибегать к хирургическим операциям, изменяющим наружный вид артиста...»

Он побледнел. Лицо судорожно передернулось с улыбки на ужас и он простонал.

Оператор остановил аппарат.

Ловер подскочил к нему с ругательством, но не решился его закончить: он испугался за Самуэля.

— Вы больны? Зачем же вы вышли, чорт возьми?

— Я здоров, мистер Ловер... это пройдет... у меня сильно закружилась голова.

«Чем они его кормят?» — подумал Ловер, а вслух сказал:

— Идите успокойтесь... Если нужно— вызовите врача.

Самуэль отправился в частную хирургическую лечебницу. Профессор рассказал ему, что операции с изменением форм носов практикуются, но что у Самуэля необходимо удалить часть носовой кости и потому лучше поехать в Париж ко всемирно известному специалисту-носологу. Американские хирурги вряд ли возьмутся за такую операцию.

Выяснилось также, что операция совершенно безопасна.

Самуэль вышел от профессора и с надеждой, и с горечью. Как попасть в Париж?

Он направился в бюро путешествий. Его уверили, что это дело очень легкое.

Он с музыкой в ушах возвращался в «Глобус».

Нью-Йорк бесновался, как обычно: улицы кишели автомобилями, по панелям метались толпы, воздух был залит нестерпимым грохотом движений, засорен дыханием машин, но Самуэль ничего сегодня не замечал. Ему казалось, что это не его нос торчит на костлявом лице. Он почувствовал себя уже отдельно от этой громадины...

На следующий день он снова играл с легким сердцем. До сих пор он мучительно переживал роль: это была его биография. И личные переживания мешали ему, стесняли движения, сковывали творчество.

Теперь он воспроизводил уже пережитое — так крепко свыкся он за эти сутки с мыслью, что скоро не будет уродом. Это позволяло ему освободиться от собственных мук, и он угадывал и передавал теперь чужие чувства. Он впервые играл: необходимое условие искусства. Ему было легко и радостно от своей игры. Картина обещала быть исключительно сильной.

Ловер поражался успехам новичка.

Самуэль перестал теперь тосковать: у него появилась забота скопить деньги, чтобы после с'емки уехать в Париж. Он имел четыреста долларов, нужно было, по крайней мере, еще шестьсот.

В эти несколько недель, пока шла с'емка, он скопил еще сто долларов.

Картину смонтировали. К просмотру ее Ловер приготовил сюрприз: артистам были выданы премии. Самуэля наградили 1000 долларов.

На следующий день он получил заграничный паспорт и ночью уехал в Париж.

VII

— Я должен предупредить вас, что операция сложная. Дело в том, что мы легко удаляем хрящ, но вы требуете такой операции, при которой необходимо уменьшить носовую кость. Может выйти не совсем удачно, и может понадобиться вторая операция...

— Делайте, профессор, хоть десять операций.

Профессор осмотрел нос с большой тщательностью: его удивила чрезмерно развитая сеть кровеносных сосудов: это осложняло операцию. Самуэль вынужден был рассказать о массажах и о том, что нос брали в машинку.

Профессор сердито бросил на стол лупу.

— Как вы могли им позволить? Средневековье какое-то... В век науки и техники, в век прогресса...

Профессор был либералом. Он прочел целую лекцию о прогрессе И еще раз возмутился:

— Как же могли позволить?

Самуэль не рассказал о контракте и о пятом параграфе.

Операция могла состояться не раньше, чем через десять дней. Ассистенты изучали нос Курца, просвечивали, фотографировали... Он относился к этому шутливо: уродливый нос был уже в прошлом...

Профессор устроил консилиум. Несколько хирургов обсуждали проблему уменьшения носовой кости.

Консилиум принял положительное решение.

Время шло очень медленно. Самуэлю было скучно в Париже. Он остерегался посещать людные места, чтобы его не узнали. Но у него не хватило выдержки — он проболтался.

В автобусе с ним заговорил господин, хорошо владеющий английским языком. Самуэля подкупила любознательность и задушевность голоса незнакомца.

— Вы не киноартист?

— Почему вы думаете? — взволнованно спросил в свою очередь Самуэль. Незнакомец ответил:

— Вы очень походите на талантливого американского киноартиста Самуэля Курца.

Самуэль не удержался: слишком приятно было слышать о себе от незнакомца. И он признался:

— Да, это я.

Они еще поговорили минуты две-три, и Самуэль незаметно для себя сообщил о цели приезда в Париж.

А на второй день он услышал на улице крики газетчика: «Знаменитый американский комик Самуэль Курц прибыл в Париж для операции носа».

У него задрожали ноги. Он купил газету и на второй странице увидал свой портрет. Вчерашний задушевный собеседник заснял его при выходе из автобуса.

Операция должна была состояться через два дня. Самуэль боялся, что может случиться несчастье: он переменил гостиницу, старался не показываться на улицу.

В назначенный день за час раньше срока пришел Самуэль к клинике. Последний час тянулся бесконечно долго. Наконец, одиннадцать. Он вошел с боязнью, что его заворотят. Но профессора не читали газет, кроме медицинских.

Его провели в комнату с мраморными столами, одели в чистейший белый халат. Сердце позволяло провести операцию под хлороформом.

Самуэля уложили на стол, он щупал ладонями холодный мрамор и это успокаивало. Голову прикрепили ремнями, затем руки, пояс и ноги. Стало нельзя двигаться.

Профессор успокаивал, хотя пациент не особенно волновался.

— Ничего, профессор, я спокоен. Меня волнует нетерпение скорее покончить с этим спутником...

— Мы тоже радуемся за вас... Закройте глаза...

Самуэль покорно зажмурился. У него кружилась голова, ему казалось, что он покачивается на лодке в ветреную погоду.

Ожидание утомляло и начинало раздражать.

Приглушенный шопот.

Только профессор резко приказывал:

— Спирт...

— Маску... Вентилятор... Скальпели.

— Спирт...

Было слышно, как кто-то моет руки.

У Самуэля кружилась голова от напряженного ожидания.

Время тянулось слишком медленно.

Кто-то вполголоса позвал:

— Профессор, вас просят...

— Через час, не раньше.

Профессор наложил маску: Самуэль вдохнул сладкий дурманный аромат.

— Профессор, вас требуют...

— Кто там?

— Префект полиции с иностранцем...

— Подождет...

— Он угрожает войти в зал...

— Обезьяны...

Либерал не долюбливал полицию.

Шарканье ног, грубые шаги.

У Самуэля слегка закружилась голова, но он слышит, как из граммофона, чистую английскую речь и плохой выговор профессора.

— Профессор, я вынужден остановить операцию. Нос господина Курца является собственностью кинофирмы «Меркурий». Фирма требует через консула, чтобы Самуэль Курц...

Самуэль вырвался из тумана: он дернулся так, что едва не опрокинулся со стола. Маска слетела.

— Так это не ваш нос? — подбежал к нему профессор.

Самуэль отчаянно закричал, не имея возможности двинуться:

— Как не мой нос? Как же не мой? Он сумасшедший. Мой. Мой это нос. Профессор, режьте его скорее.

— Ассистент освободил Самуэля от ремней. Самуэль вспрыгнул на пол и закричал, зарыдал, умоляя и угрожая:

— Как же не мой? Профессор, вы же видите? Выгоните его отсюда... Профессор... профессор... Это они издевались надо мной...

К горлу подступала тошнота.

Префект идиотски спокойно предложил:

— Идемте со мной. Прошу, не затруднять... Извините — повернулся он к профессору.

— Снимите же халат с него, — взвизгнул профессор.

Самуэль сопротивлялся.

Профессор торопился уйти в соседний кабинет: его либеральное сердце было возмущено.

Самуэль упал на пол от отчаяния и завыл, как зверь в капкане. Его вывели под руки, усадили в автомобиль.

VIII

За Самуэлем негласно наблюдал парижский агент фирмы «Меркурий». Он ехал в одной каюте вместе с Самуэлем.

Опасения его были напрасны: Самуэль держался удивительно тихо.

Агент «познакомился» с ним и оказывал спутнику всевозможное внимание.

Самуэль молчал.

Ел, пил, закрывал глаза — не то спал, не то не спал.

Спутник угощал его вином: после вина Самуэль засыпал.

И так всю дорогу.

Их встретил Ловер.

Самуэль не подал ему руки.

И Ловер не сказал ни слова.

Он показал на голубой автомобиль, в котором Самуэль увидел год назад Фарли.

Ловер был зол и молча молол челюстями.

Он проводил Курца в номер и вышел.

Самуэль сел в кресло к зеркалу. На него смотрел в упор похожий на прежнего Самуэля двойник с огромным носом на костлявом лице. У этого человека были пустые глаза.

Самуэль откинулся в кресле и машинально дернул туалетный ящик. В нем лежали три старых бритвы, которые он пожалел отдать Джону.

Так же машинально вынул бритву и привычным жестом попробовал жало. Это был жест профессионала-точильщика.

Он пересмотрел все три. Костяная ручка одной из бритв изображала вытянутую фигуру женщины. Лицо ее чем-то напоминало Эдифь Фарли. Самуэль поднял глаза: из зеркала на него уставились пустые глаза человека, похожего на него.

Он раскрыл лезвие, провел еще раз пальцем: жало ловило палец.

Затем он быстро схватил левой рукой конец носа и провел по нему бритвой.

Боли не было.

Он отбросил в сторону безобразный кусок.

В зеркало на него глянули страшные круглые глаза киноартиста.

Он запрокинул голову назад и с силой прочертил полукругом горло.

Боли не было.

Ему показалось, что совсем рядом загудел гудок паровозных мастерских в родном городе, он вскидывает станок на левое плечо и распахивает двери навстречу жидкому розовому утру. И забора нет против его окна.

А из-за угла его квартиры выглядывает родное лицо снисходительной Маргэрит...

Самуэль легко и свободно вздохнул всей грудью...

Кровь фонтаном била в зеркало.

(Техника) × (чутье)

«... Пчела постройкой своих восковых ячеек посрамляет некоторых людей-архитекторов. Но и самый плохой архитектор от наилучшей пчелы с самого начала отличается тем, что прежде, чем строить ячейку из воска, он уже построил ее в своей голове».

(К. Маркс).

По свидетельству «Капитала»
(В первом томе, в пятой главе),
Новый дом возникает сначала
В человеческой голове.
Хоть и карликовых размеров,
Но в законченном виде уже
Он родится в мозгу инженеров
И на кальковом их чертеже.
Чтобы ладить ячейку из воска,
Не выводит художник-пчела
Предварительного наброска,
Приблизительного числа.
Перед зодчим и насекомым —
Два пути и один под'ем
(Кто чутье заменяет дипломом,
Кто диплом заменяет чутьем...).
Ну, а ты, под напевы гармоник
Из деревни пришедший с пилой,
Кем ты будешь, товарищ сезонник, —
Архитектором или пчелой?
Строя фабрику, лазя по доскам
С грузом цемента и смолы,
Ты наполнил не медом, не воском
Переходы ее и углы.
Но, сложив их для ткани и пряжи,
В хитрый замысел ты не проник —
Ты, быть может, неграмотен даже,
Ловкий кровельщик, плотник, печник!
В одиночку, вслепую, поденно
Мы не выстроим ульев труда:
Надо техникой гнать веретена,
Надо книгой крепить города!
Видишь? — мед отдают первоцветы.
Видишь? — цифры бегут по столу.
Сочетай их обоих в себе ты —
Архитектора и пчелу!

Это — суша, а на море хлюпком
Кто-то кажет — «правей!» да «левей!»
Кто-то правит над каждым поступком,
Каждым жестом команды своей.
Раза в два веселей капитана,
Но безграмотней в двадцать два —
Небоящаяся тумана,
Недоступная бурям плотва.
Ну, а ты, чей льняной отворотец
Врезан мысом в холст голубой,
Кем ты будешь, матрос-краснофлотец, -
Навигатором или плотвой?
Видишь? — воду в чешуйчатых стаях
Руль распарывает по шву. —
Ты обоих в себе сочетай их —
Навигатора и плотву!

Это — море, а в газовых ямах —
Спор горючего с весом земным,
Превращенный в победу упрямых,
В высоту и невидимый дым.
В то же время взлетает не хуже
(Даже лучше) увесистый жук,
Вероятно, воспитанный в луже
И не кончивший курса наук.
Ну, а ты, самодельный моторчик
Запускающий детским рывком,
Кем ты будешь, мечтатель и спорщик—
Авиатором или жуком?
Видишь? — падают гордые Райты,
И глядит на них синь свысока.
Их обоих в себе сочетай ты —
Авиатора и жука!

Это — воздух, а в путанной сфере
Расстановки общественных сил

Мы — свой мир осознавшие звери,
Мы — совет мировых воротил.
В то же время под лиственной кучей,
Меж корнями — чего б? — ну, хоть ив,
Бессознательный, но могучий
Муравьиный живет коллектив.
Ну, а ты, позабывший о боге,
Притеснителей с'евший живьем,
Кем ты будешь, строитель двуногий,—
Гражданином или муравьем?

В этих двух государственных строях
Невозможны князья да графья —
Сочетай же в себе ты обоих —
Гражданина и муравья!

Так — трудящиеся народы —
Множим технику мы на чутье,
Так мы учимся у природы
И, учась, поучаем ее!

Марк Тарловский

Большевизм в борьбе за индустриализацию

С. Канатчиков

Многие истины, ставшие ныне достоянием широких масс, стоили большого труда, усилий, жертв при начале их возникновения и долгое время не могли получить признания, не редко даже в самых передовых слоях трудящихся. Да это и понятно, ибо теория становится руководством к действию после ее проверки. Указывая пути движения будущего, теория в то же время сама основывается на опыте и практике прошлого и на учете обстоятельств настоящего.

Больше трех десятилетий тому назад вождям и теоретикам нашей коммунистической партии во главе с тов. Лениным долгое время пришлось доказывать ту, кажущуюся ныне простою, истину, что наиболее ценные завоевания рабочего класса не совершаются стихийно, самотеком, а что для этого необходима сознательная, направляющая воля людей — передовых борцов рабочего класса. Предшественники современных правых оппортунистов, основатели теории самотека, «экономисты», при начале зарождения нашей партии долго и упорно доказывали, что рабочий класс не нуждается ни в каких помощниках и учителях, руководителях, а что он сам, самостоятельно, стихийно придет к сознанию необходимости бороться за идеалы социализма. И для настоящего момента они предлагали, они звали рабочих бороться за частичные, экономические улучшения, приглашали их обходиться без вождей и руководителей — выходцев не из пролетарской среды, меньше заниматься политикой, или совсем ею не заниматься, предоставив эту самую политику либералам. Приходя в умиление от того, что жандармам и полицейским не удается раздавить рабочее движение, они говорили: «Такой живучестью рабочее движение обязано тому, что рабочий сам берется наконец за свою судьбу, вырвав ее из рук руководителей» («Рабочая мысль», № 1 — орган экономистов).

Основой всего движения экономисты считали борьбу за повседневные ближайшие нужды рабочих: стачечные организации, различные кассы взаимопомощи экономисты считали «дороже для движения, чем сотни других организаций», т. е. революционных. Исходя из этого они ставили ставку, как они выражались, не на «сливки» рабочих, т. е. передовых сознательных рабочих, а на среднего, массового рабочего, или говоря другими словами — на стихийность, противопоставляя ее сознательности. «Политика всегда послушно следует за экономикой», — говорили они. Как будто предвосхищая нащих современных оппортунистов, не верящих в возможность построения социализма в нашей стране и высмеивающих призыв нашей коммунистической партии приносить жертвы в настоящем во имя будущего, родоначальники современного оппортунизма убеждали рабочих бороться за экономические нужды, ибо завоеванная копейка на рубль в настоящем ближе и дороже, чем всякий социализм и всякая политика, и пусть рабочие знают, что они борются «не для каких-то будущих поколений, а для себя и своих детей» («Рабочая мысль», № 1).

Этому оппортунистически - реакционному взгляду экономистов тов. Лениным была противопоставлена последовательно революционная, марксистская теория:

«История всех стран свидетельствует, что исключительно своими собственными силами рабочий класс в состоянии выработать лишь сознание тред-юнионистское, т. е. убеждение в необходимости об'единиться в союзы, вести борьбу с хозяевами, добиваться от прави-

тельства издания тех или иных необходимых для рабочих законов и т. п.» (Ленин. «Что делать?»).

В то время, когда даже в рядах наиболее передовой части революционной социал-демократии царило народнически-сентиментальное преклонение перед всяким рабочим человеком, эта высказанная тов. Лениным мысль казалась дерзкой, кощунственной.

«Учение же социализма выросло из тех философских, исторических, экономических теорий — доказывал Ленин далее оппортунистам — которые разрабатывались образованными представителями имущих классов, интеллигенции. Основатели современного научного социализма — Маркс и Энгельс — принадлежали и сами по своему социальному положению к буржуазной интеллигенции».

Ленин беспощадно и умело бичевал всех тех, кто плелись в хвосте рабочего движения, прописывали рецепты теоретические задним числом, философствовали и теоретизировали по поводу непреложных законов экономического развития. Или, переведя на современный язык практической политики, мы сказали бы, что экономисты все сваливали на «об'ективные условия».

«Всякое умаление социалистической идеологии, — продолжает Ленин, — всякое отстранение от нее означает тем самым усиление идеологии буржуазной. Толкуют о стихийности. Но стихийное развитие рабочего движения идет именно к подчинению его буржуазной идеологии»... ...«Поэтому наша задача, задача социал-демократии, состоит в борьбе со стихийностью, состоит в том, чтобы совлечь рабочее движение с этого стихийного стремления тред-юнионизма под крылышко буржуазии и привлечь его под крылышко революционной социал-демократии».

Эту мысль Ленин считает весьма важной и потому, не боясь повторений, на все лады вдалбливает в головы своим читателям — передовым рабочим. «Но почему же — спросит читатель, — продолжает Ленин, — стихийное движение, движение по линии наименьшего сопротивления идет именно к господству буржуазной идеологии? По той простой причине, что буржуазная идеология по происхождению своему гораздо старше, чем социалистическая, что она более всесторонне разработана, что она обладает н е и з м е р и м о большими средствами распространения».

Роль элементов сознательности в революционном движении особенно наглядно была подтверждена всем ходом революционного движения нашей революционной эпохи. Во многих странах, мы знаем, что революция потерпела поражение главным образом потому, что в ней был недостаточен элемент «сознательного», или говоря нашим современным языком — в этих странах в момент революционной борьбы отсутствовало руководство коммунистических партий, являющихся в наше время носителями или выразителями элемента сознательности. Особенно важное значение имеет элемент сознательного, умелого руководства нашей коммунистической партии в реконструктивный период социалистического строительства в нашей стране. Отсюда станет понятной и та ожесточенная борьба, ведущаяся под руководством Центрального комитета нашей коммунистической партии со всеми право- и «лево»-оппортунистическими элементами, пытающимися совлечь наше руководство с пути сознательного, планомерного вмешательства в хозяйственную и культурную жизнь страны на путь стихийности, самотека, ведущих к подчинению враждебным пролетариату идеологиям, а через них к реставрации капитализма.

Сделав это необходимое пояснение, мы попытаемся перейти к тому вопросу нашей современности, который является одним из основных — к вопросу о внедрении технических знаний в массы.

Вопрос об овладении техникой массами вовсе не является узкотехническим специальным вопросом профессионального обучения. Напротив, это один из основных вопросов освобождения трудящихся от господства анархических сил капиталистического развития, на котором долгое время зиждилось классовое господство и угнетение класса капиталистов над трудящимися массами. Это один из первых шагов к тому, чтобы освободиться от порабощения бездушной машины, перейти к овладению ею, дабы стать ее господином и повелителем. Этот переход к господству над орудиями труда стал впервые возможен лишь только после того, когда рабочие свергли класс капиталистов и установили диктатуру пролетариата.

Капиталистическое общество создало могучее средство господства над природой — машину, но, попав в руки капиталиста, эта ма-

шина вместо освобождения от тяжелой работы человечества принесла угнетение трудящимся. «Капиталистическое применение машин создает, с одной стороны, новые могущественные мотивы к безмерному удлинению рабочего дня и революционизирует самый способ труда и строй общественного рабочего организма таким образом, что сламывает всякое сопротивление этой тенденции к удлинению рабочего дня, — говорит Маркс. — С другой стороны, оно производит, — отчасти подчиняя капиталу раньше недоступные для него слои рабочего класса, отчасти оставляя без работы рабочих, вытесненных машинами, — избыточное рабочее население, вынужденное подчиняться законам, которые диктует ему капитал. Отсюда то замечательное явление в истории современной промышленности, что машина ниспровергает все моральные и естественные границы рабочего дня. Отсюда тот экономический парадокс (несообразность), что самое мощное средство для сокращения рабочего времени превращается в надежнейшее средство для того, чтобы все время жизни рабочего и его семьи обратить в рабочее время, предоставляемое капиталу для увеличения его стоимости» (Маркс, «Капитал», том I).

«Если бы, — продолжает Маркс, поясняя свою мысль — мечтал Аристотель, величайший мыслитель древности, — если бы каждое орудие по приказанию или по предвидению могло исполнить подобающую ему работу подобно тому, как создания Дедала двигались сами собой, или как треножники Гефеста по собственному побуждению приступали к священной работе, если бы таким образом ткацкие челноки ткали сами, то не потребовалось бы ни мастеру помощников, ни господину рабов».

Естественно, что рабочий класс в первый период своего зарождения долгое время не понимал, да и не мог понять революционизирующего и освобождающего человеческий труд значения машины. Они видели только лишь отрицательную сторону победоносного шествия машины, поэтому вся ненависть, вся злоба рабочего класса в ранний период его существования была направлена против машины. «С введением машин рабочий начинает бороться против самого средства труда, этой материальной формы существования капитала, — говорит Маркс. — Он восстает против этой определенной формы средств производства, как материальной основы капиталистического способа производства».

Возмущение рабочих против машин началось в Англии еще в XVII столетии. «В конце первой трети XVII века, — читаем мы в I томе «Капитала», — ветряная лесопильня, построенная одним голландцем, пала жертвой бунта черни. Еще в начале XVIII века лесопильные машины, приводимые в движение водой, лишь с трудом преодолевали в Англии сопротивление народа». Нередко даже изобретатели становились жертвой этой ненависти и несознательности рабочих. Изобретатель машины «Дженни» — Джемс Харгревс, должен был бежать из своего родного города Ноттингема от преследований толпы. Машина Аркрайта вызвала необычайные волнения среди народа; некоторые из построенных им фабрик были сожжены и разграблены. Другие рабочие, настроенные более миролюбиво, в количестве 50 тыс. чел. обратились против машины Аркрайта с петицией в парламент. Против разрушителей машин и фабричных зданий был издан суровый закон, грозивший смертной казнью; но это не остановило движения, которое принимает особенно бурный характер в конце 70-х годов (XVIII в.) в наиболее промышленном графстве Ланкастер. (Арк. А-н, «История рабочего движения».)

Вторая сильная вспышка возмущения против машин была в 1811 году, в один из наиболее тяжелых периодов в жизни английских рабочих. Вот что, например, рассказывает об этом движении один буржуазный английский журналист:

«Уже в 1811 году начались несогласия между фабрикантами чулок и кружев и рабочими в юго-западной части Ноттингемшира и соседних с ними частях Дербшира и Лейчестершира. Результатом этого было скопище рабочих близ Сетони и Ашфильде. Скопище это среди бела дня разрушило вязальные и кружевные машины фабрикантов. Некоторые из зачинщиков этих беспорядков были арестованы и наказаны, и волнения несколько улеглись. Но разрушение машин продолжало производиться секретно, где только представлялся к тому удобный случай».

В меньших размерах борьба рабочих против машин также проявилась и во Франции. Гнев бедствовавших рабочих обращался против машин. «Фактов разбивания машин, нападения на фабрики или беспорядков, связанных с введением машин в новых отраслях произ-

водства, полицией той эпохи с 1817 года отмечается много», — пишет один историк французской революции.

Революция 1830 года обманула ожидания рабочего класса, проливавшего кровь на баррикадах. Положение рабочих в то время во Франции не только не улучшилось, но еще больше ухудшилось вследствие кризиса и застоя в промышленности, и многие тысячи рабочих очутились на улице. «Безработные, — говорит Луи Блан, — толпами слонялись по городским площадям, покрытые лохмотьями, проклиная машины, отнимающие у них работу». Во многих промышленных центрах происходили бунты рабочих, восстания, во время которых рабочие разбивали машины, поджигали фабрики, считая их причиной своих бедствий.

В середине XIX столетия возмущение рабочих против машин происходило также и в Германии. В большинстве случаев это были голодные бунты, вспыхивавшие без определенного плана, без надежды на победу или успех исключительно лишь под давлением голода, нужды и отчаяния.

Самое большое из этих голодных восстаний произошло в 1844 году в Силезии и известно под названием восстания силезских ткачей. Доведенные до отчаяния нищенской платой, которую фабриканты немилосердно продолжали понижать, силезские ткачи обрушились на своих мучителей, стали громить фабрики, разбивать машины, разрушать дома фабрикантов, уничтожать их имущество. Высланные на помощь фабрикантам правительственные войска с беспощадной жестокостью расправились с рабочими, расстреляв многих из них, другие же были преданы суду и понесли тяжелые кары. Эта трагическая борьба силезских ткачей впоследствии послужила сюжетом для знаменитого драматурга Гауптмана, написавшего известную драму «Ткачи».

Значительно позже, в конце XIX столетия, в эпоху первоначального накопления капитала, самой жесточайшей эксплоатации капиталистами рабочих эти же возмущения происходили и у нас в России.

«Долго терпели рабочие все эти притеснения, — писал тов. Ленин в брошюрке «Законы о штрафах», — но по мере того, как более и более развивались крупные заводы и фабрики, особенно ткацкие, вытесняя мелкие заведения и ручных ткачей, — возмущение рабочих против произвола и притеснений становилось все сильнее. Лет десять тому назад (в 1886 году) в делах купцов и фабрикантов наступила заминка, так называемый кризис: товар не шел с рук; фабриканты несли убытки и стали еще сильнее налегать на штрафы. Рабочие, заработки которых и без того были плохи, не могли уже снести новых притеснений, и вот в губерниях Московской, Владимирской и Ярославской начались в 1885—86 годах рабочие бунты. Выведенные из терпения рабочие прекращали работу и страшно мстили притеснителям, разрушая фабричные здания и машины, иногда поджигая их, избивая администрацию и т. п.».

Несмотря на то, что на этих фабриках в огромном своем большинстве рабочие были из крестьян, очень невзыскательны, нетребовательны, однако и им стало невмоготу. Особенно в этом отношении была замечательна стачка на фабрике Саввы Морозова. Возмущенные рабочие, вероятно, не оставили бы от нее и камня на камне, но во главе стачки стоял известный в истории рабочего движения рабочий-революционер Моисеенко, который с небольшой группой сознательных рабочих внес элемент сознательности в это стихийное движение.

Таковы первые шаги борьбы рабочего класса с гнетом капитала.

На следующих этапах рабочее движение не сопровождалось разгромом фабрик, ломкой машин и поджогами. Оно вошло в более организованное русло. Наиболее передовая часть рабочего класса, усвоившая идеи Маркса и Энгельса, стала отлично понимать, что дело не в машинах, что не машина сама по себе как таковая является врагом рабочего класса, а тот капиталистический строй, который отдает в руки капиталистов владение средствами производства, и лишь свергнув господство капитала, отняв у капиталистов средства производства, рабочие смогут поставить их на служение трудящимся.

«Машина, — говорит Маркс, — с одной стороны, была одним из могущественнейших орудий деспотизма и эксплоатации в руках капиталистов. С другой стороны, развитие машинной техники является необходимым условием для создания действительно общественной системы производства. Машины лишь тогда сослужат рабочему действительную службу, когда более справедливая организация общества передаст их в его собственность».

У нас в России родоначальникам и основателям нашей коммунистической партии приходилось одновременно бороться за правильные взгляды на роль машины с народниками, идеологами тогда еще боровшейся с самодержавием буржуазии в лице Петра Струве, и наконец с экономистами, этими прихвостнями буржуазии и предтечами меньшевизма. В 90-х годах идеологи выродившегося народничества, испуганные бурным ростом капитализма в России, намеренно закрывали глаза на роль и значение машинной индустрии. Для них попрежнему человеком будущего общества являлся мужик-крестьянин, общинник, а ячейка будущего социалистического общества — крестьянская община. Торговый капитал вносил разложение в общину, превращая одних в бедноту и батраков, а других выделяя в кулаков, эксплоататоров, деревенских мироедов, кровопийц, народники были против капитализма вообще, а следовательно и против машинной индустрии. Народничество боялось внедрения техники в земледелие, ибо оно считало, что этот прогресс неизбежно повлечет за собой обуржуазивание деревни. Пускай лучше крестьяне продолжают застывать в своей рутинной, патриархальной форме быта, чем расчищать дорогу для капитализма в деревне — приблизительно так можно было формулировать взгляды народников того времени.

Народники упорно хотели верить в несуществующее сфантазированное ими развитие России без капитализма, но капитализм делал свое дело, разрушая старые патриархальные порядки, а вместе с ними и народнические иллюзии.

«Лучше застой, чем капиталистический прогресс, — такова в сущности точка зрения каждого народника на деревню», — писал тов. Ленин, формулируя отчетливо путаные высказывания народников.

Возражая народникам, тов. Ленин писал, излагая точку зрения Маркса: «Машинная индустрия является гигантским прогрессом в капиталистическом обществе не только потому, что она в громадной степени повышает производительную силу и обобществляет труд во всем обществе, но также потому, что она разрушает мануфактурное разделение труда, делает необходимостью переход рабочих от одних занятий к другим, разрушает окончательно отсталые патриархальные отношения, в особенности в деревне, дает сильнейший толчок прогрессивному движению общества, как по указанным причинам, так и вследствие концентрации индустриального населения. Прогресс этот сопровождается, как и все другие прогрессы капитализма, также и «прогрессом» противоречий, т. е. обострением и расширением их» (Ленин, том XI, стр. 52).

Некоторые из народников были вынуждены признать, что машина повышает производительность труда, но машина связана с капитализмом, а потому они были против прогресса техники, стремясь постоянно эту свою реакционную мысль всячески завуалировать громкими фразами о «прогрессе» и о «народном производстве».

Идеологи либеральной буржуазии — Петр Струве, С. Булгаков и Туган-Барановский, в то время пытавшиеся совлечь марксизм с его революционного пути, тоже стояли за развитие капитализма, за прогресс техники и т. п., но они, как потом их разоблачил Ленин, хотя и боролись вместе с революционными марксистами против реакционного народничества, сами же являлись простыми апологетами капитализма. Доказывая преимущества развития капитализма против реакционных народнических теорий, они в то же время увековечивали существование капиталистического строя, как наиболее совершенного, и выбрасывали за борт классовую борьбу пролетариата, необходимость его организации в самостоятельную классовую партию и т. д.

Таким образом, как впоследствии и оказалось, для этих идеологов буржуазии капитализм являлся самоцелью, а их прежние марксистские увлечения являлись лишь желанием использовать пролетариат для капитализма в качестве орудия против самодержавия.

Экономисты, а впоследствии и его продолжатели — меньшевики — по сути дела были агентами буржуазии в рядах рабочего класса. Вот почему Ленин с такой беспощадностью клеймил и разоблачал шатания и часто неоформленные, либерально рабочие взгляды экономистов, а затем и меньшевиков.

С пришествием революции 1905 года теоретическая борьба с меньшевиками из области отвлеченных споров была перенесена на практическую почву. Меньшевики тоже стояли за «прогресс», за развитие капитализма в России, они тоже боролись с народническими утопиями, а затем вместе с ними боролись против партии социал-революционеров, или «социал-реакционеров», как их справедливо называл

Плеханов. Но меньшевики, будучи по природе своей лишь прихвостнями буржуазии, боялись роста революционного движения, боялись развертывания классовой борьбы, боялись широкого крестьянского движения, неизбежно сопровождавшегося разгромами и поджогами помещичьих имений. Таким образом, на деле меньшевики не содействовали индустриализации нашей страны, а скорее ей противодействовали своей поддержкой либеральной буржуазии, которая в свою очередь стремилась не к уничтожению остатков крепостничества, не к конфискации помещичьих земель, не к расчистке поля для внедрения промышленной техники в земледелие, а к соглашению с крепостниками-помещиками для совместной безмерной эксплоатации широких крестьянских масс, а следовательно и к задержке прогресса как в земледелии, так и в промышленности. Вот как оценивал тов. Ленин в «Двух тактиках социал-демократии в демократической революции» взгляды экономистов и меньшевиков:

«Экономисты заучили, что в основе политики лежит экономика, и «поняли» это так, что надо принижать политическую борьбу до экономической. Новоискровцы (меньшевики) заучили, что демократический переворот имеет в экономической основе своей буржуазную революцию, и «поняли» это так, что надо принижать демократические задачи пролетариата до уровня буржуазной умеренности, до того предела, за которым «отшатнется буржуазия». Экономисты под предлогом углубления работы, под предлогом рабочей самодеятельности и чисто классовой политики, — на деле отдавали рабочий класс в руки либерально-буржуазных политиков, т. е. вели партию по пути, об'ективное значение которого было именно таково. Новоискровцы под теми самыми же предлогами на деле предают буржуазии интересы пролетариата в демократической революции, т. е. ведут партию по пути, об'ективное значение которого именно таково. Экономистам казалось, что главенство в политической борьбе не дело социал-демократов, а собственно дело либералов. Новоискровцам кажется, что активное проведение демократической революции не дело социал-демократов, а собственно дело демократической буржуазии, ибо руководство и первенствующее участие пролетариата «ослабит размах» революции».

Последний процесс меньшевиков-интервентов, вредителей, только лишний раз подтвердил оценку меньшевиков, данную тов. Лениным почти три десятка лет тому назад. Меньшевики, таким образом, оказались в силу своей мелкобуржуазной природы самыми крайними реакционерами в области хозяйства и самыми злейшими врагами рабочего класса.

Было бы трудно отделить вопросы борьбы за индустриализацию нашей страны от общеполитических вопросов классовой борьбы и правильного руководства нашей коммунистической партии за наиболее правильный путь развития нашей революции вообще. Но мы все же попытаемся подчеркнуть эти специальные вопросы, поскольку они в процессе борьбы с различными оппортунистическими течениями в рядах нашей партии возникали.

Наиболее долго и упорно руководству нашей коммунистической партии пришлось вести борьбу против троцкизма. Во все периоды этой борьбы в области хозяйственных вопросов троцкизм пытался занять самую левую позицию и рядиться в тогу крайних индустриалистов. Но когда приходится более детально анализировать существо «сверхиндустриализма» троцкистов, то на поверку при соприкосновении с действительной практикой всегда получалось так, что этот «сверхиндустриализм» оказывался или простой фантастикой, не связанной с реальными условиями, или же политическим авантюризмом. Так, например в 1923 году Троцкий предлагал проведение жесткого плана установления «диктатуры промышленности». План этот, как водится, ни с какой реальной действительностью связан не был и поэтому легко был разоблачен. Перед XV с'ездом троцкисты выступают с проектом «сверхиндустриализации», но опять-таки и эти проекты оказались зданием, построенным на песке. Вот какую характеристику троцкизму дает на XVI с'езде тов. Сталин:

«О троцкистах существует мнение, как о сверхиндустриалистах. Но это мнение правильно лишь отчасти. Оно правильно лишь постольку, поскольку речь идет о конце восстановительного периода, когда троцкисты действительно развивали сверхиндустриалистские фантазии. Что касается реконструктивного периода, то троцкисты с точки зрения темпов являются самыми крайними минималистами и самыми поганенькими капитулянтами».

Далее т. Сталин в своей речи сравнивает предложение троцкистов о вложении в госу-

дарственную промышленность, по которому получается потухающая кривая линия, и противопоставляет ей большевистскую действительную картину подымающейся кривой. «Известно, — говорит далее тов. Сталин, — что Троцкий специально защищает эту капитулянтскую теорию потухающей кривой в своей книжке «К социализму или к капитализму». Он прямо говорит там, что так как «до войны расширение промышленности в основе своей состояло в постройке новых заводов», а «в наше время расширение в гораздо большей степени состоит в использовании старых заводов и загрузке старого оборудования», то «естественно, следовательно, если с завершением восстановительного процесса коэфициент роста должен будет значительно снизиться», причем он предлагает «в ближайшие годы поднять коэфициент промышленного роста не только в 2, но и в 3 раза выше довоенных 6%, а может быть и более того».

Итак, трижды шесть процентов годового прироста промышленности. Сколько же это составит? Всего 18% прироста за год. Стало быть, 18% годового прироста продукции госпромышленности составляет, по мнению троцкистов, тот наивысший предел планировании ускоренного темпа развития в период реконструкции, к которому нужно стремиться как к идеалу. Сравните теперь эту крохоборческую мудрость троцкистов с тем действительным приростом продукции, который имем мы за последние три года (в 1927/28 — 26,3%, 1828/29—24,3%, 1929/30—32%), сравните эту капитулянтскую философию троцкистов с наметкой контрольных цифр Госплана на 1930/31 г. в 47% прироста, который превышает наивысшие темпы прироста продукции в восстановительный период, — и вы поймете всю реакционность троцкистской теории «потухающей кривой», всю глубину неверия троцкистов в возможность реконструктивного периода.

Вот где причина того, что троцкисты поют теперь о «чрезмерности» большевистских темпов развития промышленности и колхозного строительства.

Вот где причина того, что троцкистов не отличишь теперь от наших правых уклонистов.

Понятно, что, не разгромив троцкистско-правоуклонистской теории «потухающей кривой», мы не могли бы развернуть ни действительного планирования, ни повышения темпов и сокращения сроков строительства. Чтобы руководить проведением в жизнь генеральной линии партии, чтобы исправлять и улучшать пятилетний план строительства, надо было прежде всего разбить и ликвидировать реакционную теорию «потухающей кривой».

ЦК так и поступил, как я уже говорил выше».

Следует коротко упомянуть о «рабочей оппозиции», которая шумно выступила сначала на X, а затем и на XI партийных с'ездах, тоже облачаясь в одеяние «сверхиндустриализаторов» и как бы предвосхищая выступления оппозиционного блока во главе с Троцким. «Рабочая оппозиция» выдвинула против партии обвинение, что партия «не поднимает крупную государственную промышленность», ЦК партии не относился с достаточным вниманием к нуждам и положению промышленного пролетариата. «Рабочая оппозиция» выдвигала в числе других тезис о том, что «организация управления народным хозяйством принадлежит всероссийскому с'езду производителей, об'единяемых в профессиональные и производственные союзы, которые избирают центральный орган, управляющий всем народным хозяйством».

Ленин в свое время дал резкую отповедь «рабочей оппозиции» и справедливо охарактеризовал эту группу, как синдикалистскую. Вот что он писал в статье «Кризис партии»:

«Синдикализм передаст массе беспартийных рабочих, разбитых по производствам, управление отраслями промышленности («главки и центры»), уничтожая тем самым необходимость в партии, не ведя длительной работы ни по воспитанию масс, ни по сосредоточению на деле управления в их руках всем народным хозяйством».

Индустриализм «рабочей оппозиции», как видим, был весьма сомнительного свойства.

«Рабочая оппозиция, — пишет тов. Бубнов в «Большой Советской Энциклопедии», — находила известный отклик и в рабочих массах, где она базировалась на цеховых настроениях более отсталой части рабочих — настроениях, питавшихся тяжелейшим материальным положением».

Наиболее опасными противниками индустриализации нашей страны явились правые оппортунисты, возглавляемые Бухариным, Рыковым, Томским. Опасность правого оппортунизма состоит главным образом в том, что их

взгляды, их теоретические обобщения и системы находят широкий отклик среди последних остатков класса капиталистов в нашей стране — многочисленного кулачества, ликвидация которого происходит в настоящее время на базе массовой коллективизации. Правый оппортунизм по сути дела являлся кулацко-капиталистической агентурой в нашей коммунистической партии. В лице его эти остатки капитализма имели как бы нелегальное представительство в рядах нашей партии.

Правый оппортунизм вследствие того, что встречал в нашей партии с самого начала своего появления решительный и беспощадный отпор, чрезвычайно робко, неотчетливо, сбивчиво, часто неясно формулировал свои взгляды. Вообще говоря, эта неясность и неустойчивость является отличительной чертой всякого оппортунизма. Об этом постоянно говорил т. Ленин. Но все же является возможным определенно формулировать взгляды правых оппортунистов. Основное у правых оппортунистов то, что их сближает с троцкистами — это неверие в возможность построения социализма в нашей стране. Впрочем оговоримся: на словах они верят, но действие и поведение их находится в вопиющем противоречии с их словесными заявлениями. Правые оппортунисты, как говорил тов. Сталин на XVI с'езде «не хотят признавать, что всемерное развитие индустрии является ключом преобразования всего народного хозяйства на началах социализма. Они не хотят признавать непримиримой классовой борьбы с капиталистическими элементами и развернутого наступления социализма на капитализм. Они не понимают, что все эти пути и средства являются той системой мероприятий, без которых невозможно удержание диктатуры пролетариата и построение социализма в нашей стране. Они думают, что социализм можно построить втихомолку, самотеком, без классовой борьбы, без наступления на капиталистические элементы. Они думают, что капиталистические элементы либо сами отомрут незаметно, либо будут врастать в социализм. А так как таких чудес в истории не бывает, то выходит, что правые уклонисты скатываются на деле на точку зрения отрицания возможности построения социализма в нашей стране. О правых уклонистах нельзя также говорить, — продолжает тов. Сталин, — что они отрицают также возможность вовлечения основных масс крестьянства в дело построения социализма в деревне. Нет, они ее признают, и в этом их отличие от троцкистов. Но признавая ее формально, они вместе с тем отрицают те пути и средства, без которых невозможно вовлечение крестьянства в дело построения социализма. Они не хотят признавать, что совхозы и колхозы являются основным средством и столбовой дорогой вовлечения основных масс крестьянства в дело построения социализма. Они не хотят признавать, что без проведения в жизнь политики ликвидации кулачества как класса невозможно добиться преобразования деревни на началах социализма. Они думают, что деревню можно перевести на рельсы социализма втихомолку, самотеком, без классовой борьбы, путем одной лишь снабженческо-обытовой кооперации, ибо они уверены, что кулак сам врастает в социализм. Они думают, что главное теперь не в высоких темпах развития индустрии и не в совхозах и колхозах, а в том, чтобы «развязать» рыночную стихию, «раскрепостить» рынок и «снять путы» с индивидуальных хозяйств вплоть до капиталистических элементов в деревне. Но так как кулак не может врасти в социализм, а «раскрепощение» рынка означает вооружение кулачества и разоружение рабочего класса, то выходит, что правые уклонисты на деле скатываются на точку зрения отрицания возможности вовлечения основных масс крестьянства в дело построения социализма.

Этим собственно об'ясняется тот факт, что свои петушиные бои с троцкистами правые уклонисты обычно увенчивают закулисными переговорами с троцкистами насчет блока с ними. Основное зло правого оппортунизма состоит в том, что он разрывает с ленинским пониманием классовой борьбы и скатывается на точку зрения мелкобуржуазного либерализма.

Не может быть сомнений, что победа правого уклона в нашей партии означала бы полное разоружение рабочего класса, вооружение капиталистических элементов в деревне и нарастание шансов на реставрацию капитализма в СССР».

Мы извиняемся за чрезмерно длинную выписку из речи тов. Сталина, но полагаем, что сделать это было необходимо потому, что она отчетливо, ясно, по-ленински формулирует основные позиции правого оппортунизма. Как видит читатель из этих формулировок, позиции правого оппортунизма являются самыми реакционными и антииндустриалистскими. Поэтому нет ничего удивительного в том, что вредители из «Промпартии», кондратьевцы и

меньшевики-интервенты не только возлагали на правых оппортунистов свои надежды в смысле углубления раскола, а тем самым и ослабления рядов нашей партии, но тяготели к ним и подсказывали им свои контрреволюционные формулировки и политическую линию, а порой и практическое проведение ее.

Благодаря умелому руководству нашей партии борьба с оппортунизмом, правым и «левым» уклонами, была перенесена из области отвлеченной теории в область повседневной практики и стала достоянием наиболее передовой части рабочих и колхозников.

Когда недостаточно решительно проводится в жизнь промышленно-финансовый план на фабрике или заводе, когда нерешительно борются с капиталистическими элементами в городе, когда рабочий недобросовестно относится к своим обязанностям, когда прогульщики и лентяи срывают проведение промфинплана, когда руководство в деревне проводит недостаточно решительно коллективизацию и проявляет терпимость и попустительство к кулачеству, — то все это рабочие и колхозники рассматривают как правый уклон на практике, оппортунизм, примиренчество и т. п.

Все эти методы борьбы с врагами партии и рабочего класса вошли в быт, в производство рабочих и колхозных масс и являются могучим орудием в борьбе за социалистическое строительство.

Следует еще сказать несколько слов о право-левацком блоке Сырцова-Ломинадзе, который по сути дела являлся выражением настроений мелкобуржуазных интеллигентских группочек, испугавшихся широты и размаха нашего социалистического строительства и сопряженных с этим опасностей и трудностей. Группа Сырцова-Ломинадзе в неясных, неотчетливых ноющих и брюзжащих формулировках выражала свое недовольство руководством нашей коммунистической партии, брюзжала на его якобы «недальновидность», «ползучий эмпиризм», преувеличивала наши недостатки и неумение отдельных работников на местах руководить строительством. Таким образом, обобщая и раздувая отдельные теневые стороны нашего строительства, право-левацкий блок приходил к тем же по существу выводам на практике, к которым пришли до них правые оппортунисты и троцкисты.

Право-левацкий блок лишний раз наглядно подтвердил ту истину, которая высказывалась неоднократно тов. Лениным, а за ним и тов. Сталиным, что в борьбе против правильной линии нашей партии в конечном результате правые и «левые» оппортунисты приходят к одним и тем же результатам, и разница между ними стирается.

Задолго до нашего времени Маркс и Энгельс великолепно изучили механику производства и распределения в капиталистическом обществе. Они не только указали пути развития капиталистического общества, его противоречия, борьбу классов, неизбежный приход к социализму, т. е. к обществу, организованному планомерно, но и сами активно участвовали в практической, повседневной борьбе рабочего класса, ведя беспощадную борьбу с буржуазией и принимая активное участие во всех не только крупных, но и мелких столкновениях труда с капиталом. Уже и в то время они не только отрицали капиталистическое общество, но и противопоставляли ему свои идеалы в лице планомерной организации общества будущего. Основу будущей организации они видели в унаследовании от старого капиталистического общества крупной машинной индустрии, планомерно организованной, являющейся основой развития будущего человеческого общества.

Вот что писал Ф. Энгельс в «Диалектике природы».

«В самых передовых промышленных странах мы смирили силы природы, поставив их на службу человечеству; мы благодаря этому безмерно увеличили производство, так что теперь ребенок производит больше чем раньше сотня взрослых людей. Но каковы же результаты этого роста производства? Растущий прибавочный труд, растущая нищета масс и каждые десять лет огромный крах. Дарвин не понимал, какую он написал горькую сатиру на людей и в особенности на своих земляков, когда он доказал, что свободная конкуренция, борьба за существование — прославляемая экономистами, как величайшее историческое завоевание—является нормальным состоянием животного мира. Лишь сознательная организация общественного производства, в которой происходит планомерное производство и потребление, может поднять людей над прочими животными в общественном отношении так, как их подняло производство вообще в специфическом смысле. Благодаря общественному развитию подобные организации становятся с каждым днем все возможнее. От нее будет датиро-

вать новая историческая эпоха, в которой люди, а вместе с ними все отрасли их деятельности, и в частности естествознание, сделают такие успехи, что все совершенное до того покажется только слабой тенью».

Это предсказание Энгельса не было пророческой фантастикой, а логическим выводом, с необходимостью вытекавшем из изучения им законов развития капиталистического общества.

Один из самых гениальных учеников Маркса и Энгельса — Ленин, в свое время изучивший творения своих учителей, организовавший победу пролетариата у нас в России в Октябре, эти взгляды Маркса и Энгельса, как только явилась малейшая возможность после окончания гражданской войны, с непоколебимой верой в успех и со свойственной ему энергией приступил к проведению в жизнь. Приводим план Ленина об электрификации нашей страны:

...«Мы знаем, что коммунистическое общество нельзя построить, если не возродить промышленности и земледелия, причем надо возродить их не по-старому. Но возродить их на современной, по последнему слову науки построенной основе.

...Вы прекрасно понимаете, что к электрификации неграмотные люди не подойдут и мало тут одной грамотности. Здесь недостаточно понимать, что такое электричество, надо знать, как технически приложить его и к промышленности, и к земледелию, и к отдельным отраслям промышленности и земледелия. Надо научиться этому самим, надо научить этому все подрастающее трудящееся поколение. Коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны.

...В связи с этим на С'езде советов поставлен доклад по электрификации России для того, чтобы единый хозяйственный план восстановления народного хозяйства, о котором мы говорили, установить со стороны техники. Если не перевести Россию на иную технику, более высокую чем прежде, не может быть и речи о восстановлении народного хозяйства и о коммунизме. Коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны, ибо без электрификации поднять промышленность невозможно. Эта задача длительная, не менее как на 10 лет под условием привлечения к этой работе массы техников, которые дадут С'езду советов целый ряд печатных документов, где разрабатывается детально этот план. Меньше чем через 10 лет, мы не можем осуществить основы этого плана, создать 30 крупнейших районов электрических станций, которые дали бы возможность перевести всю промышленность на современные основания.

План электрификации — это наша вторая программа партии, программа нашего хозяйственного строительства.

...Наша программа партии не может оставаться только программой партии, она должна превратиться в программу нашего хозяйственного строительства, иначе она негодна и как программа партии. Она должна дополниться второй программой партии, планом работ по воссозданию всего народного хозяйства и доведению его до современной техники. Без плана электрификации мы перейти к действительному строительству не можем. Мы, говоря о восстановлении земледелия, промышленности и транспорта, об их гармоническом соединении, не можем не говорить о широком хозяйственном плане. Мы должны притти к тому, чтобы принять известный план, конечно, это будет план, принятый только в порядке первого приближения. Эта программа партии не будет так неизменна, как наша настоящая программа, подлежащая изменению только на с'ездах партии. Нет, эта программа каждый день, в каждой мастерской, в каждой волости будет улучшаться, разрабатываться, совершенствоваться и видоизменяться.

...Но нам надо добиться в настоящий момент, чтобы каждая электрическая станция, построенная нами, превращалась действительно в опору просвещения, чтобы она занималась так сказать электрическим образованием масс. У нас есть разработанный план электрификации, но выполнение этого плана рассчитано на годы. Мы во что бы то ни стало должны этот план осуществить и срок его выполнения сократить.

...Мы должны постараться построить государство, в котором рабочие сохранили бы свое руководство над крестьянами, доверие крестьян по отношению к себе и с величайшей экономией изгнали бы из своих общественных отношений всякие следы каких бы то ни было излишеств».

Нашим Центральным Комитетом этот план Ленина, с настойчивостью, упорством, реши-

тельностью, шаг за шагом осуществлялся на протяжении всего этого времени, расширяясь, пополняясь и видоизменяясь в отдельных своих частях применительно к нашей практической обстановке. Все это время им велась борьба не за фантастические планы троцкистов, а за реальную подлинную индустриализацию, соответствующую нашим ресурсам, с учетом всех об'ективных обстоятельств, вопреки и наперекор всяким оппортунистам, пытавшимся задержать или совлечь с пути осуществление этого плана.

То, что во главе проведения плана индустриализации стоял тов. Сталин, тоже не было случайностью, о чем свидетельствует письмо т. Сталина к Ленину, написанное почти одновременно с изложенными взглядами тов. Ленина.

«Последние три дня я имел возможность прочесть сборник «План электрификации России». Болезнь помогла (нет худа без добра). Превосходная, хорошо составленная книга. Мастерский набросок действительного единого и действительно государственного хозяйственного плана без кавычек. Единственная в наше время марксистская попытка подведения под советскую надстройку хозяйственно отсталой России действительно реальной и единственно возможной при нынешних условиях технической производственной базы. Помните прошлогодний «план» Троцкого (его тезисы) «хозяйственного возрождения» России на основе массового применения к обломкам довоенной промышленности труда неквалифицированной крестьянско-рабочей массы (трудармии)? Какое убожество, какая отсталость по сравнению с планом ГОЭЛРО. Средневековый кустарь, возомнивший себя ибсеновским героем, призванным «спасти» Россию сагой старинной... А чего стоят десятки «единых планов», появляющихся то и дело в нашей печати на позор нам, — детский лепет приготовишек... Или еще: обывательский «реализм» (на самом деле маниловщина) Рыкова, все еще «критикующего» ГОЭЛРО и по уши погрязшего в рутине...

Мое мнение:

1) Не терять больше ни одной минуты на болтовню о плане.

2) Начать немедленный практический приступ к делу.

3) Интересам этого приступа подчинить по крайней мере одну треть нашей работы (⅔ уйдет на «текущие» нужды) по закону материалов и людей, восстановление предприятий, распределение рабочей силы, доставки продовольствия, организации баз снабжения, самого снабжения и проч.

4) Так как у работников ГОЭЛРО при всех хороших качествах все же не хватает здорового практицизма (чувствуется в статьях профессорская импотентность), то обязательно влить в «плановую комиссию» к ним людей живой практики, действующих по принципу — «исполнение донести», «выполнить к сроку» и пр.

5) Обязать «Правду», «Известия», особенно «Экономическую жизнь» заняться популяризацией «плана электрификации» как в основном, так и в конкретностях, касающихся отдельных областей, памятуя, что существует только один «единый хозяйственный план» — это «план электрификации», что все остальные «планы» — одна болтовня пустая и вредная». (Март 1921 года).

Ныне эти планы, некоторым казавшиеся чрезмерно смелыми и дерзкими, являются претворяющимися в жизнь фактом. Они проводятся в условиях ожесточенной классовой борьбы, при активном содействии и участии миллионов рабочих и крестьянских масс, с каждым месяцем все больше и больше вовлекаемых в социалистическое строительство. Именно это активное, энергичное участие широких масс путем развития социалистических форм труда—соцсоревнования, ударничества—дает возможность осуществить пятилетний план нашего строительства в четыре года, а по основным отраслям хозяйства в 2½—3 года.

В этом году входят в строй 518 новых промышленных предприятий и 1040 машинно-тракторных станций, чем в основном заканчивается постройка фундамента нашей социалистической экономики. Но этого мало: мы безумно далеко отстали от передовых капиталистических стран и нам нужно во что бы то ни стало в кратчайший срок не только догнать, но и перегнать их.

Доказывая необходимость ликвидировать нашу хозяйственную отсталость, т. Сталин в своей речи на всесоюзной конференции работников социалистической промышленности весьма убедительно иллюстрировал наглядными примерами «неудобство» нашей отсталости:

«...История старой России состояла между прочим в том, что ее непрерывно били за отсталость. Били монгольские ханы. Били турецкие беи. Били шведские феодалы. Били поль-

ско-литовские паны. Били англо-французские капиталисты. Били японские бароны. Били все — за отсталость. За отсталость военную, за отсталость культурную, за отсталость государственную, за отсталость промышленную, за отсталость сельскохозяйственную. Били потому, что это было доходно и проходило безнаказанно...» «...Таков уж закон эксплоататоров — бить отсталых и слабых. Волчий закон капитализма. Ты отстал, ты слаб — значит ты неправ, стало быть тебя можно бить и порабощать. Ты могуч — значит ты прав, стало быть тебя надо остерегаться.

Вот почему нам нельзя больше отставать.

В прошлом у нас не было и не могло быть отечества. Но теперь, когда мы свергли капитализм, а власть у нас рабочая — у нас есть отечество, и мы будем отстаивать его независимость. Хотите ли, чтобы наше социалистическое отечество было бито и чтобы оно утеряло свою независимость? Но если этого не хотите, вы должны в кратчайший срок ликвидировать его отсталость и развить настоящие большевистские темпы в деле строительства его социалистического хозяйства. Других путей нет. Вот почему Ленин говорил во время Октября: «Либо смерть, либо догнать и перегнать капиталистические страны...»

Доказывая необходимость овладения техникой, тов. Сталин в другом месте в своей речи говорил:

«...Сама жизнь не раз сигнализировала нам о неблагополучии в этом деле. Шахтинское дело было первым сигналом. Шахтинское дело показало, что у парторганизаций и профсоюзов не хватило революционной бдительности. Оно показало, что наши хозяйственники безобразно отстали в техническом отношении, что некоторые старые инженеры и техники, работая бесконтрольно, легче скатываются на путь вредительства, тем более, что их непрерывно донимают «предложениями» враги из-за границы. Второй сигнал — процесс «Промпартии».

Конечно, в основе вредительства лежит классовая борьба. Конечно, классовый враг бешено сопротивляется социалистическому наступлению. Но одного этого для об'яснения такого пышного расцвета вредительства — мало.

Как могло случиться, что вредительство приняло такие широкие размеры? Кто виноват в этом? Мы в этом виноваты. Если бы мы дело руководства хозяйством поставили иначе, если бы мы гораздо раньше перешли к изучению техники дела, к овладению техникой, если бы мы почаще и толково вмешивались в руководство хозяйством, — вредителям не удалось бы так много навредить».

Этот призыв т. Сталина, обращенный к хозяйственникам, стать лицом к производству, взяться за изучение технических знаний, относится не только к руководящим кругам хозяйственников, но и ко всему рабочему классу. Ибо чем технически образованнее будут рабочие, чем культурнее и политически будет выше их уровень развития, тем бдительнее будут они, тем меньше наши враги — вредители — могут помешать нам в строительстве, и тем скорее мы догоним и перегоним передовые капиталистические страны. Благодаря нашему невежеству техническому, некультурности и живучести старых, мелкобуржуазных предрассудков в рабочей среде, особенно у выходцев из деревни, мы растрачиваем безмерно и безумно огромные ресурсы нашей страны, пускаем их на ветер и тем самым замедляем развитие нашей индустрии. В самом деле! Еще очень недавно сообщалось в газетах о том, что на Сталинградском тракторном заводе огромное количество технического оборудования, новейшей конструкции станков, купленных за границей с большим валютным напряжением, было поломано и выведено из строя. В газетах то и дело мелькают сообщения с отдельных заводов об огромном количестве брака литья и другой продукции. Это лишь отдельные факты, ставшие достоянием гласности, благодаря нашим рабкорам. Все это свидетельствует о том, насколько велика наша техническая отсталость, как многому нам нужно учиться, преодолевать препятствия, воспитывать и переделывать психику огромных масс молодых рабочих, влившихся в производство из деревни, принесших с собой деревенскую косность, отсталость, халатность, небрежение к труду и государственному имуществу.

Все эти огромные препятствия, стоящие на пути к социалистическому преобразованию нашей экономики и переделке людей в духе коммунистических идеалов, мы сможем преодолеть, только внося энтузиазм, преданность, упорство и самоотверженность в дело социалистического строительства.

Адольф Гитлер

Федор Желябов

I

В день моего приезда в старинный и очаровательный Данциг с его изящными, узкими домами и темными каналами по всему городу были расклеены огромные плакаты, извещавшие о собрании гитлеровцев. Афиши начинались патриотическим призывом: «Германия, пробуждайся!» и заканчивались зловещим антисемитским предостережением: «Евреям вход строго воспрещается». На главной улице, сохранившей аромат семнадцатого столетия, недалеко от ратуши, гитлеровцы с фашистскими знаками на белых повязках раздавали прохожим прокламации.

Вождь немецких фашистов Гитлер на этом митинге не выступал. Его появления на эстраде всегда обставляются с театральной помпезностью. Гитлер любит военную музыку, звуки фанфар, широковещательные афиши. Как всякий случайный выскочка, он обожает рекламу. Как только зал наполняется публикой, на сцене появляется герольд в фашистской форме и на фанфаре играет военный марш. Затем, как на параде, выходит рота фашистской милиции. Каждый доброволец несет большое знамя, украшенное фашистской эмблемой. Раздается команда: «Равнение направо». Публика покорно повинуется, встает и устремляет взоры по направлению правой части сцены. Из-за кулис медленным шагом выходит плотный, упитанный мужчина с коротко-подстриженными усами. На нем военная форма защитного цвета. Его сопровождает отряд телохранителей, фанатические приверженцы Гитлера поднимают неистовый шум. Они яростно кричат, вопят, рычат, топают ногами. Со стороны можно подумать, что на землю спустился новый Мессия. Наконец, шум замолкает. Гитлер занимает трибуну, публика рассаживается по местам и через некоторое время фашистский митинг в полном разгаре.

II

В Германии не нашлось национального лидера фашизма. Пришлось импортировать его из Австрии. По своему национальному происхождению Гитлер — австриец. Он родился 20 апреля 1889 года в Браунау, маленьком захолустном городке верхней Австрии, на реке Инн. Его отец был маленький отставной чиновник, своими трудами на пользу империи Габсбургов стяжавший себе небольшую пенсию. Скромный мелкобуржуазный быт провинциальной Австрии не удовлетворял юного Гитлера. В нем рано развился дух карьеризма. Он с детства мечтал выбиться вперед и занять крупное место на вершине социальной пирамиды. Отец определил его в реальное училище в Линце. Но в скором времени смерть отца и собственная болезнь легких вынудили его покинуть реальное училище, переехать в Вену и поступить в художественную школу. Еще в реальном училище его любимым уроком было рисование. Повидимому, великодушная природа не отказала ему в способностях живописца. Окончив художественную школу, Гитлер вышел из нее архитектурным чертежником. Быть может, жизненный путь Гитлера направился бы по мирному руслу черчения, живописи, рисования и прочих видов изобразительного искусства, но на беду ему подвернулась военная служба, которая, как часто бывает, выбила его из колеи. Распрощавшись со своим архитектором, Гитлер покинул чертежную мастерскую и с понурым видом пошел в казарму отбывать воинскую повинность. Но служба под знаме-

нами Франца-Иосифа на положении «нижнего чина» его не прельстила. Его пылкому воображению мерещились высокие командные посты, ему рисовались сотни тысяч людей, послушно двигающихся по мановению его властной руки. Гитлер не перенес тягостей и лишений военной службы и предпочел более спокойную жизнь дезертира. В 1912 году он бежал в Германию и поселился на постоянное жительство в Мюнхене, с его зелеными садами и величественными пинакотеками.

История умалчивает о том, чем занимался Гитлер в течение первых двух лет своей жизни на чужбине, вскоре ставшей для него второй родиной. Вернее всего он, как все дезертиры, зарабатывал средства к жизни случайным трудом. Свободное время он заполнял изучением проблем искусства. Вероятно, уже в это время у него сложилась оригинальная, но не выдерживающая марксистской критики теория об отсутствии самостоятельного китайского или египетского искусства. Согласно своеобразной теории Гитлера, представляющей разновидность идеалистической эстетики, подлинное искусство создавалось только в Северной Греции, а китайцы и египтяне ограничивались лишь механической посадкой голов на корпуса, заимствованные у греческих скульпторов. Гитлер всегда любил блеснуть оригинальностью. Развивая свою точку зрения, он пришел к выводу об отсутствии голландского, итальянского, немецкого и всякого иного искусства. «Есть только одно подлинное искусство — северно-греческое» и Гитлер современный пророк его.

III

С началом мировой войны в 1914 году пламенный почитатель античной Греции заразился шовинистическим угаром, охватившем не только правящие классы, затеявшие войну в своекорыстных интересах барыша и наживы, но также мелкую буржуазию и даже часть рабочего класса. Австрийский дезертир учел положение и записался добровольцем в германскую армию. На фронте ему пришлось побывать недолго. 6 октября 1914 года он был ранен осколками разорвавшегося снаряда и эвакуирован в военный лазарет в Беелитце, под Берлином. Записаться в добровольцы было легко, но уйти из армии в военное время было трудно. Рана Гитлера была неопасна, и он находился на пути к излечению. Едва ли его привлекало возвращение на передовые позиции. Но ему приходилось подавлять в себе рецидивы дезертирских настроений. Дисциплина в немецкой армии была суровее, чем в австрийской. Бежать оттуда было труднее и рискованнее для жизни. Границы с нейтральными странами: Швейцарией, Данией и Голландией охранялись гораздо строже. В случае поимки дезертиру угрожал расстрел. Гитлер не решился повторить свой австрийский эксперимент и, выписавшись из лазарета, законопослушно вернулся в свой полк.

В октябре 1918 года, во время одной из атак, он подвергся отравлению газами.

Вскоре подоспел военный разгром дворянско-феодальной Германии. В Киле восстали матросы. По улицам Берлина прокатился первый вал буржуазной революции. Кичившийся своим всемогуществом и любовью «народа» император Вильгельм, теребя длинные, победно закрученные к небу усы, на автомобиле умчался в Голландию, спасаясь от гнева своих «верноподданных».

Утром 8 ноября в вагон-салон французского маршала Фоша, в Компьенском лесу, скромно вошла немецкая делегация, уполномоченная Гинденбургом для подписания перемирия.

— Спросите господ, чего они желают, — обратился Фош к своему драгоману, не желая непосредственно разговаривать с ненавистными «бошами», как называли немцев во Франции во время войны; в Англии их называли «гуннами».

— Мы прибыли сюда для того, чтобы выслушать предложения союзных держав о перемирии на воде, на суше и в воздухе, — в обычном дипломатическом тоне почтительно ответил Эрцбергер.

— Ответьте этим господам, что у меня для них нет предложений, — грубо, по-солдафонски отрезал Фош.

— Господин маршал, момент представляется мне слишком серьезным, чтобы спорить о словах, — обиженно возразил член немецкой делегации граф Оберндорф. — Как вы желаете, чтобы мы выражались? Нам это совершенно безразлично.

— Ваше дело, господа, сказать, что вы желаете, — отчеканил Фош.

— Перемирия, перемирия, — ответили немецкие делегаты. Буржуазная Германия была поставлена на колени и разоружена.

10 ноября 1918 года Фош продиктовал делегации 18 пунктов сурового перемирия. Германия должна была в 14 дней очистить Бельгию,

Францию, Эльзас-Лотарингию и передать антанте 5 000 орудий, 25 000 пулеметов, 3 000 минометов, 1 700 аэропланов, 5 000 паровозов, 10 000 вагонов, 5 000 автомобилей, 6 дредноутов, 8 крейсеров и 100 подводных лодок. Французские и английские адмиралы первоначально потребовали 300 подводных лодок.

— Помилуйте, господа, — взмолились немецкие дипломаты, — столько у нас никогда и не было.

На-нет и суда нет! Союзникам пришлось взять столько, сколько было.

После такого перемирия Гитлеру нечего стало делать на фронте, и 20 ноября 1918 года он вернулся в готический Мюнхен, под золотистые кущи увядающих осенних садов.

IV

С шумом и грохотом рушилась империя Гогенцоллернов. Одноглавый черный орел в золотой короне, символ монархии, был смертельно подстрелен пулями восставших рабочих и крестьян, солдат и матросов. По всей Германии, как грибы, вырастали советы рабочих и солдатских депутатов. Но привычная к предательству социал-демократия, уже с начала войны переметнувшаяся по ту сторону баррикады и бросившаяся в об'ятия феодального дворянства и буржуазной реакции, как и следовало ожидать, изменила революции. Предательскими руками социал-негодяев Шейдеманов и Носке она помогла реакционной буржуазии расправиться с массовым рабочим движением и задушить советы. В отчаянной борьбе с буржуазией и социал-демократией 8 апреля 1919 года в южной Германии, в Мюнхене, была провозглашена Баварская Советская Республика. Гитлера тогда никто не знал, и он был оставлен на свободе. Но это событие произвело на него неизгладимое впечатление. Он впервые осязательно понял серьезность коммунистического движения, поверил в реальность советской Германии, прежде казавшейся ему призрачной и неопасной, испугался за судьбы капитализма. Представитель реакционных слоев мелкой буржуазии почувствовал общность классовых интересов с самыми зажиточными магнатами крупной финансовой, промышленной и торговой буржуазии.

Советская республика в Баварии была раздавлена капиталистами с помощью социал-прохвостов.

Гитлер признал момент удобным для действия и выступил на политическую арену. После кровопролитного сражения на поле битвы всегда стекаются шакалы. В мае 1919 года Гитлер познакомился с немецким черносотенцем, инженером Готтфридом Федер, и вступил в «Германскую рабочую партию». Эта антисемитская партия, позже переименованная в германскую национал-социалистическую рабочую партию, влачила тогда самое жалкое существование. Она насчитывала в своих рядах всего на всего шесть членов. Гитлер вступил в нее членом под номером седьмым.

«Иванов седьмой», расписался кто-то в чеховской «Жалобной книге». «Хоть ты и седьмой, а дурак», добавил следующий посетитель. Но Гитлер, хоть он и был седьмым, не может быть назван дураком. Если он не блещет выдающимся умом, то у него, во всяком случае, достаточно практической сметки. Влив в антисемитскую партию боевую антикоммунистическую струю, Гитлер, не покладая рук, принялся за организационную работу.

24 февраля 1920 года, в Мюнхене, состоялось первое открытое собрание преобразованной фашистской партии. Оратором выступал новоявленный вождь фашизма сам Адольф Гитлер. Слушателей собралось мало: всего 107 человек. Классовая борьба тем временем разгоралась. Под знаменами коммунистической партии об'единялись рабочие и крестьяне. В противовес им приободрились и подняли голову прусские юнкера, помещики, генералы и монархисты. 12 марта 1920 года Берлин стал недолговременной ареной быстро ликвидированного черносотенного путча Каппа и генерала Люттвица. Гитлер увидел в нем соблазнительный пример и начал исподволь готовиться к восстанию. 1 апреля он демобилизовался из армии, чтобы нераздельно отдаться политической работе.

В декабре 1920 года фашистская партия Германии купила газету «Фелькише беобахтер» и обзавелась собственным органом. Гитлер был назначен редактором.

В. И. Ленин писал, что газета не только пропагандист и агитатор, но также и коллективный организатор. Это верно не только по отношению к нашей, коммунистической печати.

Мюнхенская газета Гитлера тоже выполняла функции организатора, группируя вокруг себя кадры приверженцев фашизма. По крайней мере, когда 3 февраля Гитлер впервые выступил в Мюнхене в цирке Кроне, под его сво-

дами на этот раз собралось уже 5.600 слушателей. В 1921 году Гитлер был избран первым председателем «Национал-социалистической рабочей партии». Он вел погромную антисемитскую и антикоммунистическую кампанию на собраниях и в печати. Для борьбы с революцией он стал создавать вооруженные отряды, которые получали свое боевое крещение в мюнхенских пивных. Гитлер открыто шел навстречу фашистскому перевороту. Правительство и социал-демократы оказывали ему явное попустительство.

В январе 1922 года во Франции снова очутился у власти лидер воинственной крупной буржуазии Пуанкаре-война. Одна из целей его внешней политики состояла в нажиме на Германию, чтобы заставить ее аккуратно платить непосильные для нее репарационные обязательства. Пуанкаре удалось настоять на своем плане. 11 января войска Антанты вошли в Рурскую область и оккупировали ее. Беззубое пассивное сопротивление буржуазных жителей Рура, как и всякое пассивное сопротивление, не могло одержать победы и быстро капитулировало. К этому времени чудовищная инфляция уронила до минимума курс марки. Среди рабочих, крестьян и городской мелкой буржуазии с каждым днем нарастало недовольство политикой Берлина. В воздухе пахло порохом. Надвигались классовые бои.

«Куй железо, пока горячо», вспомнил Гитлер и принялся зарабатывать политический капитал. Его работа в Руре не принесла плодов: рабочие безоговорочно пошли за коммунистами. Но в других частях Германии, пользуясь щедрой поддержкой капиталистов, Гитлер укрепил влияние фашизма.

28 января 1923 года в Мюнхене состоялся первый партийный с'езд национал-социалистов. Немецкие фашисты и на словах и на деле готовились к предстоящему бою. Осенью 1923 года в Берлине, Гамбурге и других промышленных центрах произошли руководимые коммунистами восстания пролетариата. С помощью социал-фашистов немецкая буржуазия устроила новое кровопускание.

Как генерал Корнилов после июльских дней, Гитлер решил, что разгром коммунистов расчищает поле для его выступления. Образ Муссолини носился перед его разгоряченным взором. Однако бряцание фашистского оружия долетело до чуткого слуха немецких властей. 5 ноября 1923 года в разговоре с министром Шэйером Гитлер дал ему честное слово, что он не произведет никакого путча. Но разве можно верить честному слову Гитлера? Ровно через три дня, 8 ноября, в одной из многочисленных пивных Мюнхена Гитлер призвал к фашистскому перевороту и провозгласил «третье государство», приходящее на смену монархическому и республиканскому режиму.

Гитлер продержался у власти 24 часа. 9 ноября путч Гитлера и стоявшего за его спиной генерала Людендорфа был ликвидирован. Правительство оказалось милостивым к фашистам. В отличие от жестокого подавления коммунистических восстаний с гитлеровским путчем расправились мягко: число убитых составляло всего 16 человек.

«Исторические события иногда повторяются, — сказал Гегель, — но первый раз они происходят, как трагедия, а второй раз, как фарс».

Путч Гитлера имеет некоторое сходство с корниловским мятежом. Но восстание Корнилова относится к гитлеровскому путчу, как трагедия к фарсу.

Подобно Керенскому, глава баварского правительства Кар первоначально дал свое согласие на поддержку путча, но затем в решительный момент предал своего сообщника и выступил против него.

Гитлер был вне себя. Он бегал взад и вперед по комнате, неистово рвал на себе волосы и в отчаянии восклицал: «Кар — предатель, преступник. Я — Сципион, а он Марий! Я его уничтожу, я раздавлю этого неверного Мария!»

Этот монолог, словно выхваченный из ложно-классической трагедии, рисует Гитлера, как темпераментного актера, как легко возбуждающегося неврастеника.

1 апреля 1924 года состоялся гитлеровский процесс. Буржуазия сурово мстит восстающим рабочим. Но для восстающих фашистов, представляющих фракцию буржуазии, классовый суд имеет другую мерку. Соучастник и собутыльник Гитлера генерал Людендорф был оправдан. Гитлер получил 5 лет тюремного заключения. Ближайший помощник Гитлера доктор Фрик отделался одним годом и тремя месяцами да тысячей марок штрафу. Гитлер был посажен в тюрьму в городе Ландсберге, на реке Лех. Но он не высидел там положенного срока. Поистине, безгранична милость к фашистам со стороны правящих буржуазных партий и социал-фашистов. Через несколько месяцев после суда, в декабре 1924 года Гитлер уже разгуливал на свободе. Так дешево обош-

лась ему «высшая государственная измена», как буржуазное право квалифицирует всякое восстание.

V

На выборах в Рейхстаг 7 декабря 1924 года партия Гитлера получила 15 мандатов. Неудавшийся путч порядочно потрепал молодую и необстреленную партию. По выходе из тюрьмы, Гитлер принялся восстанавливать ее дрогнувшие ряды и залечивать ее раны. Но это не помогало. Временная стабилизация капитализма была неблагодарной почвой для успеха гитлеровских идей. Крупная буржуазия с каждым днем богатела. Мелкой буржуазии казалось, что ее положение улучшается. Поэтому, на базе частичной стабилизации, создавались либеральные иллюзии, расцветала «эра демократического пацифизма». На выборах в Рейхстаг 20 мая 1928 года партия Гитлера собрала 12 мандатов: на три мандата меньше, чем четыре года тому назад.

Тем временем, внутреннее положение партии было не из блестящих. В ее рядах начались расколы и отколы. В 1929 году из партии был исключен Мукке, командовавший во время империалистической войны известным крайсером «Эмден», подвизавшимся в Тихом океане. Уходя из партии, Мукке хлопнул дверью. 29 августа 1929 года он дал следующую характеристику своей бывшей партии, в рядах которой он несколько лет работал и основательно изучил ее:

«Фашистская партия — партия бесчестных людей; она совершенно разложилась; это настоящий свинарник».

Другой исключенный из партии Фридрих заявил: «У гитлеровцев никто не любит своего соседа. Там преобладают соперничество, тщеславие, зависть, эгоистические интересы».

Исключенным из любой партии вообще нельзя придавать полной веры. Трудно ожидать об'ективности от людей, подвергшихся остракизму. Но характеристики Мукке и Фридриха все же довольно близки к истине.

Однако, несмотря на то, что фашистская партия Германии представляет собою, по образному выражению Мукке, «свинарник», на выборах в Рейхстаг 14 сентября 1930 года она завоевала 107 мандатов. Таким образом, ничтожная горсточка фашистов сразу превратилась в одну из крупнейших фракций парламента.

Причины этого явления заключаются в изменении общественных условий Германии. На смену временной стабилизации капитализма пришел жесточайший мировой кризис, сильнее всего поразивший Германию, как страну разоренную Версальским миром, истощенную планами Дауэса и Юнга и задыхающуюся под непосильным бременем репарационных платежей.

Вопиющая безработица, систематическое сокращение производства, увольнение рабочих и служащих, сокращение заработной платы, катастрофические ножницы между перепроизводством товаров и недопотреблением населения сильнее всего сказываются в Германии. В вагонах, трамваях, на улице, вы на каждом шагу встречаете безработных; повсюду слышатся жалобы на трудности жизни. Мелкая буржуазия, колеблющаяся как всегда, разочаровавшись в революции, кидается в об'ятия Гитлера, уповая, что он, как новый Моисей, выведет ее из кризиса и разрухи.

VI

Гитлер не принадлежит к категории крупных политических деятелей. Он — заурядный провинциальный бюргер с кругозором, едва превышающим средний обывательский уровень. В политике и искусстве — он типичный дилетант. Из всех сил Гитлер стремится подражать Муссолини, но значительно уступает ему. Мельче Гитлера только «финский Муссолини» — Коссола, или как шутя называют его в Финляндии — Коссолини. Гитлер не лишен темперамента и энергии, но при этом позер до мозга костей. Как оратор, он слишком истеричен; он говорит, как одержимый, дрожащим голосом. В Германии ему дали прозвище «барабан». Он трус и никогда не ходит без телохранителей. Он любит роскошь и живет в 9 комнатах на площади Принца-регента в Мюнхене и принимает посетителей в роскошных, элегантно обставленных гостиных. Туалетный стол в его спальне, как у князя Нехлюдова в «Воскресении», уставлен всевозможными духами и одеколонами. Помимо огромной городской квартиры Гитлер является дачевладельцем на Штарнбергерском озере. Подражая английской аристократии, он конец недели неизменно проводит за городом, отправляясь к себе на дачу в одном из трех принадлежащих ему автомобилей. Однако Гитлер знает силу массового движения.

Николо Маккиавелли в трактате «Князь» выдвинул тезис: «Все вооруженные пророки побеждали, а невооруженные были разбиты». Эту истину хорошо усвоил себе Гитлер.

В партийной организации гитлеровцев все дело до смешного поставлено на военную ногу. В качестве партийного вождя Гитлер, наподобие военачальника, издает письменные приказы:

«Предоставляю отпуск с 1-го по 23 августа 1930 года коменданту В... Его заместителем назначается офицер фон-Р.».

«Об'являю выговор за несоблюдение иерархического порядка телохранителю С., ввиду его непосредственного обращения в центральный комитет партии».

«Я узнал, что некоторые товарищи задолжали в ресторанах. Об'являю подобный поступок несовместимым с достоинством подлинного национал-социалиста».

«Прошлый раз я издал приказ о том, чтобы меньше времени посвящалось строевым занятиям, а предпочтение отдавалось спорту. В течение ближайших месяцев техническое и спортивное обучение должно преобладать над всеми другими работами. Наибольшее значение следует придать обучению ударных отрядов».

Читая эти приказы, можно подумать, что Гитлер — полководец, отдающий приказы по армии. Прямо не партия, а какая-то сплошная *казарма*.

Особенное внимание обращают фашисты на воспитание молодежи. И нужно сказать, их влияние среди буржуазного студенчества довольно значительно. В двух университетах Германии число студентов-фашистов достигает до 50%; в остальных фашисты составляют около 30% студентов. Немецкое студенчество никогда не было похоже на русское. До войны оно отличалось дуэлями, кастовым духом, корпорациями, пьяными кутежами. Теперь буржуазное студенчество Германии прониклось духом фашизма. То же самое в области средней школы. В Германии нет почти ни одной гимназии, где не существовало бы гитлеровской ячейки. В юношескую организацию гитлеровцев принимаются подростки в возрасте от 14 до 18 лет.

Хотя Гитлер поучает не придавать значения печатному слову, так как на массы влияет лишь зажигательная речь, тем не менее немецкие фашисты обладают значительной прессой. В 1920 году они издавали одну ежедневную газету и три еженедельника; в настоящее время они выпускают десять ежедневных газет, пятьдесят еженедельников и большой иллюстрированный журнал, редактируемый самим Гитлером.

Экономическая программа немецких фашистов чрезвычайно проста. Борьба с безработицей? Извольте. У Гитлера есть готовый рецепт: «Нужно уничтожить два миллиона евреев и коммунистов и освободившиеся места предоставить двум миллионам арийцев».

В пухлой книге Готтфрида Федера начертана экономическая программа фашистов. Федер различает два вида капитализма: творческий и паразитический капитализм (по-немецки это звучит рифмованно, как стихи: Schaffendes und raffendes Kapital).

Творческий капитализм — это промышленность и сельское хозяйство. Паразитический капитализм — банки и биржа. Творческий капитал — немецкий, паразитический — французский или еврейский.

На всех перекрестках Гитлер защищает частную собственность. Он призывает поддерживать творческий капитал и бороться с биржей и банками.

Выходец из рядов мелкой буржуазии, Гитлер стал идеологом крупного капитала. И его служба не пропадает даром. Капиталисты щедро оплачивают труд фашистов, в изобилии снабжая их деньгами. Даже Гугенберг, которого резко критикуют фашисты, с готовностью пополняет их партийную кассу из своего собственного кармана. И фашистская партия оплачивает публичные выступления своих докладчиков. В зависимости от их ораторских дарований они получают за каждую речь по 100, 150 или 200 марок (от 50 до 100 рублей золотом). Сто рублей за часовую речь — очень высокая плата. За эту цену можно рычать, закатывать истерики и клеветать, клеветать, клеветать. Гитлеру и его сторонникам в высокой мере свойственен каннибализм. Они поучают ненависти против коммунистов, против евреев, даже против французов. Гитлеровцы открыто заявляют, что после прихода к власти они введут принудительный труд и отправят на виселицу своих противников, в первую голову евреев и коммунистов. На одном предвыборном собрании осенью 1930 года гитлеровский оратор об'явил, что все, голосовавшие за план Юнга, будут безжалостно повешены. Кто-то из публики задал вопрос: «А как же Гинденбург?» На эту реплику гитлеровец тотчас

ответил: «В принципе он должен быть повешен наравне с другими. Но преклонный возраст избавит его от смертной казни».

VII

Наше время — эпоха интернационалов. Революционные рабочие всего мира об'единились в красном Коммунистическом Интернационале. Социал-изменники засели в желтом втором Интернационале. В Праге существует зеленый интернационал, об'единяющий кулацкие партии всего мира. Наконец, имеется тайный фашистский интернационал, возглавляемый самим Муссолини. Давно миновали те времена, когда на заре фашистской диктатуры Муссолини провозгласил, что итальянский фашизм — не экспортный товар. Сейчас основоположник мирового фашизма уже не произносит таких речей. Теперь Муссолини считает, что фашизм пригоден для экспорта. Гитлер тесно связан с Муссолини. Неоднократно он вплотную беседовал с духовным отцом фашизма. Нет никакого сомнения, что партия Гитлера получает не только моральную, но и материальную поддержку со стороны итальянских фашистов.

С другой стороны, гитлеровцы связаны с финскими «активистами». Гитлер и Коссола со смехотворным раболепством подражают итальянскому учителю, в своем усердии напоминая лягушку, желавшую раздуться до об'ема вола.

Однажды на каком-то собрании Отто Штрассера спросили: «Чего вы хотите?» Он ответил: «Нас спрашивают, чего мы хотим. Мы отвечаем: прямо противоположного тому, что существует сейчас. До сих пор стремились к тому, чтобы нас любили во Франции. Наша цель заключается в том, чтобы нас любили в Германии и ненавидели во Франции. Мы нуждаемся в диктатуре, как в переходном режиме. Государство должно поставить перед нацией определенную цель».

Фашисты любят бряцать оружием и угрожать Франции войной. «Долой план Юнга! Долой евреев! Долой Версальский договор! Долой французов!» — вот наиболее употребительные лозунги на гитлеровских знаменах и плакатах, украшенных ломаным фашистским крестом.

Версальский мир и план Юнга, бесспорно, накинули мертвую петлю на изможденную шею германского народа. К решительной борьбе с этими договорами уже давно призывает Германская коммунистическая партия. Но гитлеровцы воскрешают идею реванша и бросают перчатку Франции в твердой уверенности на поддержку фашистской Италии, раздираемой глубокими противоречиями с Францией из-за Туниса и господства на Средиземном море. Победа фашизма в Германии означает прямую угрозу новой войны. Гигантское обострение классовой борьбы в Германии приводит к усилению полярных течений: фашизма и коммунизма. За счет ослабления центра, в том числе и предательской социал-демократии, вырастают сильные крайние крылья.

Успехи фашистов далеко не случайно совпали с победой на выборах коммунистической партии и с повсеместным ростом ее влияния в рабочих массах. Международный большевизм и национальный социализм столкнулись лицом к лицу. Либо один, либо другой останется победителем; третьего не дано. Современная Германия вместе с другими странами быстрым шагом идет навстречу последней и решительной схватке труда с капиталом. Идеология и знамя труда — коммунизм; идеология и знамя капитала — фашизм. Для нас, коммунистов, нет сомнения, что всемирный рабочий класс одолеет царство всесветной плутократии и построенный в нашей стране социализм достроит в планетарном масштабе.

То, о чем молчат гиды

(Письмо из Лондона)

Гарт Свит

1. ЦЕРКОВЬ БРАТСТВА НА SOUTUGATE ROAD

Гений обладает чудесным даром придавать окружающим предметам историческое бессмертие.

Присутствие вождя революции обессмертило, превратило в место грядущего паломничества ничем не замечательную молельню на окраине Лондона, где среди серых стен, под насквозь промокшей крышей, более 20 лет назад собралось несколько сот русских социал-демократов.

В дурно окрашенном голубой клеевой краской помещении, отданном в наем за сходную плату, в 1907 г. работал V Об'единенный с'езд РСДРП. На шатком стуле, возле деревянного амвона, покрытого красной тканью, сидел тогда Ленин.

•

Между багровых и серых кирпичных домов однообразной улицы церковь «христиан-социалистов» кажется даже величественной.

Черная кайма пыли траурными лентами обвила резные орнаменты фасада.

Нелегко распознать возраст зданий на лондонских улицах. Бурый, зимний туман, липкая копоть преждевременно старят стены, раз'едают кирпич, углубляют складки, из'язвляют, чернят поры, бороздят морщинами камни.

Климат острова подменил работу времени.

Церковь братства, построенная несколько десятилетий назад, сумрачная, как английское средневековье, легко может сойти за одряхлевший памятник минувших столетий, за уцелевший обломок старого Лондона, почти начисто разрушенного чумой и великими пожарами.

Созданная на пожертвования короткоумых чудаков, пытавшихся библией оградиться от противоречий стиснувшего их со всех сторон капиталистического города, церковь христиан-социалистов с самого основания стала выпрашивающей милостыню нищенкой.

Среди ханжеских степенных, как и их паства, прочно сделанных храмов господствующей англиканской церкви, среди театрально-пышных, завидно подрабатывающих папских костелов, сектантская молельня, беспомощно пытающаяся соединить два противоположных учения — христианство и социализм — должна была погибнуть.

Немногие ее покровители, давно потерявшие надежду пронести свою убогую и путаную веру по миру, решили не тягаться с конкурентами и уступить веку. Они пристроили к церкви обширный полутемный сарай «под танцы» и скрипучие подмостки для любительских спектаклей.

Дела их тотчас же пошли лучше. Фокстрот предотвратил крах и сдачу «с молотка» помещения какой-либо иной, враждебной секте.

Жители округа нанимают охотно вместительное помещение в дни семейных торжеств, юбилеев, ученических балов.

Число христиан-социалистов редеет из года в год. Вымирают проедающие пенсии, ренты, наследства домовладельцы; отставные моряки, клерки, чиновники, мелкие фабриканты.

Умирают от дряхлости, после долгой размеренной жизни, нарушаемой лишь редким беспокойством, вызванным ревматизмом, ежегодным исходом скачек в Ипсоме и Калькутте, увеличением налогов, поведением дегенеративных младших сыновей короля, да колебаниями акций...

Не меняя десятилетиями привычек, жители Southgate Road оставались верны своей церкви. Ежедневное бормотанье псалмов вошло в их обиход подобно 5-часовому чаю. Они пере-

жевывали библию постоянно, основательно, как американцы подслащенную резину...

Милосердие христиан-социалистов никогда не шло далее активного участия в обществе защиты животных. Они пылко восставали против неслыханных зверств, совершаемых в Лондонском Зоологическом саду, где тугому, как шпагат, многометровому удаву дают на обед не менее двух котят. Христиане-социалисты прокляли также экспериментальную медицину за муки, причиняемые ею морским свинкам. Протест против вивисекции, требующий возмездия плакат, висит в автобусах и пивных Англии...

Новый староста церкви, бородатый, румяный, невозмутимый человек, исповедующий толстовство, после традиционного чая до 8-часового обеда, не жалея слушателей, раз'ясняет сущность равенства людей перед... богом. Только чье-либо предсказанье неизбежности мировой революции стирает румянец с его круглых щек...

Оборвав слащавую проповедь и впервые подняв всегда смиренно опущенные глаза, он грозно напоминает, что Англия еще не залечила ран, нанесенных ей революцией XVII века. Кой-где на одичалых холмах острова расчетливые потомки сохраняют, как пугала, развалины обугленных замков, безжалостно уничтоженных отважными соратниками Кромвеля.

Впрочем, политика интересует прихожан церкви Братства меньше, чем доходы и приключения принца Уэльского и футбольные матчи. Ни один из этих однотипно-застывших людей, в отставке у жизни, никогда и не слыхивал о с'езде русских социал-демократов в 1907 году.

Помещение церкви сдавалось внаймы так часто!

Новый староста смутно помнит мистера Селса, косвенно связавшего свое имя с историей с'езда.

Зажиточный мыловар, фактически создатель церкви, не боялся слова «революция». Он мистически верил в ее грядущее пришествие, ссылаясь при этом на библейские, им одним разгаданные, предсказания и когда организаторы с'езда оказались без срочно необходимых денежных средств, мистер Селс предложил им заем. Его доверие к чужеземцам, их целям и делу было безмерно. Вместо вексельных гарантий он потребовал только подписи под документом, в котором значилось, что после свержения царизма и победы социал-демократов новое правительство вернет одолженную сумму.

Все члены с'езда и Ленин подписали обязательство.

Прошло всего 10 лет. Документ, выданный мистеру Селсу, вошел в силу. После приезда первой советской делегации вдова предприимчивого прозорливого мыловара полностью получила деньги, вернув своеобразный автограф V с'езда!

К голубой стене, под сводом, 22 января 1931 г., в седьмую годовщину смерти Ленина, была прибита белая мраморная доска. Английская надпись коротка:

«В этом здании в мае — июне 1907 г. под руководством Ленина заседал V с'езд Российской Социал-Демократической Рабочей Партии Большевиков».

Скупой свет из решетчатого бокового окна скользит по мрамору и золоту букв. Кажется тогда, что под доской в стене скрыта урна.

Вещи долговечнее людей.

Церковь братства, живущая на подаяния, рассыхается, кряхтит, но сегодня она не более стара, чем в 1907 г., когда Ленин провел в ней несколько десятков часов и тем обессмертил камни.

2. ЧАРЛИ БРАУН И ВЕСТ-ИНДСКИЕ ДОКИ

Неизвестно откуда пришел Чарли Браун в Лондонский порт, чтобы стать одним из двухсот тридцати пяти тысяч матросов Великобританского торгового флота. Он переменил не мало разнообразных профессий, прежде чем осуществить свою мечту — основать большой кабак в Вест-Индских доках.

Лицо Чарли перекроили неисчислимые драки, запойное пьянство, наркотики, морские ветры и кораблекрушения. Каждая из десятков стран, мимо которых проходят английские корабли, пометила его. Он привез в Вест-Индские доки низкий раболепный поклон содержателей опиекурилен Гонконга, прищуренный настороженный взгляд японцев, изощренную ругань английских чиновников в Бомбее. На лице кабатчика, огромном и рыхлом, как разваренная свекла, страшен нос со сломанной переносицей, свисающий продолговатым комком кожи и мяса к развороченному, отвратительному рту неисправимого грабителя.

Чарли Браун, непротрезвляющийся и зоркий, один из ядовитейших пауков доков. В его

пивной всегда людно. Безработный грузчик огромными пальцами, привыкшими поддерживать многопудовые тюки колониальных товаров, бьет по клавиатуре старого рояля. Клавиши проваливаются с треском и гулом. Жена тапера — женщина с желтым узким, как банан, лицом, обходит зал, выразительно протянув вперед тарелочку. Медные пенсы глухо стучат по эмали. Матросы, сегодня покинувшие пароходы, пришедшие из Норвегии и Китая, вертятся под лишенную ритма и мелодии музыку, грубо прижимая золотушных синещеких девушек.

Шведы, норвежцы, индусы, китайцы танцуют подобие фокстрота, невольно сбиваясь на привычные движения своих национальных танцев.

Музыка прекращается внезапно, но еще долго уныло гудит развинченная струна испорченного инструмента.

Жена тапера, пересчитав, прячет собранные деньги в рваную сумочку и под руку с мужем идет работать — играть в соседние кабаки.

Матросы угощают случайных подруг виски. Дым папирос заволакивает пивную, скрывает деревянный потолок и стены, густо увешанные трагическими сувенирами последней войны: немецкими касками, пробитыми пулями, покривившимися котелками. На лезвии одного из заслуженных штыков налетом ржавчины кажется чья-то запекшаяся кровь.

В порядке товарообмена (вино на вещи) получил от солдат в годы войны эти «украшения» Чарли Браун.

Наивное любопытство новых посетителей раззадаривает также стеклянный шкаф, содержимое которого могло бы украсить не один балаган-паноптикум на частых базарах английской провинции.

В банке потоплен в спирту двуголовый уродливый теленок, в пробирке заморожен судорожный труп пестрой ядовитой змеи. Воскрешая беспредельные просторы сухих американских прерий, лежит смотанное лассо возле потемневшего человеческого черепа и пушистых чучел редкостных тропических птиц.

Таковы заморские диковинки в пивной Чарли Брауна.

Девушки Вест-Индских доков — наиболее жалкие человеческие суррогаты Лондона. Рожденные в семьях докеров и грузчиков, в последние годы хронически безработных и едва существующих на правительственную милостыню, «dote»[1], они с детства познают только лишения. Никто не сосчитал еще молодежи, подросшей в пору экономического кризиса, никогда не имевшей работы. Учтены лишь миллионы тех, кто успел некогда добыть почетное звание рабочего...

Девушки доков с малолетства попадают в руки разных Чарли Браунов, становятся их агентами по завлечению и спаиванию клиентов.

С утра сотни проституток ждут прилива Темзы — в часы солнечного заката обычно прибывают в доки пароходы.

Трепетно, будто заждавшиеся жены моряков, прислушиваются они к сиренам с моря, волнуясь читают на черных заборах доков бюллетени об ожидающихся судах, выслеживают в дождь и ветер матросов у порта.

Обреченным созданиям в блестящих дешевеньких платьях из искусственного шелка, украшенным стеклянным жемчугом, прячущим под пудрой и краской больные, несвежие лица, обязан Чарли Браун своим прославленным в доках «музеем».

Две комнаты над пивной до отказа набиты «экспонатами», непрестанно прибывающими.

Чарли самолично провожает в «музей» особо уважаемых гостей. Шея его багровеет от гордости и сердцебиения на узкой витой лесенке, соединяющей этажи. Из оттопыренного кармана кабатчика вылезает колода грязных карт. Чарли — азартный картежник...

На столах, полках, в витринах «музея» находятся разноликие будды, неуклюжие языческие божки, многоцветные вазы, слоновые клыки, укутанные в кружево резьбы, статуэтки белой, желтой, черной расы. Каждая вещь имеет свою историю, одинаково завершенную.

За бутылку виски, под залог за несколько шиллингов «на девушку», попали на «склад» Чарли Брауна эти иногда художественные, иногда грубые поддельные предметы.

Хитро улыбающегося деревянного будду спас, из разрушенного канонадой тысячелетнего деревенского храма, солдат наемной армии У-Пей-фу в 1924 году. Впоследствии солдат стал моряком. За две кружки пива получил будду Чарли Браун у китайца.

Голую размалеванную танцовщицу — типичный рекламный товар парижских кафешантанов — хозяин пивной выиграл в карты у угрюмого пароходного повара, приехавшего в Лондон из Марселя.

---

[1] «dote» — денежная выдача по безработице

Но как попала к Чарли грациозная, поющая венецианская люстра, каменный многовековый идол с Огненной земли, старинная ваза, увитая фарфоровыми хризантемами с острова Формозы? Об этом хозяин пивной предпочитает не говорить.

Есть в «музее» не мало фотографий неведомых, кому-то близких, людей. Это наиболее дорогой для моряка «товар». Но и его отобрал ничем не брезгующий кабатчик. За глоток виски от шалого опьяневшего кочегара получил Чарли нежно надписанный портрет смущенной улыбающейся индуски и повесил его на стене среди несмешных французских карикатур.

После долгого антракта в пивной опять музыка.

В этот раз за роялем изможденная женщина без возраста. Костюм, шляпа, подвязанная под подбородком вылинявшими лентами, изобличают дату, когда в последний раз она знала довольство и удачу — тому прошло не менее 20 лет. Старый вальс прошлого века да сильная спина — единственное, что передали ей родители, пустив в жизнь. И этим вальсом каждый вечер преждевременно состарившаяся женщина добывает себе в кабаках пиво — утеху нищих.

Жена Чарли, пухлая сводня, из-за стойки протягивает музыкантше кружку.

Прорезывая голоса, топот ног и смех, из-за дверей в это время доносится протяжный детский плач. Неровным шагом, стараясь не расплескать питье, мать идет на зов ребенка, оставленного в рваной соломенной коляске под окном дома. Вперемежку с пьяными ласками она поит продрогшее дитя черным острым элем.

Детские коляски у дверей пивных — обычное зрелище на улицах вокруг доков.

Англичане, особенно шотландцы, слывут наиболее рослыми людьми Европы. Нарядные холеные прохожие на центральных улицах Лондона в такой же мере подтверждают эту оценку, в какой люди доков ее опровергают.

Кто решится назвать рослыми рабочих сырого дымного Манчестера или усталых безработных на просторных дорогах Шотландии?

Худы, узкогруды, выносливые вьючные животные доков — грузчики. Сильны их руки, их широкие ладони и короткие пальцы, судорожно впивающиеся в доски ящиков, будто в самую жизнь, за которую им приходится так непомерно дорого платить.

К Вест-Индским докам примыкает Китайский квартал, самый безрадостный угол Лондона.

Нигде в мире китайцы не лишены настолько своей родины, как в Англии. Их гетто — узкие мостовые, уставленные по бокам черными, глухими домами, будто снятыми с колес вагонами для перевозки скота. Ядовитые туманы мгновенно уничтожили бы бумажные флаги, цветы, драконы — сложнейшие измышления фантазии, которые на тесных улицах китайских городов заменяют сады. Пронизывающая сырость загнала жителей в дома. Переулки и тупики китайского Лондона мертвы.

Лица жителей серы, как вода Темзы, как небо над доками. Туберкулезом заражены здесь даже камни.

Черноволосые дети вялы и чахлы, будто пересаженные на непригодную почву растения.

Китайские женщины подрабатывают проституцией, старики попрошайничают. Цветных переселенцев попирают в доках все, даже их белые собратья по труду, чьи родословные, однако, насчитывают 5—6 поколений докеров. Китаец получает работу, от которой с возмущением отказывается англичанин. В каждом из портов Англии — в адском Глазго и Ливерпуле, в необозримом Лондоне — ежегодно мрут от постоянного недоедания, от горького пьянства, от разнообразных болезней нищеты тысячи китайцев, индусов, островитян, жизнь которых—жуткий человеческий документ, неопровержимая пропаганда против английского фальшивого благополучия.

В доках металлический гул машин покрывает голоса разнотипных людей.

С легким скрипом, плавно отделяется от плетеного ствола гибкая ветвь — под'емный кран. Многопудовые тюки не пригибают вместительную платформу качель, пролетающих по воздуху между пароходом и берегом. Человек здесь только мелкая вспомогательная часть мощных грузопод'емников...

В порту Лондона встречаются люди со всех материков земного шара. И каждый докер находит в Лондонском порту запах своей родины.

Склонившийся под тяжестью ящика морщинистый китаец с юга вдыхает, прикрыв глаза, сквозь доски аромат крашеных темных засушенных лепестков чая с плантаций, окай-

мляющих его деревню. Рис воскрешает перед ним залитые водой поля и кишащие малярийными комарами бамбуковые рощи.

Атлет-негр, балансируя нагруженными руками, несет и на голове корзину с дозревающими песочно-цветными бананами из Западной Африки.

К таре приклеены горделивые ярлычки-гербы United Fruit Company—могущественнейшего повелителя всех земель, на которых растут среди яркозеленой листвы на веерообразных ветвях жирные фрукты в золотой кожуре. United Fruit Company — неслыханно богатое Общество, скупившее, монополизировавшее торговлю бананами на всей планете.

С Цейлона в Лондон приходят ощерившиеся, похожие на коричневых ежей, ананасы.

Происхождение миллионов апельсин распознается по толщине кожуры, по их окраске и форме.

Англия поедает фрукты своих колоний, предпочитая южно-африканские апельсины мясистым алжирским и сочным бразильским.

Рябой индус нагружает ящиками с высокосортным индийским табаком черный грузовик одной из известных табачных фирм английской столицы.

Вчера он носил тюки индийского прессованного хлопка. Вся жизнь грузчика до того, как голод пригнал его в доки, прошла среди комьев белого волокна на коричневых хлопковых кустах.

На тщательно охраняемых складах доков ждет отправки в глубь Англии австралийская шерсть, бразильское кофе, малайский каучук, лес и пушнина из СССР.

Сегодня под'емные краны одного из доков в непрерывном движении. Невзрачный пароход привез бурую, как застывшая вулканическая лава, массу натурального асфальта с острова Тринидада, за находку которого так же, как и за картофель, бритты во всех учебниках истории благодарят настойчивого исследователя и ловкого вора чужих земель,— сэра Волтера Раллей.

На деревянной стене доков ветер треплет грязный клочок старого об'явления, разрывая в куски печатную подпись — Бен Тиллет. Имя лидера тред-юниона транспортных рабочих хорошо известно в порту не только по лживым профсоюзным документам и невыполняемым митинговым обещаниям.

Когда-то Бен Тиллет был одним из грузчиков Лондонского порта.

Теперь ничто в этом лоснящемся, разжиревшем низкорослом старике не изобличает его славного прошлого. Ничто, кроме обезображенной руки, лишенной нескольких пальцев, которую, как орден, показывает он на выборных собраниях и которую прячет, стыдясь, на банкетах либеральствующих зажиточных лондонских буржуа и профсоюзных генералов.

Пальцы с руки Бен Тиллета погибли под непосильно тяжелым, уроненным им, ящиком в Лондонских доках.

Бывший грузчик, ставший старательным надсмотрщиком над своими прежними товарищами, не единственный предатель докеров. Каждый парламентарий, член так называемой «Рабочей партии», отвечает перед историей за бездолье людей, затерянных среди невероятных богатств, выгружаемых в Лондонском порту.

Как постоянный укор, напротив окон Палаты общин, на берегу серой Темзы, за непроницаемыми оградами, тянутся доки.

3. БРИТАНСКИЙ МУЗЕЙ

Музей

В лабиринте улиц затерян Британский музей — гордость Лондона.

В холодные полусветлые залы свалены доставленные со всех концов земли трофеи Великобритании.

Не Персия или Турция, позаимствовавшие у неба и цветов краски, у поэзии сюжеты, у гаремных затворниц их преувеличенное представление о недосягаемом мире для поразительных ковров, не Персия и Турция владеют теперь совершеннейшим из них.

Первый ковер мира, страшный по числу затраченных на его создание часов, висит не в восточной мечети, не в славном дворце шахов, а в одной из неприветливых, мрачных зал Британского музея.

В сокровищнице Великобритании есть величайшие алмазы и кровеподобные рубины Индии, неповторимые по раскраске вазы, священнейшие, древнейшие будды Китая.

Британский музей — святилище. По закону каждая вещь, попавшая в его стены, никогда не может покинуть своего места.

Вот почему в 1931 г. на лондонской выставке персидского искусства был только вто-

рой по качеству ковер мира, принадлежащий польскому шляхтичу. Знатоки совершали паломничество в Британский музей к великолепному творению персидских ткачей, которого никто не смеет вынести за пределы «храма».

Египетский отдел — скучный, тесный, переполненный вещами склад. Справочные таблички не в силах оживить статуи, расставленные вдоль стен, как в антикварной лавке. Напыщенные фараоны, свирепые священные быки, звероликие мистические Изиды и Озирисы, испещренные иероглифами двери и фасады храмов, куски гладких колонн исторически немы, безынтересны вдали от породившей их Нильской культуры, оторванные от африканской земли и солнца.

Кое-какие редкостные предметы недавно после долгого торга были возвращены вместе с химерной независимостью Египту. Англичане любят вспоминать об этом досадном происшествии.

Узкие комнаты заменили нескольким десяткам мумий темные своды пирамид.

За смелую, неосуществимую мечту — постичь бессмертие, оставшись недосягаемыми для потомков, властелины Египта, спустя два тысячелетия, платят тем, что превращены в интригующие экспонаты столичных музеев.

Миллионы человеческих глаз разглядывают, изучают как древние письмена, иссушенные, выпотрошенные оболочки бывших некогда людей.

Смерть лишена индивидуальности. Одинаково жалки и отталкивающе безличны трупы храбрых полководцев и прославленных красотой танцовщиц храмов.

Сторож отдела мумий, бывший полисмен, лишившийся службы «по специальности» после всеобщей забастовки 1926 г., в которой принимал участие, — жиреет от безделия и скуки.

Рослый краснощекий ирландец, когда-то украшавший своей величественной фигурой гулкий перекресток Сити, приставлен охранять стеклянные могилы египетской знати.

— Чучела, — говорит он о мумиях. — Веселее жить среди дохлых крокодилов, чем сидеть здесь до сумерек.

Кладбищенская тишина терзает слух бобби[1]). Засыпая на табурете у дверей наиболее безмолвного отдела музея, он видит перед собой надвигающуюся лавину автобусов, вереницы черных автомобилей и невольно, по неисправимой привычке, поднимает руку, имеющую силу плотины, мгновенно задерживающей бурные потоки.

Три перекрещивающиеся улицы Сити более пяти лет были ему подвластны.

Античный отдел, не менее утомителен, обширен, мертв, нежели египетский. Неисчислимые могильные плиты, нарядные саркофаги, украшения домов и людей безуспешно пытаются воссоздать древний быт римских патрициев и греческих деспотов.

Среди изуродованных грустных обломков — останков далекого прошлого, не отыскать ничего, что рассказало бы о жизни миллионов рабов, ремесленников и крестьян.

Буржуазные разыскиватели исторических кладов презрительно уничтожили или возвратили земле малоценные, с точки зрения большого искусства, но полные живого смысла предметы обихода и труда бедняков.

Это «большинство человечества» древности пытаются теперь лишить исторического воскрешения, подобно тому, как когда-то лишали их права жить.

Британский музей в соответствии с официальной пресной летописью, называющей эпохи именами ничегонезначущих королей, реставрирует прошлое с помощью одних только неповторимых архитектурных уников и гениально выполненных предметов роскоши.

Но не только храмом искусства, не только неудачной иллюстрацией истории является Великий Британский музей. Он служит также образцовым пропагандистом национальных завоеваний.

С малолетства каждого островитянина церковь, школа и патриотические отряды скаутов приучают думать над глобусом о возвеличении империи.

В Британском музее ему умело прививают страсть к накоплению земель и вещей и ханжески раз'ясняют преимущества цивилизации, которую бритты доставляют на броненосцах жителям колоний. Диким и несчастным показан быт новой Зеландии до того, как англичане, движимые «христианскими добродетелями», взяли на себя заботу о просвещении и благосостоянии туземцев.

Отделы музея, посвященные «колониальному вопросу», составлены с точно продуманной и все той же агитационной целью.

---

[1]) Прозвище полисменов в Англии.

Многочисленные фото-снимки без конца демонстрируют идиллическое райское существование жителей на английских островах, в Южных морях. Ничто здесь не напоминает о неописуемой эксплоатации, о повальном пьянстве, о грозном выражении островитян, в итоге цивилизаторских зверств.

Из-за стекол шкафов смеются и хмурятся языческие боги. Восковая негритянка плетет из пальмовых листьев циновки. Под влиянием «добрых» миссионеров она спрятала красивое тело под уродливой белой рубахой.

В витринах груды наивных детских игрушек, раскрашенные необ'яснимые предметы культа, пышные наряды знахарей, женские ожерелья из перламутровых раковин, серебряные серьги для ушей и носа.

Беднее представлена отстоявшая себя Япония, но из Индии и Китая увезены несметные богатства...

Таков Британский музей, знаменитый сообщник грабежей знатных и богатых путешественников, безответных солдат и решительных монахов, — сказочная пещера жадных разбойников Али-Бабы, воспетых Шехерезадой.

Читальня

Изумление и радостный трепет ожидания чудес вызывает необозримый круглый зал — читальня Британского музея.

За тремя с половиною миллионами книжных переплетов живут мысли, фантазии, научные догадки, гениальные технические открытия многих столетий.

Хрупкие листы бумаги, придуманные буквы обладают заманчивой тайной продления человеческого бытия.

Перегруженные гигантские полки, уходящие под стеклянный купол потолка, напоминают грандиозный колумбарий. Но в старинных кожаных, в изящных матерчатых и обычных картонных переплетах-урнах — не хлопья пепла, а полнокровные обжигающие еще не остывшей, перешагнувшей века, злобой, унылые, разочарованные, звонкие, родящие смех, деловые и значительные — слова.

Но, как и кладбище, книжные шкафы, наперекор былым раздорам, соединили на одном пространстве — полке, лютых врагов и разбросали верных друзей в угоду рассчетливым, умело составленным, каталогам.

В обильном отделе французской революции опять встретились и поставлены рядом Дантон и Робеспьер, Марат и Мадам Роллан...

Одинок, как и в жизни, многотомный Данте.

В особом тайнике хранится свыше двух тысяч папирусов, извлеченных во время раскопок последних двух веков.

Не один десяток ученых посвятил себя их расшифровке и провел в читальне Британского музея большую часть своей жизни.

Студент астрономического факультета просматривает античные небесные карты вперемежку со средневековыми многословными и неясными записями предсказывателей судей-астрологов о затмениях солнца и загадочных «нашествиях» комет.

Путешественник ищет в каталоге географическую карту — предполагаемый контур неисследованного Южного полюса.

Суетливая, чрезмерно вежливая девица, оставляющая неразлучного друга-сеттера у сторожки дамской уборной, углубилась в шарлатанский учебник хиромантии.

Ее стол завален книгами с оттисками пальцев и ладоней гениев и преступников. Сопоставляя свою красную, испорченную ревматизмом, руку со снимками, она ищет крестик брака и бугорок (!) материнства.

Рядом студент-химик зазубривает, выписывая ставшие общедоступными формулы смертоносных удушливых газов, тех, что уничтожали сверстников рыжей девицы и тем лишили ее мужа и детей. Стареющие в девичестве англичанки — своеобразные жертвы последней войны. Мужчины их поколения погибли.

Буржуазный французский историк, не нашедший достаточных материалов в Национальной билиотеке Парижа, принужден был приехать в Лондон, чтобы перерыть письма и счета Марата. Заодно он опять просматривает любовный бред и политические памфлеты неугомонного политикана Мирабо.

Историк собирается еще раз оклеветать последовательного революционера и воспеть обаятельного болтуна.

Розовая, смиренная старушка старательно выписывает необходимые цитаты для исследования о «божественной» жизни старого полусумасшедшего пьяницы Бутса, первого генерала «Армии спасения», — субсидируемой буржуа и ханжами организации, эксплоатирующей с помощью библии безвыходность и отчаяние бедности.

Неудачливый компилятор с важным видом выдергивает цифры из справочников, чтобы подтвердить ранее выкраденные и плохо пе-

реляцованные размышления и анализы соответствующих знатоков вопроса.

Напыщенная ученая дама кончает эстетическое исследование об особенностях «фламандской школы в живописи».

Режиссер кино-предприятия перелистывает квадратные тома «Истории костюма»; за соседним столом пришедший с ним художник быстро срисовывает несложную одежду кельтов.

Уезжающий в Индию чиновник знакомится с разнообразными проявлениями тропической малярии, с ловлей и приучением слонов и правовыми преимуществами англичан перед индусами.

Несколько нарядных дам — счастливых обладательниц постоянных входных билетов — зашли в читальню по пути погреться и написать необходимые праздничные поздравления.

Читальня Британского музея, на протяжении семидесяти четырех лет существования, была любимым местом умственного отдыха и труда для сотен политических эмигрантов.

Ее посещали Герцен и Огарев, славные изгнанники царской России, бунтарь Золя, покинувший Францию после настойчивой, но неудачной вначале попытки спасти Дрейфуса.

В библиотеке Британского музея создан «Капитал». Годами здесь работал Карл Маркс. Здесь же провел счастливые часы перед книжным пюпитром Ленин. Один из библиотекарей читальни запомнил этого посетителя, пораженный его скромностью и разнообразием в выборе чтения.

«Мистер Ульянов приходил аккуратно, быстро отыскивал в каталогах нужные ему книги, читал их внимательно, делая иногда выписки. Я всегда думал, что он большой русский ученый. Помню, когда мистер Ульянов вдруг перестал приходить. Впоследствии я узнал его фотографию и рад был тому, что он стал очень знаменитым и великим человеком. Я не мало думаю о нем».

Маленький мозг служащего давно превращен в исчерпывающий длиннейший каталог. Он знает все номера полок и не мало титульных книжных листов. Его преклонение перед книгами так велико, что он никогда их не читает, исключая лишь руководства по разведению голландских тюльпанов, да правил игры в гольф.

Он часто думает о странном русском, которого весь мир признал гениальным. Но Ленин остается для него таким же загадочным незнакомцем, как книги, которые он знает только по номеру полки, переплету и титульному листу.

Рейс труда

П. Слетов

I. ВЕСЕННИЙ ПРИЧАЛ

Придавило все звуки.

Снизу — молоко Японского моря, сверху — подушка тумана. Вселенная сузилась до небольшого видимого круга, в котором по временам играют жирные суетливые пары дельфинов, да с края мелькнет фонтан кашалота. На почерневшие снасти, на лица сверху падает тонкая пыль влаги. Каждые пять минут — гудки.

Так шел к Сахалину пароход «Вуянг» тогда, когда еще не везде прошла весенняя ледяная шуга, когда семьсот человек строителей новой жизни несли ее в своих руках на остров, торопясь поспеть к началу сезона: страна долгим, внимательным взглядом — на пять лет вперед — посмотрела на хозяйство своего острова.

Вошли в Татарский пролив, и туман развеялся белыми пернатыми клочьями, оседланными ветром, а море освинцевело. На траверсе пятидесятой параллели — советско-японской границы — курс парохода изменился. Вдали загромоздились профили гор, идущих по сопредельным землям — южным, Карафуто, и северным, советского Сахалина.

Остров переполнен сопками, им некуда податься, они вытянулись цепями вдоль побережья и крайние отступились в море. Но почти везде виден след удара, выгнавшего их от века из-под моря наружу — в напряженности очертаний, едва сохраняющих равновесие, в заостренной неприступности таких гор, как Китоуси. Крутые склоны сопок, обращенные к Татарскому проливу, покрыты еловой и пихтовой тайгой, а с парохода «Вуянг» они казались траурной парчей — так чередовалось серебро нестаявшего снега с черным бархатом лесной хвои.

Пильво — река в распаде сопок, а в устье ее — населенный пункт того же имени, самый южный по западному побережью. Здесь надлежало «Вуянгу» оставить сто пятьдесят человек рабочих-лесорубов, плотников. Бросили якорь, спустили катер и кунгас — омраченное море уже начало их, грозя расплющить о борты парохода. Из сахалинских падей уже высунулись клочковатые головы туманов, гонимых засвежевшим ветром.

В Татарском проливе дно каменисто, берега неприютны, неприступны, а ветер разметается в шторм внезапно. Катер отвалил к берегу, когда только «штормило». За время, нужное для того, чтобы дойти до остатков берегового льда, разгрузить людей и вернуться к пароходу — всего около часа, — на море уже насел настоящий шторм, мял, бил, крутил, заводил тысячетонную пляску. «Вуянг» дрожал на якорной цепи, ждал только возвращения катера, чтобы сняться и уйти штормовать в открытое море. Оставить катер в Пильво — лишиться средств выгрузки.

Но шторм обгонял все расчеты. Вскипятив до-бела морской свинец, он уже поднимал и бросал его такими слитками, он открывал в нем такие пустые глубины, что трудно было представить себе, как в этой неверной качели, когда все на пароходе уже ходит ходуном, когда весь пароход летает из пади на холм, и снова в падь, — как принять к себе на борт спущенный катер и кунгас? Как подойти?

Сотня людей, крепко держась за борты и за снасти, наблюдала возвращение катера. Он полз с мучительной медленностью, волоча за собой пустой кунгас. Вот, наконец, повернул, стал разворачивать, подводя кунгас к пароходу. С парохода полетел конец, его приняли и закрепили матросы кунгаса. Катер немедленно

подальше отошел от опасного соседства с пароходом. Кунгас остался одиноким, взлетая и падая. Торопливо загрохотали лебедки, опуская петли под'емного троса. Среди плеска, грома, многосаженных качаний китайские матросы подвели под кунгас первую петлю тали. Но когда с каждым мигом возраставшие волны, как бы ради пробы, швырнули кунгас выше палубы парохода, а затем море разверзлось чуть не до дна, китайцы, бросив кунгас на произвол судьбы, сами поднялись по тросам на палубу, наотрез отказавшись подводить вторую петлю. Да и во-время. Не прошло нескольких минут, как кунгас был разбит вдребезги.

Дали знак катеру итти к берегу — слишком ясно стало, что при под'еме на борт его ждала бы печальная участь. Но на катере был человек, который не мог покинуть пароход по долгу своей службы. Катер приблизился сколько было можно, снова мелькнул в воздухе канат, человек обвязался им и бросился в стон, визг и грохот моря. Военная гимнастерка и синие галифе заметались среди пены волн. Десятки рук подхватили канат на палубе. И когда над бортом парохода показалась мокрая фигура человека, обвязанного канатом, сквозь шторм и рев к Сахалину рванулось такое «ура» человеческого редкого восторга, что было несомненно: это первое торжество победы над природой из длинного ряда других торжеств, других побед.

Пароход ушел штормовать в море. Катер благополучно выбросился на берег.

Люди на пароходе перестали считать дни и ночи — считали запасы оставшейся пресной воды, учитывали наличие продуктов. Трюм задыхался. На палубу, вылизанную волной, решались выходить только самые крепкие. Блудливые братья — страх и ропот прятались по углам, временами возвышая малодушные голоса.

Но в помощь коменданту собралась команда добровольцев — молодежь, комсомольцы. Хранили порядок, участвовали в работах сбившейся с ног китайской команды, не думая, где геройство, где долг.

И долго море плясало черными взрывами, то с высокого верха обрушиваясь на людей, на палубу, то обнажая пароход по самый киль, пока не стихнул шторм. «Вуянг» остановился перед Александровском, лишенный всяких средств выгрузки — все поглотило море.

Александровский «порт» знал из радиограммы о катастрофическом положении парохода, об отсутствии на нем пресной воды, продовольствия. Но небольшой его ковш был во льду, а катера и баржи еще не спущены на воду. Полтораста человек грузчиков и двести пятьдесят красноармейцев погранотряда спускали тяжелые катера в течение пятнадцати часов. «Вуянг» был разгружен.

Так была открыта навигация в 1930 г.

Это — не лирическое вступление в очерк, это — почти протокол.

Рассказ об этом я слышал несколько раз. Слышал я и о других пароходах, плывших к Сахалину в период весенних штормов—почти всем пришлось пережить подобное. Впрочем Татарский пролив давным-давно известен своими весенними бурями, и мало ли пароходов ходит в морских ураганах? Об этом не стоило бы вспоминать.

Но тут, быть может, единственное по своей особенности, сочетание разнузданных стихий и плановой человеческой воли.

Потому, что до сих пор Сахалин оставался весь во власти стихий и потому, что сейчас, несмотря на эти стихии и вопреки им, к острову тянется сплошной поток человеческих рук, голов, сердец, товарных грузов, машин и скота, осуществляя пятилетний замысел. Поток этот не может запаздывать, ждать окончания весенних штормов.

Пароход «Вуянг» был полон строителей пятилетнего замысла и сам был частью замышленного плана.

Пришел.

В срок.

2. НА РЕЙДЕ

Летом легче.

Через семь-восемь дней после выхода из Владивостокского порта пароход уже на рейде перед Александровском. Разгрузка идет споро и слаженно.

У грот-мачты кучится, громоздится багаж, домашний скарб — от зачехленных щегольских чемоданов ответственных работников до безответственной и такой красноречивой нищеты вятского или псковского переселенца. Узлы, сундучки, корыта, самовары, плотничий инструмент — все попадает в веревочную просмоленную сетку. Цепкий крючок подхватывает ее углы, грохочет лебедка, скользят по блокам тросы, сетка гигантским суспензорием взвивается кверху.

— Ко! Ко! — кричит китайский старшина-грузчик, руководя движением лебедки.

Рука его в это время трясется, трезвонит пальцами, поднимаясь все выше над головой, глаза прикованы к грозди возносимого груза, так же, как глаза китайцев-механиков, налегших на рукоятки двух лебедок, прикованы неотрывно к его трезвонящей руке. Натянута зрительная цепь: механики — рука старшины — трюм или пришвартованный к пароходу кунгас. И соответствующая ей механическая: трюм — трос под'емной стрелы — трос боковой надбортной — кунгас.

Груз на минуту застыл, сетка вращаясь.

— На! На! — кричит старшина, приседая и жестом руки посылая груз книзу.

Громоподобный блев лебедок — трос стремительно скользит вниз, и груз, недоупав на полметра, повисает над кунгасом. Одним движением руки старшина снимает всякую осторожность: бросайте, мол, не страшно...

Сундучки, самовары, матрацы, гитары, корыта разваливаются по кунгасу, трос уже выдергивает из-под них сетку, торопится уползти вверх, на палубу, где возле квадратного люка трюма уже выросла на запасной сетке вторая куча скарба, суетятся, бегают пассажиры, и матери тычут в губы разоравшихся младенцев не сахалинскую, а все ту же — вятскую, псковскую — родную грудь. Матерям предстоит из наседок стать на минуту летными птицами — в той же сетке, воссевшими на сундучках, их взовьют на воздух и прямо опустят в кунгас: он, как зыбка, только привычная нога ступит на него со шторм-трапа уверенно, а на кого мало надежды — лучше уж в сетке, по воздуху.

Пассажиры следят за разгрузкой, смотрят на неизвестный берег, на окружной город, взбегающий к сопкам, и, вместе с клокочущим в лебедках паром, бьются сокровенным разнобоем человеческие сердца.

— Я свершаю юношескую мечту — ступить ногой на остров тайных недр, таежных суровых див. И вторую, зрелую — расковать плененные недра суровым дивом совокупного человеческого труда — все для счастья той же огромной и пока бесподобной рабочей страны!

— Я за углем. Нет ничего нужнее угля, металла, нефти...

— Я — за длинным рублем.

— Я — с диоскурами своего класса, на гребне первой волны.

— Я — беспашпортный. Социального происхождения нет, запамятовал. Профбилет потерял. Лет сорок, чи пятьдесят...

— Я к мужу...

— Я — от молодости, от избытка сил.

— Мы — старатели...

Плещут волны, остров голубеет в тончайшей дымке, залитый солнцем. Издалека какое-то окно бросило на пароход случайный отблеск, слепит глаза. Слышатся взрывы с зеленого черноголового мыса Женкьер, ревут лебедки, пароход, разгружаясь, теряет осадку...

И летят, летят, летят в кунгасы люди, дети, ящики, мебель, листовое железо, коровы, мешки, лошади, штуки толя, тюки сушеных овощей, рыболовная снасть, бочата. Нет пока у Сахалина ничего своего, кроме недр: земных — нефти, угля; морских — рыбы, иода; таежных — леса и под ним плодоносных почв. Все требует человеческих рук, машин. Люди, машины хотят и крова, и пищи. Все надо везти: соль, гвозди, посуду, сахар, пилы, крупу, лопаты, топоры, масло, спички и... пудру с одеколоном. А из Грозного, из Туапсе, Рязани, Москвы, Донбасса, с Алтая, Камчатки, Урала и даже смоленских полей люди едут в поездах, плывут в пароходах, спешат, торопятся — поскорей, до конца сезона, прибыть на остров, чтобы рубить, пилить, копать, забивать, строить, вздувать горны, проходить шахты и выкорчевывать тайгу.

3. МОЛОДЕЖЬ НА КАРТЕ

— У москвичей самое превратное представление о Сахалине. Когда ты будешь рассказывать о том, что здесь делается, то, прежде всего, проси, чтобы забыли все, что читали когда-нибудь о здешних местах.

Это мне говорил один из хозяйственников острова, израненный краснознаменец, бродя со мной по побережью Най-ная, показывая хозяйственные службы.

— Сахалин переворачивается. Я говорю образно: западный берег опускается в море, восточный поднимается из воды. Представляешь себе? Переворачивается, если перевести отвлеченно-геологический смысл на язык образа. Разумеется, процесс этот обнаруживает себя в веках немногими метрами погружения и поднятия...

При этих словах беседовавший со мной на Воеводинском руднике геолог осторожно поворачивал свою ладонь, изображая геологическую жизнь острова.

— Посмотрите на карты — вы увидите, что западный берег по преимуществу горист, сопки обрываются в самое море. Восточное же побережье, наоборот, низменно, представляет из себя ряд длинных лиманов, образованных поднимающимся дном моря... Вообще же говоря, Сахалин, по крайней мере, два раза погружался целиком в море и снова поднимался на поверхность. Об этом свидетельствуют чередования каменноугольных пластов с меловыми.

Надо думать, что большинство строителей сегодняшнего Сахалина меньше всего беспокоит геологическая история острова, его измеряемое веками переворачивание. Но с первого же шага по сахалинской земле каждый прибывший наглядно видит и ежеминутно ощущает другой всесахалинский процесс — остров совершенно переворачивается в смысле хозяйственном и социальном. Карта его меняется чуть ли не с каждым месяцем, а если бы к этой карте составить «легенду», подобно тому, как это делается к военным крокам, она зазвучала бы поистине легендарно уже спустя один хозяйственный квартал после написания.

Советская территория острова, площадью в 40 986 кв. км, изображенная на листе VIII-бис сорокаверстки, издания корпуса военных топографов, носит еще названия, надписанные по старой орфографии, хотя имеется пометка об исправлении государственных границ и нанесении железнодорожных линий по данным 1929 г. На этой сорокаверстке напрасно искать, например, Оху — второй по величине населенный пункт, насчитывающий до 7000 жителей. Не найдешь на ней ни Катангли, ни Ноглики, хотя в первом уже светит электричество, а второй — районный туземный центр со школой, больницей — двухэтажными постройками. Окружной город Александровск, с населением, доходящим до 10 000 человек, называется слободой... Примерно, тоже и на более свежих картах. И где уж им угнаться за исправлениями, вносимыми московским и донбассовским пролетарием в экзотически звучащие местные названия: Дуэ становится Дуей, Хоэ произносится как Хоя, вместо Пиль-во, Москваль-во, Виск-во — Пилево, Москалево, Висково... Нет, за переворачиванием Сахалина по карте не уследишь. И, даже читая все советские газеты, не получишь понятия о том, что там творится — до странности равнодушно проходит наша пресса мимо неповторимых по размаху и значению фактов. Чтобы уловить, чем дышит сегодняшний Сахалин, нужно на нем побывать. Но и я, пишущий эти строки, только что вернувшийся с острова, знаю, что он уже не таков, каким я его покинул, что он ушел вперед еще дальше по своему пятилетнему пути за то время, пока я одолевал разделяющие нас 10 000 километров.

Не уследишь за сдвигами сахалинской жизни и по тем официальным источникам, которые имеются на... самом острове.

Данные всесоюзной переписи населения 1926 г. и приполярной 1926/27 гг. скажут, что всего на острове 144 населенных пункта оседлого населения и 12 стойбищ кочевого, с общей цифрой жителей — кочевых и оседлых — в 11 859 человек (из них около 2000 туземцев). Но спросите в планово-статистическом отделе Александровского окрисполкома, сколько же жителей сегодня, и вы получите только предположительные данные: по предположениям Крайстатотдела (Дальневосточного) на 1 января 1929 г. население округа исчислялось в 16 500, а по предположениям Окрплана (Александровского) на 1 января 1930 г. — 23 000. Впрочем бурный рост населения явно вырвался из-под учета Окрплана. В плановом отделе АСО идет речь уже о совсем иных цифрах, вдвое больших: считается, что на первое октября 1930 года население Сахалина достигло 40 000 человек.

Суть не в цифрах. Суть в том, что за девятимесячный срок удвоение населения произошло не по графе «родилось», а по графе «прибыло». А прибывают: переселенцы-землеробы, горняки-шахтеры и нефтяники, пильщики, дроворубы, рыбаки, инженеры, землекопы, трактористы, агрономы, геологи, кузнецы, техники, конторщики, зверобои, плотники — и почти все — молодежь, молодежь, молодежь.

Сахалин строится молодежью, ему нужны молодые, крепкие руки, смелые головы, свежие, выносливые нервы.

Совсем недавно комсомол бросил туда 1 200 своих членов. На обратном пути, на сибирских перегонах, я то и дело встречался с эшелонами молодых строителей Сахалина.

4. ОТ КОВША К НЕДРАМ

Александровский ковш купает свои сваи, примерно, в двух километрах от города. Деревянной буквой Т он ткнулся в море и в пазухах своих держит до десятка катеров, кунгасов, барж.

Пассажиры, выгруженные с парохода, всматриваются вдаль, туда, куда влились плавные

повороты узкоколейки. Она вьется между зданий складов, транспортных контор, портовых учреждений, между штабелями леса, досок, бунтов пакли под брезентами, проволоки и тросов. Направо от нее — гряда сопок, окунувшаяся в море мысом Женкьер и уронившая в волны три камня — Трех Братьев, — тяжко упираясь в землю, тащит в глубь острова и не может вызволить пропащих братьев. Налево — долина реки Александровки, где прыгает мостами с берега на берег город. Пассажиры почти все едут работать в АСО, для АСО, в связи с АСО. Они ждут вагонеток, которые укатят в город их поклажу, они ждут представителя АСО, который скажет им, где приютиться — гостиниц на Сахалине нет, квартирный вопрос сложнее, чем где бы то ни было в Союзе. И когда появляется, наконец, долгожданный представитель АСО, его встречает град вопросов:

— Получили вы мою радиограмму? Готова ли квартира?.. Где нам поместиться?.. Куда нам деваться?..

Представитель АСО почесывает голову, успевает дважды пересчитать глазами всю немалую толпу прибывших и, наконец, отвечает:

— Видите ли... Пароход пришел неожиданно... уж не знаю, как вас всех разместить...

Следует оторопелое молчание.

— Конечно, — иронически сочувствует один из прибывших, — разве можно ожидать? Совторгфлот существует всего несколько лет, кто его знает, есть ли у него вообще пароходы... Может быть, он занимается помолом муки или добычей торфа...

Представитель АСО терпелив и безразличен, его не трогает ни ирония, ни возмущение — утрясется. Наконец, транспортная контора дает вагонетки, появляются телеги, поклажа пассажиров распределяется смотря по тому, кому куда. Часть направляется в пушной склад, приспособленный для временного жилья, часть — в палатки, часть, наиболее счастливая, у кого есть раньше приехавшие на остров товарищи, — по квартирам. Вслед за вагонетками, подталкивая их вручную, вслед за телегами пассажиры двигаются по старой дороге кандальников к городу. И тут их впервые поражает обилие ирисов в придорожной канаве. Эти дикорастущие ирисы провожали транссибирский поезд по всему Уссурийскому краю, а здесь, на острове, с его запоздалым против материка вегетационным периодом, они в полном цвету. Огромные, похожие формой на табак, листья сладкого, иначе медвежьего корня, сплошь заполняют ту же канаву, скрывая близость подземных вод. Листьями этими на острове кормят свиней — самый распространенный домашний скот Сахалина, поэтому-то так часто попадаются навстречу прибывшим мальчики и девочки с целыми снопами сладкого корня за спинами.

По мере того как прибывшие подвигаются вперед, к городу, природа отходит на второй план: слишком жадно интересует другое — как здесь живут, как работают, что за условия для жизни? Слишком кровно заинтересован каждый в этих вопросах — по договору с АСО сюда едут на срок два года, срок не малый, не все равно, как и в каких условиях его прожить. Оттого-то так остро замечается каждая черта островной столицы, в которую вступают прибывшие.

Во-первых, досчатые бараки. Все они белы от проплясавших недавно по ним топора и пилы, вокруг них еще не втоптаны в землю опилки и стружки.

Во-вторых, бревенчатые бараки, предназначенные для жилья. Быть может, это временный перерыв в работах, но они стоят возведенные наполовину и пустые — не видно ни одного рабочего, ни одного плотника. И тем не менее вид постройки так свеже-покинут, что кажется, вот-вот начнут бревна взлетать и сами собой, как в кинематографической мультипликации, укладываться в нужные гнезда, в предназначенное место.

В-третьих, склады. На них вывески, повторяющие все те же три буквы «АСО». Перед складами то, что в них не поместилось: плуги, молотилки, жнейки, бороны, груды мешков, какой-то сложный станок... Все это под навесами или под брезентами, но подчас и просто под открытым небом. На брезентах, на деревянной таре — марки с адресом АСО.

— Позвольте, а что такое АСО? — спрашивает, очнувшись, какой-то очень самоуглубленный пассажир.

— А вы кто такой? К кому приехали? — интересуются спутники и только сейчас понимают, что до сих пор почему-то не обращали на него внимания, хоть и видели его постоянно на палубе парохода.

— Я лингвист и этнограф... В научной командировке.

Взгляды спутников становятся снисходительнее.

— АСО — это Акционерное Сахалинское общество, — об'ясняет кто-то рассеянному асти-

ранту. — И вам полезно поинтересоваться, чем оно ведает, АСО — здесь полный хозяин, без него не обойдетесь. Вот, посмотрите, у меня кстати сохранилось...

Вынув бумажник, он передает аспиранту довольно потрепанную газетную вырезку, и тот, находу выяснив, что «АСО организовано с целью развития экономической жизни и рационального использования естественных богатств Сахалинского округа, об'единения хозяйственной деятельности в названном округе и укрепление его связи с остальной территорией СССР», — успокаивается. Нет, это его не касается, он ничего не упустил.

— АСО призвано быть хозяином и создателем нового советского Сахалина,— снова подтверждает осведомленный приезжий. — Оно, если хотите, — здешний Каннифершт ант.

«Канниферштант? Да, да, очень интересно. Должно быть, канцелярия, фабрика, да две-три мастерских. Но ведь я в Александровске только проездом, а уеду в глубь острова к нивхдельцам и никак это меня не будет касаться».

Так думает заезжий лингвист. Скоро он будет думать иначе. Спросит он, выезжая из Александровска, у своего возницы:

— Чьи это огороды?

— АСО, — скажет возница.

— На кого работаете? — поинтересуется лингвист в пути, увидев черную рану нового штрека в подошве солки, и прощебечет торжено обнаженный по пояс забойщик-китаец:

— На АСО.

Асовские рабочие задержат лингвиста в спуске вниз по реке Тыми, заарендовав все свободные гиляцкие лодки. В тайге столкнется он с лесоэкономистами АСО, просекающими визиры. Рыболовная артель гиляков ему скажет, что улов свой сдает в рыбозасольный сарай АСО, а тунгус на его глазах понесет шкурку соболя сырьевщику-асовцу.

И не раз, не раз еще скажет лингвист про себя, сперва подивившись могуществу Канниферштанта:

— Бедный, бедный Канниферштант...

Потому что не раз бросится ему в глаза: тут железо, ржавеющее под дождями и не накрытое даже брезентом, там — словый экспортный баланс, вынесенный прорвавшей банку рекою в море и бесполезно разбросанный по линии прибоя.

Но сейчас, подвигаясь все ближе к городу, входя в его разреженное предместье, вертя головой во все стороны и стараясь уловить особенности этого исторического в царистской системе использования окраин города, аспирант не может заметить следов былой каторги. По старой литературе, да по неохотным ответам кое-кого из старожилов найдет он место превращенного пожаром в пепел Александровского централа, найдет следы кузницы, где заковывали в кандалы, да мимоходом узнает, что на дворе столовой, где он обедает, стояла когда-то виселица. Знаки нового труда, ревя по улицам тракторами, автомобилями, воя зубьями циркульных пил, свистя и лязгая буферами узкоколейки, заглушат и сотрут угрюмые воспоминания. Проклятием забвения накладывает труд печать на мертвое сахалинское прошлое.

А город такой, каких много среди уездных городов Союза. Одноэтажные деревянные домики крепко держатся за свои огороды. Повсюду деревянные тротуары, гулко играя людскими шагами, струятся то вниз с одного отлогого холма, то вверх на другой холм, полосатятся досками то продольно, то, как детские цимбалы, поперек. Особенность улиц: на них не видно канав. Вода бежит под тротуарами, и ее много во время дождей. На перекрестках улиц журчат живые сосульки водоразборных колонок. Часто вдавлены следы японской оккупации: безобразные и антисанитарные постройки общественных уборных окружены стогами зловония, дешевым суррогатом сереют оштукатуренные «фаршированные» дома японской стройки.

О неумении японцев строиться на севере следует говорить особо. Но следует отметить, что, очевидно, тип фаршированных домов соблазняет быстротой, с которой возводятся их непрочные стены: между двумя слоями досок оставляются пустоты, засыпаемые опилками. Штукатурка сообщает постройке внешне благопристойный вид. Однако достаточно посмотреть на развалины казарменных помещений, оставшихся от времен пребывания оккупантов на северном Сахалине, чтобы убедиться, до чего непрочны и рыхлы эти строения, в которых запечатлен то ли дух имитации и торгашеской дешевизны, с каким стараются японцы догнать и перегнать материальную культуру своего заокеанского соседа — Соединенные Штаты, — то ли неизживаемый ужас перед землетрясениями, вывезенный с родных островов. Сейчас, если не считать вновь строящихся бараков и палаточных городков АСО, которыми Александровск расширяет свою жилищную емкость до нужд,

вызываемых небывалым наплывом трудового люда, город держится в пределах тех же трех-четырех улиц, что застал еще Чехов.

Есть наследие и более древнее, генерал-губернаторское, теперь совершенно почти бесполезное: казенный кусок архитектурной безвкусицы в виде церкви, приспособленный ныне для общежития и неудобств его обитателей, и мечеть. Но религиозный культ, как таковой, на Сахалине сохранился только среди туземцев.

Внешность Александровска неотделима от его окрестностей. Он утонул в долине, окрестности со всех сторон набегают на него, видны со всякой улицы. К югу и востоку сопки укутаны черным лесом, круто застыли в позах незаконченного бега в глубь острова. На север местность повышается довольно отлого и оголена вырубками, палями. На западе утром голубеет, а вечером пламенеет Татарский пролив — город-то все же приподнят над ним довольно высоко. И только справа море заслонено отрогом небольшой сопки — на ней кладбище, заросшее деревьями, переходящими непосредственно в тайгу. Не раз уже приходилось мне замечать, что в приморских городах любят выносить кладбища на высоту и ближе к морю. Оно и неплохо — вернуть переставшего жить материальной стихии. Но здесь, на Сахалине, как-то особенно подчеркнуто это расположение кладбища. Старые кресты простирают свои руки на запад, к материку; в дальнем конце кладбища пять огромных и совершенно одинаковых крестов, упершись в самую тропинку над прибрежным обрывом, до того явственно тоскуют о материковой родине, что тут вот невольно подумаешь о каторжном прошлом острова. Новые могилы лежат под лучами красных звезд, химический карандаш пробежал по лентам, обантовавшим древко, и, пробежав по карандашу, узнаешь, что этот холмик сгорбился в 25 году над останками тела партизана, а тот лег и прикрыл собою погибшего от туберкулеза в 1926 г. коммунара.

Пышность сахалинской растительности общеизвестна. Известна и плодоносность кладбищенских земель. Можно же себе представить, что получается от перемножения этих качеств, какая сила вегетационной эрекции — никогда не видел так буйно заросшего, как александровское, кладбища. Среди бузины, древовидных размеров, и всевозможных лопухов, могучих, прочных, как кустарник, обращает на себя внимание морской шиповник—листья его клейки, цветы велики и напоены запахом розы.

Хорошо стать спиной к кладбищу на высоком надморском берегу и увидеть на залитой солнцем поверхности Татарского пролива катер, скользящий от Александровска к близкой рыбалке — Половинке. Хорошо встретить там подлетающий с материка к острову самолет. Хорошо услышать вдруг глухой подземный удар — сразу вспомнишь: Сахалин переворачивается... И, забыв о кладбище, и обо всем прошлом, ощутишь, как отдался удар в груди, заспешишь, заторопишься туда, где рвут аммоналом базальты мыса Женкьер, где ураганом по тайге проносится работа тракторов, где завывают пилы Тернера, где кайло клюет неподатливые породы, где жизнь и труд, и тысячи повторных упрямых усилий.

5. ФЛАГМАНСКИЙ ГОРОД

Солнцеточивые июль—август тридцатого года несут свои вахты на острове, плывущем по далеким морям. Город Александровск держит штурвал.

Если рано утром выйти из дома и пойти на жужжащий издалека жесткокрылый металлический звук, попадешь к концу Советской улицы, к тому ее краю, который упирается в морской горизонт. Он замкнут небольшой часовней. В ней склад горючего для автомобилей и тракторов АСО, вытянутых в ряд около часовни, отсюда-то и разносится по воздуху урчание и стрекотание моторов.

Тяжелые, красного цвета, «монархи» заржавели по своим некрашенным частям и греются неподвижно на солнце, как привозные, больные, плохо привыкающие к новому климату животные. С ними случилось несчастье: пароход, на котором они были погружены, бросило штормом на скалы Приморья, он дал течь, трюмы залило водой. Пришлось перегружать тракторы на другой пароход, но морская вода уже успела пробраться во внутренность моторов и жестоко из'ела ответственные части. Вместо того, чтобы взрывать сахалинскую целину, тракторы поступили на длительное клиническое лечение в механическую мастерскую АСО. Одну за другой машины разбирают, кропотливо чистят, притирают, пригоняют части, собирают снова и приступают к испытанию: будет ли слушаться управления, повернется ли, даст ли обратный ход. Часто случается, что ремонт несовершенен, остаются неисправности, машину приходится снова разбирать, длительно прове-

рять, опять собирать, вновь сдавать в испытание. Оттого-то и тарахтит с раннего утра воздух над концом Советской улицы.

Ремонтируют ударники. Многие из них впервые берутся за такую работу. Но Сахалин пред'являет требования. Здесь сама жизнь, природа, борьба с нею заставляют повышать свою квалификацию и волей-неволей выполнять то, что казалось бы непосильной задачей на материке. Основные рабочие кадры часто бедны техническим опытом, от этого ремонт тракторов, например, затягивается, протекает ненормально долго. И тем не менее ремонт осуществляется, — хоть запоздало, но выходит трактор наверстывать свой невольный прогул. Учит работать остров то простое обстоятельство, что надеяться не на кого, кроме как на себя.

Тут же невдалеке суетится почта, телеграф, дом, на котором крупными буквами написано «Кунст и Альберс» (немецкая торговая фирма концессионного характера, дальневосточный Мюр и Мерелиз, ныне ликвидированный и занятый общежитием работников правления АСО), отделение госбанка и окрисполком, помещающийся в бывшем генерал-губернаторском доме. Тракторы переваливаются вдоль и поперек улицы, вертятся на месте, кружат, а между ними то и дело снуют люди по тропинкам, вытоптанным поверх уличной пыли, нитями соединяющими все эти дома. Люди об'единены одной целью. Замышленный разворот хозяйства собрал вокруг себя, сплотил, увлек за собой все учреждения. Административная жизнь острова поневоле отступила, побледнела перед этими огромными целями, огромным потоком людей, несущим с собой трудовую зарядку всех индустриальных центров Союза. Банк, почта, суд, школы, бани — все получило иной смысл существования, захлестнутое потоком новых задач, и даже окрисполком сжался в нескольких комнатах, а весь остальной немалый генерал-губернаторский дом занимают различные отделы АСО

Впрочем АСО далеко не целиком помещается здесь — отделы его разбросаны по всему городу. Его появление вызвало на Сахалине ряд явлений, сопутствующих всякой большой стройке. Совершенно исчезла безработица. Наоборот, стала ощущаться резкая нужда во многих категориях рабочих и служащих, о завозе которых раньше не задумывались, рассчитывая обойтись местными силами. Началась перебежка: из земельных органов, просвещенских, административных сотрудники пачками устремились во вновь организуемые отделы и филиалы АСО. Местные учреждения беднели силами. Но на это приходилось смотреть сквозь пальцы — слишком властно диктовало хозяйство острова свои требования, слишком очевидно было понижение удельного веса административных органов рядом с хозяйственными: многие функции администрирования фактически отходили к АСО. Разрастаясь, увеличиваясь, АСО втягивало в себя все, что не мог обслужить окрисполком: переселенческое дело, начатое сельскохозяйственным отделом, поглотило нужды землеустройства, лесной отдел отвоевал лесоустроительные функции. Почти по всем фронтам — горному делу, жилищному строительству — окрисполкому пришлось уступить, отдав предприятия, сохранив лишь контроль.

Сахалинцы шутят:

— От окрисполкома осталось одно РКИ.

Оттого-то помещения его в конце Советской улицы тихи, скрипучи перьями, трескучи ремингтонами — в них не чувствуется оживления. Зато вокруг кипит асовская суета. Приходят за расчетом партии рабочих, толпятся в коридорах шахтеры, пильщики, грузчики, шоферы, что ни стол — то заседание, носятся десятники, производители работ: здесь штаб александровского комбината АСО.

К зданию подкатывает пролетка — кто-то ездил к пристани; разгружаются две телеги, полные охотничьих ружей — это подготовляется сырьевой отдел к осеннему сезону; проехал от дома Кунста автомобиль — повез на Мгачинский рудник инженера и техника; протрусил верхом комендант асовских зданий; со двора выходит цугом длинный караван навьюченных лошадей — снарядилась какая-то экспедиция по сахалинскому бездорожью. Она движется медленно — пойдите за ней, поинтересуйтесь куда — в лес, или в предназначенные к разделке долины. Пока вы будете, походя, разговаривать с обезличенным хаки человеком в полной уверенности, что собеседник ваш — сожженный летним солнцем конюх, пока будете удивляться своей ошибке, вдруг услышав от него рассказ об истории триангуляционной с'емки на Сахалине, вы пройдете мимо топоров строящегося двухэтажного дома, что тявкают и чавкают по вязкому дереву, мимо рабочего клуба, мимо завешенных плотными шторами окон японского консульства, мимо ряда домов, где мурлычет человеческое жилье, и спуститесь на базарную площадь. Тут, под навесами старых лабазов, торгуют овощами корейцы, безличе-

ствуя буддийской аскезой своих улыбок. Тут кормит завтраками киоск ДОДД'а, тут маленькая книжная лавочка распродает в три дня каждую привезенную партию книг — силен на Сахалине книжный голод. Уже и раньше замечали вы неисправность александровских деревянных тротуаров, быть может, даже успели провалиться в зияющую под ними канаву, рискуя сломать себе ногу, — редкий приезжий избегает этого. Но только здесь видите вы сплошные повреждения. Поломки свежи, и по глубоким ступенчатым следам, ведущим к ним, вы догадываетесь, что виновник — трактор. Тротуары-то жидковаты для его самоуверенной тяжести, сразу же приходится их залатывать. Грешный человек, я радовался при виде этих разрушений — это было уже после того, как я убедился, что трактор обладает, кроме всех прочих качеств, способностью живо подстегивать дорожное строительство. Там, где проползли тяжкие их гусеницы, не удержаться ни одной доске, рассчитанной на пресловутое «авось». Думаю, что еще годик-два существования тракторов на Сахалине, и все жидковатое японское наследство в виде зыбких тротуаров и недолговечных мостов будет заменено, как сменялись при мне мосты по дороге в Дербинское, продавленные катерпиллерами. Чем-то перекликнулся с ними и предвосхитил их анархический начальник пожарной команды, пожегший фаршированные баржи.

Экспедиция, за которой вы увязались, дошла до конца улицы, вышла из города, направилась к сопкам. Вы остались одни в том месте, где правление интегралсоюза, деревообделочная мастерская АСО и дальше — школа, занятая правлением АСО. Впрочем вы остались не одни, вдвоем, я с вами. Вы хотите вернуться, чтобы пройти по второй крупнейшей улице Александровска — улице Дзержинского. Не стоит, я вам коротко расскажу, что находится на этой прямой и наиболее заказененной улице: пожарная каланча, ряд крепких бревенчатых домов пограничного отряда против «площади 15 мая», редакции окружной газеты «Сахалинский вестник» и окрпрофбюро. Среди них рассыпаны жилые дома и, право, ничего примечательного не найдешь здесь в будущий день. Мы вернемся сюда тогда, когда на площади соберется митинг, а пока: вот горка, на ней взгромоздилось здание школы, посмотрим же с горки на тот берег реки. Мельком заметим дымы двух лесопильных заводов, увидим возле на реке скольцованные плоты — заводы обрабатывают, главным образом, добычу лососек, расположенных по бассейну реки Александровки. Левее брызнули в небо мачты радиостанции. Правее затеяли чехарду новые постройки АСО, бараки складские и жилые, — тот, низменный, берег привлек преимущественное внимание строителей. Теперь круто повернем и войдем в здание школы...

Говорят, что здесь помещается правление АСО, но этому упорно не верится, лишь только войдешь. Большой коридор полон всевозможной рухлядью: тут и швейные машины, и сундучки, и узлы — словом все, что разгружалось вместе с пассажирами с палубы парохода. По стенам лепятся нары и импровизированные кровати. Когда не придешь — в полдень ли, к вечеру ли — всегда застанешь спящих. Завернувшись в засаленные стеганые одеяла с головой, наперекор гульливому шуму, спят невольные обитатели этой школы — переселенцы, сезонные рабочие. Кто устал от работы, а кто склонился над ней с дратвой и шилом в руках, с ножницами, с иголкой, с утюгом. Шумно пышут примусы, готовятся несложные обеды — да, полно, может быть, это и в самом деле переселенческий барак, ничего больше? Но, оглянувшись, замечаешь ряд дверей с надписями: сельскохозяйственный отдел АСО, лесной, горный, рыбный... И вот дверь кабинета председателя правления. Она открывается, как вагонная — скользом в сторону. Входишь. Застаешь сотрудницу, рассыпающую в пустоте ударные щелчки портативной пишущей машинки.

— Нельзя ли видеть...

— Вам председателя правления?

Ее глаза поворачиваются к двери с таким выражением, что догадываешься — он входит в кабинет. Оглянувшись, видишь того самого загорелого человека, которого еще во дворе школы принял за десятника, занятого разговором с плотниками, — одеваются серо на Сахалине. Он проходит в дальний угол и садится за стол, на котором лежит небольшой детский череп. Подходя, невольно думаешь: черепа теперь не положит себе на стол и захудалый врач — зачем бы хозяйственнику каждодневно созерцать сию эмблему смерти? И уже в момент рукопожатия различаешь, что принятое издалека за череп оказалось просто-напросто хорошим кочаном цветной капусты.

— Да, да, — говорит ваш новый собеседник, — это первый кочан с наших александровских огородов.

«Ах, подумаешь, нашел, чем хвастать, чем любоваться», решит москвич с точки зрения своего — «развратного» представления о Сахалине.

Враждуя с этими представлениями, припомню такой случай: мы сидели на берегу Охотского моря и разговаривали в ожидании: мой собеседник — нефтяник плановик, с молодой и совершенно седой головой, — парохода, я — самолета. Нас ожидала Москва и разговор был о ней.

— Какой вы счастливый, — протяжно позавидовала томная статистичка, случившаяся подле,— пойдете в кинооо, в тееатры...

— Что? В кино? В театры? Много я думаю о ваших кино. В уборную теплую хочу! — вдруг гаркнул седой плановик. Два года — представьте — два года не знать, что такое обыкновенный теплый клозет!..

Статистичка тогда сконфузилась или сделала вид, что сконфузилась, а потом исчезла из нашей памяти. Мы расстались для того, чтобы разными путями прибыть в Москву и встретиться снова, говорить снова, но уже о Сахалине, об Охинских нефтяных промыслах, рассматривая любезно привезенные им фотографии.

— Вы пишете книгу об острове, — говорил он, — но, хоть вы и об'ездили его, вам никогда не представить себе некоторых вещей, о которых получаешь понятие только прожив на нем, так как я, безвыездно два года. Вот, например, завезут туда сто, сто пять, сто десять процентов продовольствия, следуемого по плану. Ну, и считается, что выполнили все, так как норма выдачи мясных консервов и других продуктов там гораздо выше, чем в Москве. А знаете ли вы, что это значит—просидеть два года на консервах? Вы можете получить об этом понятие, только испытавши это на своей шкуре. Я, к примеру, не гурман, никогда не думаю о том, что подано на стол... Но когда к концу второго года мне привезли из Владивостока два синих баклажана, и жена приготовила из них обыкновеннейшее блюдо — икру по-кавказски, так, верите ли, у меня руки дрожали от жадности, когда я садился к столу...

Не удивляйтесь же кочану капусты на столе председателя АСО. Простые вещи становятся на Сахалине редкой радостью. Так будет до тех пор, пока овощная проблема на острове не будет решена полностью, а сегодня свежие овощи — насущнейшая забота, неот'емлемая часть культурного строительства на острове.

6. АСО И ОСУ

В кабинете руководителя огромного островного хозяйства,—надо думать, немного таких больших хозяйственных об'единений в Союзе, изобилующем всякими «гигантами», — можно встретить самых неожиданных' посетителей. Угодливо подхихикивает японский стивидор, приехавший для инструктирования наших работников, — так осуществляет он свою привычку к чинопочтительной вежливости, царящей в служебных отношениях на японских предприятиях. Мусолит пачки коносаментов суперкарго зафрахтованного китайского парохода. С подчеркнутой демократической фамильярностью сел прямо на деловой стол председателя и болтает с ним по-английски американский специалист по крабоконсервному делу — рыжий, веселый, с быстрыми беспризорными глазами.

О личности самого председателя, умеющего найти общий язык и с амурским старателем, и с московским инженером, и с членом правительственной комиссии, и с владимирским переселенцем, и с иностранным специалистом, о работоспособности, наглядной четкости и многих других качествах этого человека и других членов правления хотелось бы задуматься — тип нового хозяйственника складывается на наших глазах подчас с замечательной целесообразностью, а до сих пор не уловлен, показан либо как сугубый практик, либо как романтический энтузиаст. Но островная природа сахалинского хозяйства, особенности задач, усложненность их, трудность выполнения — все это, надо полагать, накладывает на хозяйственника печать своеобразия, создавая из него особый тип. Чтобы верно оценить сахалинского работника, надо не только знать размеры его ответственности, но и условия, в которых он призван к несению этой ответственности. И тут же следует сказать, что никакие сравнительные мерки, взятые из центральных частей Союза, не применимы к оценке островных явлений. Нельзя, например, рассуждать так: добыча Грознефти выражается в такой-то цифре, а Сахалиннефти — в такой-то, следовательно, Сахалиннефть — пятого или десятого разряда предприятие. Попробуйте сначала представить себе, что стоит вырвать одну тонну нефти у сахалинской природы, и вы почувствуете, какую существенную поправку приходится вносить в привычные представления каждый раз, как переходишь от условий нормального хозяйства к

тем, которые выражаются на сокращенном языке сахалинских строителей буквами ОСУ, что значит «особые сахалинские условия». Эти ОСУ служат индексом ко всякому действию и начинанию АСО. В свете ОСУ следует судить и о каждом сахалинском работнике, а обо всем хозяйстве, памятуя экономическую оценку, данную Полевым: «Сахалин — ключ к Дальнему Востоку».

ОСУ определяется, главным образом, стихиями сахалинской природы, еще враждебной человеку, еще не подружившейся с ним. Враги: сварливые, коварные моря, окружающие остров, холода, наседающие на северо-восток Сахалина, бездорожье, отсутствие населения, неизученность острова, неприступность береговой линии, пересеченность местности, хаотическая картина сахалинской орографии и стратиграфии, неровность режима и порожистость рек, неудобство почв и т. д. Моря задерживают и портят грузы, холода вымораживают склады, хоронят их под многосаженными холмами снега, геологи сбиваются в определении мощности исковерканных и пережатых пластов породы и ископаемых, горы не дают выхода к морю там, где экономически выгоднее добывать уголь,— а вопрос транспорта является одной из основных проблем при закладке новых каменноугольных шахт — реки то раньше времени срывают заготовленный лес, то сажают на мель недошедшую до моря зимнюю добычу... Нет возможности перечислить все виды вредительства, в которых повинны островные стихии перед лицом человеческого упорного труда. Но, по горло в воде скольцовывая плоты, или в сорокаградусную стужу сбрасывая с сопок мачтовый лес, или в утлых катерах режа косматую морскую волну, или голодая по нескольку суток в тайге, — человек строит жилища, заводит на земле хозяйство, завозит скот, врубается в толщу сопки, буравит землю, и, — всей кровью знаем, — возьмет свое.

И все же сахалинскому хозяйственнику эти ОСУ вот как туго пришлись. Задачи, стоящие перед ним, грандиозны и увлекательны. «Развитие экономической жизни и рациональное использование естественных богатств...» — звучит суховато, ничуть не отличаясь от формулы, придуманной для облагорожения всякого коммерческого начинания, всякой капиталистической лавочки. Но когда на место отвлеченных понятий подставить конкретные, отвечающие нашей исторической и социальной обстановке, формула заряжается всей романтикой революционных стремительных походов, всем пафосом небывалого по одухотворению труда. Надо помнить, что до нашей эпохи Сахалин был лишь об'ектом дипломатической торговли царской России с Японией (Япония уступила принадлежащую ей южную часть, Карафуто, в обмен на Курильские острова по договору 1875 года, с тем, чтобы по Портсмутскому договору оттягать ее обратно), что за все шестидесятилетнее (с 57 г.) время владения островом царское правительство ничего не сумело вложить в дело освоения Сахалина, кроме идеи создания там каторги, идеи, жестоко и бездарно перенятой с иностранных образцов. Надо помнить, что остров действительно богат щедротами поверхности и недр земли, очень богат, мы еще до сих пор не можем с уверенностью сказать — насколько. Надо ясно представить себе, что социалист встречает там целину, не требующую реконструкции, ибо не было раньше почти никакого капиталистического хозяйства; почти не требующую длительных и болезненных периодов обострения классовой борьбы, ибо почти нет населения; а социалист идет туда в составе армий, воспитанных центрами советской страны; что он находит там все, что нужно для построения большого и технически высоко развитого промышленного хозяйства — лес, уголь, рыбу, нефть и плодородные почвы, — все сжато на небольшой, сравнительно, территории, может быть связано со всем земным шаром дешевым морским путем, и климат, несмотря на его резкости, все же переносим. Надо поставить себя на место островитянина, ставшего таковым по воле и зову страны, которая не может позволить себе роскоши держать свои богатства под спудом, — и тогда почувствуется весь размах, вся увлекательность задач, решаемых каждодневно на Сахалине.

Советскому пионеру строить бы, не покладая рук, раз дорвался, раз очутился уже среди этой природы, взывающей к человеческому труду. А тут — ОСУ... Первая же необдуманная попытка сталкивает хозяйственника в лоб с одним из основных препятствий, лежащим на пути всякого начинания на острове — неразведанностью богатств, неисследованностью условий приложения труда. Уголь есть, огромные залежи, но надо знать, где начать его разработку, не советскому же хозяйственнику повторять практику хищного и реакционного частного капитала. Сахалинские леса необозримы, но надо хорошо знать характер насаждений, товарный выход, возможности сплава, чтобы

добыча не была случайной. Рыба — но нужно изучить ход ее, найти места наилучшего лова. Крупное сельское хозяйство — и вовсе новое для Сахалина дело. А страна потребовала иода — в этой области на острове не было даже кустарей... Словом, надо думать, нет на земном шаре в этих широтах другого такого куска земли, который был бы менее знаком человеку, чем Сахалин. На нем-то и надо заново, в наикратчайший срок, создать новый индустриальный центр — опору дальневосточной окраине Союза.

Впрочем, не совсем голым местом было хозяйство Сахалина в тот момент, когда туда пришло АСО. Начиная с 1925 года, там хозяйствовали: Дальуголь, Дальлес, Дальгосрыбтрест, Дальторг. Но уже после того, как они свернули работу, правительственная комиссия отмечала: «АСО приступает к эксплоатации Сахалина в особо тяжелых условиях и принимает очень тяжелое наследство: полное отсутствие дорог, какого бы то ни было тоннажа, отсутствие капитальных вложений в угольную, лесную и рыбную промышленность...». Добавим к этому, что за четыре года, прошедшие после интервенции, население острова не росло, чуть ли не убывало, а развитие хозяйства требовало рабочих кадров.

И теперь, вернувшись в кабинет председателя АСО, мы несколько по-иному подойдем к нему и к каждому из правленцев. Да, вид их очень демократичен, куда как не похож на директоров центральных трестов Союза: у этого вот весь глаз затек сине-багровым пятном — результат неудачной посадки гидросамолета, у того — все лицо сплошной ожег солнца, несколько суток ставившего ему горчичники в пути по рыбалкам западного побережья... Да, они хорошо усвоили первое требование научного построения хозяйства — изучить об'ект хозяйствования: два с половиной миллиона рублей выделено исключительно на разведку естественных богатств острова. И я, об'ехавши весь Сахалин, свидетельствую: прохода нет от всевозможных научно-исследовательских экспедиций. Ровным счетом тысяча человек бродит в составе геологических, по углю, и лесо-экономических партий АСО. А, кроме них, я натыкался на гидрологов, проэктировавших гидро-электроустановки; тирховцев — от тихоокеанского института рыбного хозяйства; нефтяников — десять разведывательных партий шурфуют восточное побережье; иодников, что в поисках выбросов морской капусты; звероловов, путейцев, трассировавших линию Александровск—Оха, — все они накопляют необходимый опыт для того, чтобы можно было составить планы развития сахалинской промышленности не наощупь, вслепую, а с учетом того, что есть на месте.

Да, об этом островитяне позаботились не плохо. Но разведки дадут результаты только к будущему году, а работать надо сейчас. При сахалинском бездорожьи, при отсутствии какой бы то ни было связи, правленцам представился один выход: разбив территорию Сахалина на ряд экономически целостных районов, открыть там свои отделения, нечто вроде факторий. Поделили на одиннадцать комбинатов. Во главе каждого комбината поставлен директор, «действующий в соответствии с преподанным правлением промфинпланом». (Границы комбинатов совершенно не совпадают с административными границами районов: округ делится всего лишь на четыре района, из которых один — туземный — без территории, имеет только свой районный центр, а население его, туземцы, разбросано по всему острову). Такая организация дала правлению возможность крепче осуществлять свое руководство в местах эксплоатации и преследовала все ту же цель — ближайшее изучение островного хозяйства, так как директор и аппарат комбината мыслились своего рода форпостами, разведывательными пунктами. Достигнуты ли поставленные цели — вопрос, к которому приходится вернуться только после того, как познакомишься возможно подробнее с тем, что происходит на практике. Впрочем еще в Александровске в голову приходят сомнения: их порождает цифра сотрудников, занятых в отделах и конторах правления АСО — четыреста человек. Это в Асострое, но строят и комбинаты; в транспортном отделе — но и в комбинатах есть транспорт; в сельскохозяйственном, рыбном, лесном, отделе снабжения — но и по комбинатам ведется работа снабженческая, рыболовецкая, лесоразработки и т. д. Двойная отчетность, двойное руководство, двойной инструктаж — правления и дирекции комбинатов — все это немало способствует распуханию аппарата, характерному для всякого молодого учреждения. А между тем комбинаты жалуются на плохую связь с правлением, правление — на вялость и анархичность работы комбинатов, а все — на чрезвычайно плохую постановку отчетности.

(Окончание следует)

Медные урочища

Сергей Марков

1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЭПОСА

Еще на моем пути из Омска в Акмолинск и Караганды, в вагоне, где на нарах, в братской повалке, спали все наши пассажиры, и[illegible]ился странный и необычный человек. Черноволосый, с огромными синими глазами, крепкий, но почти изящный и учтивый как японец или лезгин — он сразу привлек внимание туземцев.

С киргиз-кайсаками он говорил по-татарски, но очень странно акцентируя. В этом акценте не было слышно ни славянских, ни восточно-тюркских тонов. Скорее здесь чувствовался короткий чугунный звук тевтонских наречий.

Синеглазый человек скоро подружился с двумя туземными кавалеристами из Национального эскадрона, с преисполненным аульной мудрости председателем Азатского районного исполнительного комитета и, наконец, — фельдшером из Акмолинска.

Странно говорящий человек бегал с кавалеристами в скудные убранством вокзалы — бараки «Казжелдорстроя», пил минеральную воду и играл с фельдшером в карты в диковинную, присущую одним акмолинцам игру. Она называется двумя словами: одно из них заключает в себе определение «Глиняная», а второе — название одной из более или менее нежестких частей тела.

И вот, за этой неповторимой игрой, наконец, назрел мучивший всех вопрос, к какому народу принадлежит наш спутник. Он, пока что, еще не успел быть как следует опрошенным туземцами.

О, эта учтивая любознательность, тонкое любопытство жителей пустыни! Они всегда спросят вас, сколько лет вам, вашим детям, узнают покоят ли ваши молодые годы светлую старость ваших родителей, любите ли вы пить кумыс, или наоборот — есть колбасу «казы» из мяса молодого жеребенка? Я понимаю, почему происходит это. В стране, где всадник переговаривается с другим всадником за версту, где одно кочевье еще видит дым другого — люди любят узнавать и ловить все события широкой, как степь, жизни. Киргиз-кайсаков я мог бы назвать ловцами жизни, они гонятся за ней, как за золотой кобылицей, бегущей в голове табуна.

Ловцы жизни, спрашивая нашего спутника, сразу же заговорили о его племени.

— Я сам плохо знаю свой народ, — охотно ответил он и прибавил: — я — шевс!

Брови жителей пустыни сразу изобразили собой вопросительные знаки. Ловцы жизни затеребили бороды и вытянули шеи.

— Нет такого народа! — решительно заявил фельдшер, — сколько здесь живу — не слыхал.

— Может быть — хевсур? — спросил я.

— Нет, — убежденно мотнул головой шевс, — отец мой говорил мне так: мы вышли из Германии двести пятьдесят лет тому назад, потом смешались с татарами на Урале. Все мы потом работали мастерами рудного дела на Урале и в Алтайских горах. Мой отец еще мог говорит по-немецки, а я — нет. Вообще же говорю по-русски и по-татарски. Хевсуров я знаю, но мы не хевсуры, мы шевсы. В Германии мы были не немцами, а другим племенем, но как назывались — не знаю. Мы все синеглазые и черноволосые и все знаем горное дело. Нас немного и мы узнаем друг друга по такому значку.

Шевс протянул нам узкую руку, поднял рукав дешевого серого пиджака и мгновенно изумил всех наколотым на коже изображением рудничной кирки.

— Забавная мистификация, если все это — искусная выдумка,— подумал я, но постарался более внимательно выслушать шевса и запомнить его рассказ.

— Так вот, — продолжал шевс, — и я тоже учился горному делу. Сейчас я еду из Украины, с шахт. Там я был на практике. Теперь меня посылают к вам, на Караганды, на новый уголь.

Вдруг наш Председатель, как называли мы его для краткости, а также из уважения, защелкнул коротким круглым языком и сел на нары, вывернув к нам светлые и заплатные подошвы мягких сапог.

— Уважаемые товарищи,— начал Председатель, — у нас Интернационал и поэтому нам нечего удивляться, если нам будет стыдно за то, что мы до сих пор не знаем всех народов. Этому шевсу будет обидно, если мы скажем, что не знаем его племени, потому что если мы его не знаем — то для нас его нет. У нас Интернационал и поэтому раз шевс говорит, что он — шевс то, значит, такой народ есть. Все народы братья, даже киргизы с цыганами... А почему все народы — братья, я сейчас расскажу.

И Председатель спросил меня, знаю ли я их народную легенду о Козы-Корпече и Баян-Слу. (Кто же ее не знает? Кто из жителей Казакстана не слышал этой благоухающей теплым ковылем и полынью, песни? Страдания и странствия двух, верных до курганной вершины, любовников, рычанье щербатых печей, ломающих теменные кости на поединках врагов, трепетанье медных стрел, пиры богатырей и Козы-Корпеч, ищущий свою Баян!

Ведь до сих пор вам показывают их общую могилу, облицованную суровыми камнями. С'евдите на берег Аягуза под Лепсинском, на юге Казакстана, и вам покажут это место покоя двух сердец, где надгробная башня, похожа на элеватор с вершиной, сбитой пушечным нарядом. Кстати, судьба песни, пахнущей не только нагретой солнцем травой, не только кровью коней, зарезанных на пирах, но и человеческой древней кровью — причудлива и томяща.

Ее пели тысячи лет в степях, тысячи лет она гремела и снова возвращалась на покой, вселяясь в струны домбр. Но вот пришел Лонгфелло — невзрачный чахоточный человек в очках, вытертых кавалерийских штанах, с пистолетом Маузера на бедре. Человек этот отдал половину своей жизни собиранию песни о двух вечно любивших сердцах, собрал ее и уложил в плавный русский стих. Человек этот умер и вряд ли кто сейчас знает, где и под каким камнем лежит тело простого человека — акмолинского продовольственного комиссара, Георгия Твертина?)

— Так вот, — скороговоркой говорил Председатель, — слышал все это я в Пишпеке на базаре, в 1920 году. Там ходил старый киргиз в солдатском мундире, и весь народ бегал за стариком, каждый мальчишка, у которого сопли висят, как уздечка, кричал старику: «Джаксалык-Аскер, воин Джаксалык!» и старик не обижался. У него были русские стрелковые погоны с белым мостиком, две медали. Креста не могут носить мусульмане, а иначе у него мог бы быть крест за храбрость. Когда Джаксалык был молод, он имел плохой нрав и гордое сердце. Он сидел на чужой свадьбе у одного своего друга, а певец-старик, сухой, как ремень, все время пел и играл на домбре. И все знали, что Джаксалык любил одну девушку, но она оставляла его без ответа и все над этим смеялись. И певец, зная это, сказал Джаксалыку, смотря ему прямо в глаза: «Эй, ты, Корпеч, иди к своей Баян! Она сейчас доит кобылу у пятой юрты. Иди и подержи ей ведро!»

Джаксалык, в сердцах, подбежал к старику и схватил его за горло. Певец повалился на землю, выпучил глаза и показал язык всей свадьбе. Приехал урядник, Джаксалыку связали руки и увезли в Лепсинск, а оттуда — неизвестно куда. Вернулся он через много лет, уже с медалями и белым мостиком на погонах. Рассказал, что был сослан в Белую Степь, но во время японской войны поступил добровольцем, был за это прощен, и, как солдат сначала, дрался до самого конца войны. А вот теперь я вам и скажу, почему все люди — братья.

Джаксалык говорил мне, что в Белой Степи живет народ джакут. Некоторые из их людей ходят в одежде из жеребячьей шкуры, с гривой вдоль спины. Они ездят на оленях и любят русскую водку. Когда Джаксалык спросил что-то у первого из джакутов — тот понял ссыльного киргиза и ответил ему на языке, очень похожем на наш. Месяца через четыре Джаксалык говорил с джакутами обо всем свободно и все понимал.

И вот раз, когда джакуты курили трубки у костра — один из них спросил Джаксалыка, знает ли он песню о Баян-Слу и Козы-Корпеч? Джаксалык вскочил, будто бы его у себя дома,

в Маканчи-Садыровской волости, укусила медянка: ему ли не знать этой песни? Ведь еще мальчиком он гонял табуны у подножья могил героев, в его уезде стоят эти надгробья и он сказал об этом джакутам и прибавил, что гордится своей родиной, откуда вышла великая песня. Но джакуты замахали на Джаксалыка руками.

— Нет,— сказали они,— это наша песня и в ней поется о наших предках. Мы сами вышли из рода Баян. Об этом знают наши старики!

— Ой, пурмой, — вздохнули разом кавалеристы, загремев начищенными сапогами. Фельдшер, разинув рот, собрал карты и только мог пробормотать: «Ах, черти,— на что замахнулись!»

— Погодите, — остановил всех Председатель, — тысячи лет пелась песня, и мы тысячи лет думали, что она наша. Но у нас — Интернационал!— важно поднял палец Председатель.— Разве можно поручиться, что вот этот швец, его предки, не сочинил песни про наших героев?

Кавалеристы сочувственно закивали синими фуражками, а швец благодарно улыбнулся. Это была улыбка человека, которому под чужим кровом дали кусок хлеба.

Мне не хотелось портить этой минуты учеными словами.

Я бы мог рассказать своим спутникам о том, как когда-то, очень давно, монголы как таковые разделились на Великих и Водяных монголов и кереев.

Кереи появились при Чингиз-Хане. История кереев загадочна и великолепна. Они прошли сквозь мутный огонь язычества и багровый свет азиатского христианства. Это при керейском правителе Тунгул-Хане, во владениях его племени распространилось несторианство и когда китайский император наградил Тунгул-Хана титулом Ван-Хана — дремучая латынь западных исследователей потряслась легендой о «Попе Иоанне, Керейском Короле!»

Ван-Хан и некий Есукей-Батыр были больше, чем друзьями: у кереев эта степень дружбы обозначалась словом «а н д а», очевидно под этим словом понималось высокое братство.

Оба друга, вероятно, не знали, что сын Есукей-Батыра, хилый отрок с орлиными глазами, страдавший поносами, будет великим полководцем Чингизом.

Чингиз возрастал вместе с сыном Ван-Хана, узколобым бездельником и завистником Сенгуном. Печать отваги и славы на его хилом сверстнике заставляла Сенгуна не спать по ночам и от этого кровля отцовского шатра казалась Сенгуну свинцовой. Наконец, он добился своего и поссорил керейского короля, отца своего, с Чингизом. И подросший Чингиз обрушил на второго своего отца, Ван-Хана, справедливый гнев.

Сенгун просчитался. Великий когда-то Ван-Хан, керейский король, бежал в пустыню и был зарублен там мечами всадников Байбук Хана Найманского.

Кереи покорились Чингизу, и он пошел вместе с ними на джунгар. Но джунгары были сильнее Чингиза. Они залили тамариск и саксаулы тургайских песков кровью кереев и разгромили ревущие орды.

Весь погром тянулся чуть ли не десять лет. Миллионная орда кереев металась по просторам горькой азиатской земли, распадаясь на части. Вот почему сейчас на Алтае, на Телецком, вернее Долесском, озере, живут потомки солдат Чингиза, переживших позор и ужас поражения; вот почему карагассы, живущие в Саянах, и тувинцы или урянхи, отгородившиеся от мира светлым Енисеем, клянут в своих песнях длинные копья джунгар.

И, наконец, кто знает, в какой день и какой час воины Чингиза шли с поломанными мечами в Белую Степь, пугаясь непривычных глубоких снегов и унося с собой великую песню отцов на медвежий север?

Но песня снова вернулась к тем, кто считал себя ее творцом. И субалтерн-офицер русской армии, разгромленной на Востоке, неистовый влюбленный, гость чужой свадьбы, странник, пастух и убийца — Джаксалык из Маканчи-Садыровской волости — не смог уйти от песни. Она нашла его в снегах, явилась к нему чудесным образом, как бы рожденная, во второй раз, в кострах, вокруг которых шипит тающий снег, может быть принесенная на рогах пугливых золотых оленей. Жители Белой Степи пели эту песню, а потом ели оленину, отрезая куски мяса возле самого рта ножами, потными от трудного дыхания певцов.

Джаксалык, кажется, жив и посейчас

Еще десять лет тому назад он передавал своему народу рассказ о себе самом, рассказ о человеке, жизнь которого сломана песней.

Песня, вернее теперь уже песня о песне, жила на шумных базарах, где литое великолепие винограда равно в правах с оранжевым жиром развороченной воловьей туши.

Я думал обо всем этом, стоя в тесном тамбуре вагона.

Телеграфные столбы, как стрелы, отрывались от земли и уносились вверх. Ковыльная пустыня отползала от нас в обе стороны, как холст, разрезаемый черными ножницами.

Дверь из вагона отворилась, в ней появилась рука с голубым значком на запястьи.

Это был шевс. Он звал меня обратно в вагон. Оказывается, Председатель просит у меня папиросу.

В вагоне было попрежнему душно и сумрачно. Только скулы кавалеристов блестели, как бронзовые яблоки, и красная шапка Председателя качала острым совиным пером.

Я раздал папиросы, презрев сам, на этот раз, их горький и вкрадчивый аромат.

— У нас — Интернационал, — опять сказал Председатель, неумело, как женщина, держа папиросу на отлете. — Раньше мы думали, что удел нашего народа — пасти стада, славить пустыню и петь песни. Мы глядели на небо, но не видели земли. А шевс — Председатель взял синеглазого гостя за маленькое, но крепкое плечо — знает землю и все люди — братья!

— Он, конечно, на аршин вниз видит, — захохотал фельдшер. Он, за все время этого разговора, молчал.

Фельдшер был рожден хитрецом. Он считался сыном мельника из Акмолинска, по кличке Джаман-Ванька. Сын Злого Ваньки с Восточного Выгона знал, что его отец разбогател на том, что примешивал к муке белую глину. Ее ели кочевники трех уездов.

Фельдшер имел, как он выражался, «свои мнения о природе», а голос его был похож на звук глиняного калача, трещащего на зубах. Короткие руки Председателя поднялись вверх. Он зашуршал рукавами халата и поправил узкие усы.

Один из кавалеристов хотел что-то сказать, но Председатель поспешно перебил всадника.

— Мы пели тысячи лет песню и не думали, что ее сочиняли все народы, мы жили песней, а не думали хоть раз копнуть землю. А в нашей земле — уголь, медь, свинец. Их — много и все народы страны их получат. Нас, людей пустыни, надо бранить, но бранить теперь поздно. Все люди братья и вот этот шевс едет к нам копать наш уголь, нашу медь. И, кто поручится, что его отцы не сочинили нашей песни? Так пусть он будет нашим. Забудем, что мы пели чужие песни, а его отцы копали чужую землю. Будем копать свою землю и петь общие песни. Верно я говорю?

— Ирикé, ирикé — истина! — закричали на языке отцов кавалеристы. Сын волка с Восточного Выгона молчал и большими глотками пил нарзан из черной бутылки. Председатель хитро щурил глаз. Он высказал совершенно новую мысль об Интернационале песни.

И вечером, когда свечные огарки растоплялись и текли жемчужной лавой из фонарей, Председатель, почесывая поясницу, запел веселую песню «Насыр, Насыр джаным», — вовсе не похожий на кобольда, шевс подтянул ему, а синие рыцари закачались, в такт песне, на нарах и, свесив ноги, защелкали белыми шпорами, в больших колесах которых отражались желтые языки тающих свеч.

2. БАЯН-СЛУ И КОЗЫ-КОРПЕЧ.

У чужих прохладных юрт
Нет высокого огня,
Хитрый черный кара-курт [1],
Кара-курт, не тронь меня!

Впереди веселый враг,
Черноглаз, жесток и пьян.
И легла на солончак —
Побледневшая Баян.

Солнца огненного меч
У моих лежит колен,
Милый мой, Козы-Корпеч,
Попадет в постылый плен!

Дышит мне в лицо беда,
Скалит желтые клыки,
У реки Алаш-Орда [2]
Точит сабли и штыки.

Седобровый хан суров
В стане Черного Копья,
Бьет на тысячу шагов
Из японского ружья.

Против сердца девять ран
Носит простный старик.
Он развернутый коран
Положил на броневик.

---

[1] Кара-курт — ядовитый степной паук.

[2] Алаш-Орда — название партии и войска националистов Киргизии.

Плачет брошенный верблюд.
В ковылях — свинцовый визг.
Пять разведчиков ползут
И ломают тамариск.

Сквозь колючие кусты
Поведут в железный стан,
От моей ли красоты
Рассмеется грозный хан.

Голос тонкий, как стрела,
Прозвенит в ковыльной мгл:
«Смуглой сказкой я жила
В длинногривом ковыле.

Я ему нежней сестры —
Самой нежной из сестер.
Прикажи разжечь костры
Оба встанем на костер.

Хоть живой зарой в бархан —
Был бы только жив Корпеч,
Легче мне жестокий хан
Руку правую отсечь.

Дни — что стая лебедей
Поднимают длинный крик.
Хочешь, — голову разбей,
Вырви сладкий мой язык.

Грозный хан каких сторон,
Где еще от мира скрыл
Песню, легкую, как стон,
В самой крепкой из могил?

Слова смутного не тронь,
Мы не сгинем навсегда,
Мы бессмертны, как
Огонь,
  Небо,
    стер
      и Вода».

3. КРУТОЙ БЕРЕГ

Нрав акмолинского крестьянина тяжел, как железная скоба, которой здесь на ночь прочно запирают скотный двор.

Здешний житель не разговорчив и хитер страшной хитростью первого заселителя богатого края.

Зимою он закрывает тяжелый подбородок туго натянутым домотканным шарфом и одевает толстую куртку из грубого местного сукна. Такая куртка не имеет пуговиц — их заменяют закорузлые шарики, сделанные из кожи. Ноги акмолинца болтаются в огромных туземных сапогах — б у т ы л а х с чулком из кошмы и широкими, как лопух, кожаными наколенниками. Здесь даже и русские сапоги шьются на азиатский образец, а сами «бутылы», крылатые сапоги, незаменимы для зимних путешествий верхом.

Здесь, в южных селах Акмолинского края, в подсолнечных огородах выращивается особый плод, похожий на тыкву, но названный «семянкой». У него выдалбливается сердцевина и плод превращается в сосуд для керосина, самогонной водки или бронзового подсолнечного масла. Окна хат, выкрашенных в цвета — синий, желтый и серый, окружены венками из дозревающих помидоров. Таковы здешние огромные, как города, села и их обитатели.

На своих сверстников похоже и село Самаркандское. Но здесь на этом глухом речном урочище будет выстроен большой медеплавильный завод. Здесь Нура сжата крутыми и высокими берегами и как бы сама напрашивается на то, чтобы ее беспокойное горло было перехвачено плотиной будущей электрической станции. Сюда будет доставляться медная руда с уже успевших прогреметь урочищ Сокуркой, Карабас и Коунрад. Эти урочища стерегут веселый, расцвеченный крыльями розовых цапель Балхаш. Ученые говорят, что на одном Коунраде, в древней азиатской земле, залегает около двух миллиардов тонн руды.

В последнее время утверждают и то, что уже учтенные валовые запасы медных руд Казакстана едва ли уложатся в о д и н м и л л и о н т о н н, а ведь дряхлый истощающийся Урал может похвалиться всего лишь ш е с т ь ю с т а с е м и д е с я т ь ю т ы с я ч а м и т о н н своего, такого же запаса. Горным мастерам найдется здесь работа, уголь для завода дадут Караганды, а колчедан — урочище Май-Каин.

...Я стою на берегу Нуры, поросшем мерзлым талом. Рядом со мной мой проводник, бывалый человек Митька Джандак, по моим предположениям — метис.

Джандак, конечно, прозвище. (Прозвища здесь неизбежны. Один учитель жаловался мне недавно: — Прямо не русские крестьяне, а индейцы какие-то!) Джандак, по-туземному — название грецкого ореха. Его применяют к людям коротким в росте и широким в плечах.

— Гран-мерси,— говорит Джандак, прикуривая от моей папиросы.— Вы представляете себе, у нас в Алжире...

Джандак принадлежит к тем двум-трем десяткам солдат-акмолинцев, побывавших в Тунисе, Алжире и даже на Мадагаскаре. О здешнем крае он, поэтому, правда не всегда, говорит с презрением фельдфебеля, избалованного иноземной выпивкой.

— Здешние жители, сами знаете,— тянет Джандак,— народ крутой и жадный. Они здесь на степи тискались, тискались, а дела по настоящему не знают. Вот их сейчас и обучают — что к чему. Вон, что в Челкарском делается — слыхали? Скота там — сто двадцать тысяч голов, не шутка.

Джандак имеет в виду «Челкарское мясное советское хозяйство», причем, очевидно, он хорошо осведомлен о работе хозяйства.

— В будущем году у них одного поголовья будет тысяч двадцать пять. Вот это да! А житель прежний, что делает? Сеет, пашет, водку пьет, а все развлечения его, если раньше,— то киргиз бить, а теперь— по всякому с ума сходить. И какой народ порченый? К примеру сказать, вы в столичном городе пойдете в цирк и увидите клоуна и вам в голову не придет, что он разбойник. А здесь — вор на воре. Вот в Бот-Горе и в Шокае ездил фокусник из латышей или эстонцев, Яксон. Ездил сначала один. По канату ходил, потом вниз головой стоял, а ногами бочки в это время подкидывал и на пятках их вертел.

Фургон у Яксона еще свой был и пара лошадей. Хорошо... Он, к примеру, в Бот-Горе фокусы прошлый год показывает, а в Шокае появляется отчаянный цыган и начинает на бутылках играть. Яксон туда-сюда — конкуренция. Ну, Яксон и придумал, что цыгана надо к себе лучше принять. Стали они в одну кассу работать, да видно заработки у них были маловажные и они занялись разбоем, как Красная Шапочка — может слыхали такого бандита, которого в камыше поймали здесь недавно? Ездили, грабили, убивали и то же самое бочки на ногах вертели и на бутылках выигрывали «На сопках Маньчжурии». Слыхать, кого-то из них — цыгана или Яксона — убили, а где и как не знаю.

Митька Джандак молчит, рассматривая с обрыва занесенную снегом реку.

— А еще вот,— может для вас будет интересно,— оживляется он.— Вот иногда едешь по степи и видишь, что в ковыле, в мерзлых метелках, путается амуранка. Это есть малая белая мышка. Она так по снегу и бегает, а ежели слезешь с седла — сама в руки бежит. Ее прямо в пазуху спокойно клади и езжай домой. Она отроду ручная и ее фокусникам продают. К чему я про нее вспомнил? Да вот здешний мужик — зверь, киргиза на вожжах удавит, а увидит амуранку и задергается, сейчас ее возьмет, к щеке приложит, или за пазуху сунет.

— Нет,— говорит с жестоким убеждением Джандак,— кончилось здешнему мужику разгульное житье. Возьмите так: железной дороги не было — провели. Уголь нашли? — Нашли. Медь открыли? — Открыли. На Челкаре быков по научным данным разводят. Теперь в бутылках много не походишь. В шахты в бутылах не полезешь, к домне в армячинном чапане не подойдешь... Вот на Карагандах еще одну Марьяну открыли...

В словах Митьки сквозит гнев мужика, прошедшего тяжелую школу солдатчины и из-за нее утратившего все признаки земледельца.

Кто он?

Сельский люмпен-пролетарий, солдат-профессионал и, может быть, будущий мастер медного дела? Как происходит сложное дело преобразования кочевника в земледельца, солдата в шахтера или рабочего с завода-великана?

...Балхаш, его побережье изнемогает от залежей серебро-свинцовых руд. Каркаралы кричат: «Придите к нам и возьмите нашу железную руду!» На Май-Каине найден колчедан, в Семиз-Бугу — корунд, камень, по твердости своей уступающий только алмазу. Его добывали и добывают в Трансваале, Канаде, Массачузетсе, Северной Каролине. Цветной корунд — синий и прозрачный — называется сапфиром, красный — рубином. Простой же корунд необходим для шлифовки, точки и полировки поверхностей всевозможных твердых тел. Зернистый корунд, наполненный примесью цветных химических элементов, называется известным всем веществом — наждаком. Корунды драгоценные — сапфиры и рубины — добывались здесь впервые древним неизвестным народом — чудью.

Семиз-Бугу богато запасами корунда, равными, примерно, 60 тысячам тонн. Корунд нужен ювелирам городов всего мира, мастерам, отделывающим драгоценные самоцветы всех стран.

— И разве наждак индустрии не пройдется по этим местам? — думаю я.

Ведь он уже прошелся, обнажив богатства, скрытые степью. Он показал нам уголь, кокчетавское золото, турмалины и топазы, серебро-

свинцовые руды Балхаша, железняки Каркаралинска.

Степь до сих пор жила волчьей жизнью. Одни люди завоевывали других, переселенцы из Таврии оглашали просторы скрипом плохо смазанных колес, открывали новые места, вытесняли аулы с пастбищ. Кочевники пели песни отцов, степные наездники не могли ходить по земле на высоких острых каблуках. (Я лично, если бы мог, давно бы издал специальное «Особое постановление», запрещающее ношение здесь длинных цветных рукавов, подбитых ватой, и острых каблуков, не позволяющих ходить по земле, подлежащей завоеванию!).

Великий труд уже начался здесь. Карагандинский уголь должен найти выход для себя.

«Казжелдорстрой» существует не зря. Он уже связал Великий Сибирский путь с бассейном Нуры. Новый путь пойдет дальше, к Балхашу, к медным рудам, завяжет чугунный узел, сплетясь с Турксибом на юге, протянет черную нитку новой дороги на Карталы, чтобы уголь Карагандов заполнил собою доменные печи Магнитогорского строительства.

Сейчас высокая добротность карагандинских углей не подлежит сомнению, подозрения в их большой будто бы зольности и солеватости — отпали навсегда...

...Итак — чудь и готы, по-видимому, инстинктом первых мастеров чувствовали богатства этой земли.

И, наконец, пришли мы:

...Не презирал, я не славил;
Но разобрав до конца
Прочел я в низвергнутом зданьи
Сердце его творца...
...Кладка была неумелой,
Но на каждом я камне читал:
«Вслед за мной идет Строитель.
Скажите ему: я знал!»

Эти слова великого поэта, воспевшего пафос открываний, долго не сходили у меня с языка в тот день, когда мы с Митькой Джандаком, бывалым человеком, бродили на крутом увале, который должен стать не только берегом большой степной реки, но и берегом нового железного русла.

А в селе Самаркандском жили степные люди, спорили, ругались, умывались изо рта, со щеками, раздутыми от набранной воды, осаждали сельский совет, узнавали новости от проезжего уполномоченного Челкарского советского мясного хозяйства; старые богачи, когда-то завоевавшие этот край, заряжали японские карабины и обрезы драгунских винтовок, оставленных здесь белыми — для того, чтобы защищать старое; в степях шла великая ломка.

На кривой улице уже хрипел черный грузовик. На нем сидели сторожа, солдаты Республики — люди с оранжевыми и зелеными углами воротников. Они ехали за Нуру, к углю, охранять шахты. Они пели веселую перекладку воинского устава:

Отползи назад немного,
Отделенному скажи!

Мы возвращались домой — в хату с разрисованной печкой и кривой стеной, на которой в углу, рядом с дешевой олеографической иконой Георгия Победоносца, висела истрепанная, исчерченная ногтями карта пятилетнего плана. На ней были нанесены Караганды.

Митька Джандак, подойдя к дому, смотрел в окно, заполненное геранью.

— У нас в Алжире, — сказал он, шевеля нижней губой, забитой жевательным табаком, — этой самой герани на каждом поле целые заросли. Мы в нее по нужде ходили. Зайдешь и не выпутаешься. Ишь, как они, здешние-то, жизньжестянку свою скрасить хотят. Герань! Эка невидаль! А это что? Смотрите, что везут....

Я увидел длинный обоз, скрипящий по снегу. Несколько пар быков везли на санях черные громадины, похожие на круглые шлемы богатырей. Это были, очевидно, паровые котлы для шахт.

Жители села бежали и скакали на лошадях сзади подвод, равнялись с ними и ударяли кулаками и нагайками по котлам. Они издавали звонкий, лопающийся звук.

Это чугунное вторжение было замечательным — котлы раскачивались, как колокола, на ухабах, гудели и за ними скакали всадники.

— Обрадовались, — ворчал Джандак,— на конях красуются. А вот отправить бы их на Марьяну, киркой долбить, форс с них сразу слезет. И я на коне могу бежать, а вот как мы все за кайла возьмемся, не знаю. А взяться придется.

Он еще долго бормотал о Верхней и Средней Марианнах. Это — названия новых карагандинских пластов, над которыми недавно заложены шахты.

Пока еще слабое дыханье новой индустрии, нависшее над этими хатами, степями, глухими дорогами, было мне в тот день наиболее внятно

Наждак индустрии стирает старое! Скоро эти люди встанут у домен и на них дохнет первая струя расплавленной медной реки.

А ранним вечером, когда мы сидели в мазаной хате, Митька Джандак опять прибежал к нам и вызвал нас всех на двор. Оказывается, на вечернем сумеречном небе, содрогаясь и качаясь на воздушных волнах, — неслись две гудящих звезды: оранжевая и красная. Это был, как я потом узнал, заблудившийся в небесной степи, первый здесь воздушный гость — аппарат «Юнкерс 136» авиатора Суонио — розового и веселого финна, когда-то перелетевшего Гиндукуш.

Люди, выбежавшие из хаты, долго стояли на дворе, покинув оставленные на столе остывающие стаканы с чаем и ломти хлеба, сохранившие следы зубов.

В крытых «пригонах» мычали, напуганные гуденьем, коровы, лошади всадников вставали на дыбы.

Так, в конце 1930 года, старого для всего мира и первого от рождения труда в степях, мы увидели, как здесь пролагались земные и небесные дороги.

На хвостовом опереньи аэроплана долго блестел крупный красный самоцвет, как драгоценный корунд, который когда-то был добыт здесь первыми мастерами дикой земли.

Аэроплан, поворачиваясь, осветил длинное, сумеречное облако: оно, разметавшись, повисло и стало похожим на сияние оранжевой пряжи, той, которую мы нашли в седой и холодной могиле первых рудокопов и спрятали в чинный музей, отдав дань далекому прошлому и преисполнившись гордости новых открытий.

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОШЛОГО

Достоевский и сестры Корвин-Круковские

(Неизданные письма)

С. Штрайх

В знаменитых «Воспоминаниях детства» С. В. Ковалевской, занимающих видное место в мировой литературе благодаря многочисленным изданиям на французском, немецком, английском и скандинавских языках, есть рассказ о Федоре Михайловиче Достоевском и его встречах с сестрами Корвин-Круковскими в первой половине шестидесятых годов.

Старшую сестру — Анну Васильевну, русскую писательницу, принимавшую деятельное участие в Парижской Коммуне 1871 г., Достоевский настойчиво просил в 1865 г. выйти за него замуж, заявляя, что полюбил ее не дружески, а страстно, всем своим существом. После отказа Анны Васильевны, он сохранил с ней дружеские отношения до самой своей смерти.

Младшая — Софья Васильевна — автор воспоминаний, впоследствии прославленный профессор математики в Стокгольме — сама влюбилась в него со всей безотчетностью своих пятнадцати лет и оставила высокохудожественное описание взаимоотношений Достоевского с семьей Корвин-Круковских и превосходную характеристику писателя в эпоху создания лучшего его произведения — «Преступление и наказание».

Печатаемые здесь впервые письма сестер Корвин-Круковских, их отца и подруги — известной впоследствии издательницы журнала «Северный вестник» А. М. Евреиновой — к Достоевскому и его второй жене вносят несколько новых штрихов в характеристику взаимоотношений писателя и семьи Корвин-Круковских. К сожалению, в доступных мне хранилищах нет новых писем самого Достоевского к названным лицам, но есть надежда отыскать их в той части архива С. В. Ковалевской, которая хранится в Стокгольме.

Летом 1864 г., когда умерла первая жена Достоевского, Марья Дмитриевна Исаева, а личный его роман с Аполлинарией Прокофьевной Сусловой — нигилисткой, писательницей и чрезвычайно интересной девушкой — принял какой-то надрывный и странный характер, когда материальные дела Достоевского были в самом плачевном состоянии вследствие смерти его брата и запутанного состояния счетов по их журналу «Эпоха», когда у Достоевского были какие-то невыясненные отношения с какой-то полузагадочной и полутемной женщиной Марфой Паниной-Браун, — Достоевский получил из Витебской губернии рассказ «Сон» за подписью Ю. О—в. К рассказу было приложено письмо, в котором автор рекомендовался дочерью помещика и генерала Корвин-Круковского, сообщая, что псевдоним взят мужской именно для того, чтобы вернее скрыть от семьи выступление в печати молодой девушки и генеральской дочери.

Письмо А. В. Корвин-Круковской, по характеристике Достоевского, «полное милого, искреннего доверия», привело в умиление писателя, задерганного, измученного двумя неудачными личными романами и всей сложностью своей жизни. Рассказ произвел на редактора «Эпохи» очень хорошее впечатление. «Я все более и более поддавался под обаяние той юношеской непосредственности, той искренности и теплоты чувства, которыми проникнут ваш рассказ», — писал Достоевский, решивший напечатать «Сон» в ближайшей книге «Эпохи».

Еще больше заинтересовался Достоевский самим автором рассказа и просил его сообщить о себе побольше: «Сколько вам лет и в какой обстановке живете», — интересовался редактор

и пояснял: «Мне важно все это знать для правильной оценки вашего таланта». После того, как рассказ был оценен положительно и отослан в типографию, деньги за рассказ также были отосланы с некоторой поспешностью.

Завязалась переписка. Анна Васильевна прислала второй рассказ — «Послушник». Достоевский поспешил напечатать его в следующей книге журнала, после «Сна», и на этот раз поместил рассказ молодого автора на первом месте, показав, что высоко ценит новое дарование.

Переписка с Достоевским велась Анной Васильевной втайне от родителей. По несчастной случайности письмо Достоевского с гонораром за рассказ попало в руки отца молодой писательницы и в семье произошла ужасная сцена. Генерал даже высказал дочери убеждение, что после того, как она получила от незнакомого мужчины деньги за рассказ, она способна продавать свое тело.

Тайная переписка Анны Васильевны с Достоевским велась через ее подругу, дочь петергофского коменданта генерала Евреинова, ту самую Анну Михайловну, которой через четыре года пришлось бежать из родительского дома от недвусмысленных ухаживаний царского брата, великого князя Николая Николаевича старшего. В архиве Достоевского сохранилось неизданное письмо к нему А. М. Евреиновой от 24 ноября 1865 г.[1]. Она писала из Петергофа в Петербург.

«Пользуясь случаем, что посылают в город верную мне прислугу, я поручаю ей зайти к вам с этими несколькими строками от незнакомой вам. Дело в том, что я завтра пишу Анне Васильевне Круковской, от которой научилась уважать вас, Федор Михайлович. Зная, с каким нетерпением она ожидает вашего ответа, я попрошу вас, многоуважаемый Федор Михайлович, доверить мне хотя несколько слов, которые завтра же отправятся радовать напиcанную Анну Васильевну.

Не взыщите за беспокойство, быть может, даже прервала ваши занятия, но это средство заполучить от вас письмо для передачи Анюте столь верно, что я решилась порисковать.

Мы с ней сестры — следовательно, можете быть уверены, что кроме ее лично никто не прочтет — подлая цензура не подлежит нашему ведению.

Многоуважающая Анна Евреинова».

В пояснительной записке А. Г. Достоевская сообщает сведения об этой корреспондентке мужа и отмечает: «Подлая цензура была не политическая, а домашняя, так как все приходившие по почте письма прочитывались сначала отцом адресатки». Что генеральская дочь опасалась цензуры своего отца — понятно, но зачем было Достоевскому в конце 1866 г. переписываться с Анной Васильевной по секрету?

О дальнейшей ее литературной работе? Даже, если бы имелся смысл с точки зрения практической переписываться об этом (журнала своего Достоевский не имел, в чужой не мог ничего пристроить по своим плохим тогдашним отношениям с другими редакциями), с точки зрения руководства Федора Михайловича писательской деятельностью Анны Васильевны, зачем же это делать втайне после того, как генерал Корвин-Круковский примирился с авторством дочери, после того, как Достоевский познакомился с женой генерала и даже пользовался, в известной мере, ее симпатией? Может быть, Достоевский продолжал писать Корвин-Круковской о своей любви? Может быть, Анна Васильевна не могла забыть прошлогодних семейных скандалов и старалась скрыть от отца степень и свойство отношений к ней человека, неприятного ему во всех смыслах?

Генерал и предводитель дворянства Корвин-Круковский только подчинился печальной необходимости, когда согласился на личное знакомство его жены и дочерей с «журналистом и бывшим каторжником», с которым надо «быть очень и очень осторожным». Отец Анны Васильевны не мог забыть, что Достоевский — человек «не нашего общества». Это видно из его письма к Достоевскому, по времени прямо соприкасающегося с письмом Евреиновой.

Оно печатается здесь впервые с подлинника, хранящегося в бумагах Достоевского, и послано из Витебской губернии в Петербург 14 января 1866 года.

«Милостивый Государь, Федор Михайлович. Давно собирался я писать вам, чтобы благодарить за живое участие, принятое вами в литературных занятиях моей дочери, а вместе с тем уяснить несколько оригинальную сторону отношений, начатых моею дочерью под влиянием молодого восторженного авторского увлечения, доставившего впрочем как ей, так, надеюсь, и мне, приятного в вас знакомого.

[1] В мае 1868 г. пасынок Достоевского П. А. Исаев переслал ему за границу какое-то письмо А. М. Евреиновой к племяннику Федора Михайловича, интересное и для него.

По возвращении жены моей с дочерью из Петербурга, они сказали мне, что вы располагали приехать летом отдохнуть у нас в деревне. Конечно, мы все были очень этому рады, я же надеялся личным свиданием с вами упростить в нашем знакомстве все, что по сложившимся обстоятельствам было фантастического, тем более, что первое письмо моей дочери с посылкой повестей было во время моего отсутствия и оттого дало вид какой-то таинственности, но когда за статью моей дочери были высланы деньги при одобрительном вашем отзыве об ее молодом таланте, то это поставило дело, начавшееся (неразборчиво), в двоякий вид: во-первых, дочь моя была озадачена высылкой денег, потому что ни обстоятельства, ни положение не влекли ее авторской фантазии к такому практическому результату, и обстоятельство это она уладила по влечению своего сердца; с другой же стороны — лестный ваш отзыв об ее попытке служит ручательством, что она имеет задаток к развитию своего таланта, а так как между тем знакомство моей жены и дочери с вами отчасти перешло уже с Парнаса в Витебскую губернию, то и все прежнее должно было вступить в область приятных отношений между людьми взаимно друг друга уважающих.

Я надеюсь, что вы разделяете мой взгляд, тем более, что мы с вами, переживая жизнь, знаем из опыта, что многое кажется молодому воображению сквозь розовую призму. Надеюсь также, что мое искреннее письмо раз'яснит те недоразумения, которые просвечиваются в ваших письмах к моей дочери, впрочем, оно иначе и быть не может: вы ее совсем не знаете, вам она должна была показаться в неестественном виде, и потому я полагаю, что лестную впрочем для нее, иронию в письмах ваших об ее предназначении и чувствах словом, как говорится, в заоблачных краях.

Итак, позвольте мне, оставя все недоразумения, просить вас о продолжении знакомства вашего; о чем сознаюсь, что при теперешней поездке моего семейства в Петербург я лишен буду удовольствия личного с вами свидания, но прошу вас доставить это удовольствие моим. Со своей же стороны буду весьма вам обязан, если откровенно напишете ваше мнение на счет литературных занятий моей дочери и главное ваш совет в отношении направления слишком пылкой фантазии, под влиянием не совсем разборчивого чтения.

Вот я уже обращаюсь к вам как к старому знакомому, в надежде взаимности и потому прошу вас верить истинному моему почтению.

Ваш покорный слуга В. Корвин-Круковский».

Нет возможности остановиться здесь на рассказе С. В. Ковалевской (в «Воспоминаниях детства») о поездке Анны Васильевны с матерью и с нею в Петербург весною 1865 г., об их частых свиданиях с Достоевским, об его любовных признаниях Анне Васильевне и сватовстве к ней, об ее отказе выйти за него замуж, потому что жена Достоевского «должна совсем, совсем посвятить себя ему, всю свою жизнь ему отдать, только о нем и думать; он такой нервный, требовательный». Не буду повторять здесь бывшие уже в печати письма Достоевского к Анне Васильевне и ее письма к нему, а также рассказ А. Г. Достоевской о дальнейших дружеских отношениях Федора Михайловича и ее самой к Анне Васильевне, об их частых свиданиях по приезде последней в Россию со своим мужем — коммунаром В. Жакларом.

Свидетельство их дружеских отношений — в неизданном письме А. В. Жаклар к А. Г. Достоевской, хранящемся в бумагах Достоевского.

«Дорогая Анна Григорьевна!

Я очень запоздала с ответом на ваше доброе, прекрасное письмо и теперь очень боюсь, что оно уже не застанет вас в Старой Руссе. Но дело в том, что письмо ваше пропутешествовало напрасно в деревню, где уже не нашло нас, и было нам отправлено в Петербург, куда мы вернулись ранее назначенного срока. Французская хрестоматия, которую мы издали и корректуру которой хотели держать в деревне, потребовала нашего немедленного возвращения, и уже с первых чисел августа мы снова водворились в нашем прежнем местожительстве на Васильевском острове. С тех пор, покончив с сильно приевшейся хрестоматией, я отдалась своим литературным занятиям, как говорят французы: «J'ai mis en train differentes choses», и это даже, говоря откровенно, было — как вам и ни покажется странным — одною из причин моего молчания.

Во-первых, я очень сильно сожалела об отсутствии Федора Михайловича, к которому так всегда и тянет обратиться за советом, прежде нежели предпринять что-нибудь, а во-вторых, уже раз решившись попытаться на свою ответственность, хотелось бы уже выйти из нереши-

тельности прежде нежели писать таким друзьям, как вы, от которых не хотелось бы утаивать и близко касающихся предметов. А вчера, как видите, не утерпела и написала, или вернее — пишу.

Не знаю, поймете ли вы это сбивчивое и неясное раз'яснение, но во всяком случае надеюсь, поймете одно, — что несмотря на молчание, помнила, думала, любила вас беспрерывно и неизменно и глубоко, глубоко была тронута вашим дорогим письмом.

Вот уже и приближается время вашего возвращения. Вы пожалуйста известите меня о вашем новом адресе. Да, кстати, неужели вы опять думаете забраться так далеко? Неужели не переселитесь поближе? Вы видите, как я бесцеремонно ставлю наш Васильевский остров в центр, употребляя выражение «поближе», но мне нет дела до топографической верности в этом случае, я только желаю достигнуть одной цели — уговорить вас поселиться поближе от нас.

Анна Григорьевна! Подумайте как бы это было прекрасно! Ведь, мы с вами занятые люди, сколько раз и хотелось бы и порываешься с'ездить навестить, поговорить по душе, — а подумаешь о расстоянии, о времени, которое на это потребуется, и отложишь до более свободного времени. А кроме того, с петербургским климатом, с нашим неважным здоровьем, сколько раз нездоровье, усталость могут служить помехою видеться. А тут, если бы жить поближе, как хорошо можно было бы устроиться! И детки бы наши виделись и мы бы могли бы покрепче, поближе сойтись, не только «душевно», как теперь, но и всем обменом общих впечатлений и житейских забот и мелочей, которые наполняют жизнь и ближе скрепляют дружбу. Подумайте об этом, дорогая моя, и постарайтесь устроить как можно лучше. А, главное, не забудьте известить меня, как только приедете, чтобы я могла навестить вас.

Не пишу много, надеюсь, теперь не долг дожидаться вашего приезда. Ведь, вы знаете, что со мною церемониться грех, — не дожидайтесь, чтобы у вас все было бы «устроено», чтобы дать мне знать, только назначьте время, когда менее обеспокою.

Обнимаю вас, дорогая моя, хорошая, милая Анна Григорьевна. Кланяйтесь и крепко пожмите руку дорогому Федору Михайловичу. Передайте ему, как я сильно желаю его видеть, послушать, что он расскажет про свое путешествие [1]. Мне также хочется многое передать ему. Деток ваших дорогих обнимаю от души.

Преданная вам Анна Жаклар-Корвин.

29 сентября 1878 г.

Васильевский остров, 6-я линия, № 15».

После своей детской влюбленности в Достоевского в 1865 г. С. В. Корвин-Круковская провела несколько лет в Германии, где училась математике, а затем вернулась в Россию и принимала участие в коммерческих предприятиях своего мужа, знаменитого палеонтолога В. О. Ковалевского. Оба они мечтали разбогатеть, чтобы после этого всецело отдаться научной деятельности. Проживая во второй половине семидесятых годов в Петербурге, Софья Васильевна часто виделась с Достоевским и вела с ним беседы на литературные темы. Об этих беседах дают некоторое представление сохранившиеся в архиве Достоевского неизданные письма Ковалевской к нему. Приведу их с необходимыми пояснениями.

Публикуемые здесь письма помогают выяснить приемы творчества писательницы с большой художественной одаренностью: давая в своих «Воспоминаниях детства» живой образ Достоевского 1865 г., Ковалевская «создавала» его не по одним только юношеским воспоминаниям, сквозь туман десятилетий, а восстанавливала при помощи наблюдений второй половины семидесятых годов. Можно также полагать, что эти длительные беседы с Достоевским не остались без влияния на развитие писательского таланта Ковалевской, что они вызвали у нее желание попробовать свои силы в области художественного творчества. Письма не датированы, но А. Г. Достоевская отметила на листке, в который они вложены: «все письма без обозначения года и числа 1876—78 годов, когда Ковалевская жила в Петербурге». На одном письме имеется пометка Анны Григорьевны, более точно уясняющая дату. В письмах отражение революционных интересов С. В. Ковалевской.

«Четверг вечером.

Не сердитесь, друг мой Федор Михайлович, за то, что не написала вам сегодня вечером, как обещалась; я вернулась домой слишком поздно, чтобы иметь возможность писать к вам.

---

[1] Ф. М. Достоевский ездил тогда, по обыкновению, за границу — лечиться.

Имя девицы, которой вы обещались похлопотать, Вера Сергеевна Гончарова (она племянница жены Пушкина). Просьба ее в том, чтобы ей дозволили свидание и переписку с ее женихом Павловичем. Прошу вас еще заметить, что упомянутая особа не предполагает, чтобы ее сестра, о которой я вам говорила, могла находиться теперь в Петербурге. Итак, надеюсь на вас, что вы будете так добры и передадите эту просьбу Кони. Благодарю вас заранее. От души вам преданная Софья Ковалевская.

Передайте мой поклон Анне Григорьевне. Каждый раз, как я поговорю с ней, начинаю все больше и больше ее любить».

На письме пометка рукою А. Г. Достоевской: 1876. Упоминаемая здесь Вера Сергеевна Гончарова — дочь брата Нат. Ник. Пушкиной. С. В. Ковалевская была с ней хорошо знакома, изобразила ее в своем романе «Нигилистка». Здесь героиня названа графиней Верой Баранцовой, жених ее — еврей, студент Павленков. В письме речь идет о привлеченном к делу 193-х пропагандисте Павловиче, имя которого, однако, не встречается в печатных материалах об этом процессе. Кони — известный юрист.

«Милый Федор Михайлович!

К сожалению, я не буду сегодня дома, меня вчера умерла старая тетушка и мне необходимо быть сегодня при выносе ее тела. Как ужасно жаль, что в тот вечер, когда заходила ко мне Анна Григорьевна, я тоже не была дома. Завтра, часу в четвертом, я собираюсь зайти к вам; авось хоть кого-нибудь из вас застану; но если у вас будет дело, то не стесняйтесь и не ждите меня.

Преданная вам Софья Ковалевская».

Письмо датируется приблизительно. Во второй половине 70-х годов умерли две старые тетки С. В. Ковалевской по матери. Фредерика Федоровна — родилась в 1794 г., умерла 20 февраля 1876 г.; Вильгельмина Федоровна, родилась в 1792 г., умерла 8 февраля 1877 г.

«Посылаю вам, любезный Федор Михайлович, некоторые издания Владимира Онуфриевича, которые может быть представят для вас некоторый интерес. Посылаю также книжку «Русского вестника», но так как она не моя, а Суворина, то потрудитесь вернуть ее дня через два, если к тому времени успеете прочесть Анну Каренину.

Я вырезала для вас фельетон, подписанный IV, но, кажется, он не особенно интересен.

Жду вас как можно скорее.

Преданная вам С. Ковалевская».

Письмо может быть датировано приблизительно. «Анна Каренина» печаталась в «Русском вестнике» несколько лет: в 1875 г., № 1—4, в 1876 г., № 1—4 и 12, в 1877 г. №№ 1—4. Достоевский всегда интересовался этим романом, много раз упоминает о нем в письмах к жене, в «Дневнике писателя» посвятил «Анне Карениной» несколько очерков, с восторгом отзывался о романе в беседах с Н. Н. Страховым. Такие же восторженные отзывы С. В. Ковалевской об этом романе передавал Страхов Л. Н. Толстому.

Суворин — издатель «Нового времени», где Ковалевские работали до весны 1877 г. О каком фельетоне идет речь в письме — установить трудно. За подписью IV фельетонов в «Новом времени» в 1876 г. не было. За первую половину 1877 г. я их тоже не нашел. В. О. Ковалевский издавал книги преимущественно по вопросам естествознания, но иногда и по вопросам общественно-литературным («Воспоминания И. И. Панаева» в 1876 г., «Кто виноват» Герцена в 1866 г. и 1871 г.). Издавал в 1876—1877 гг. «Древних классиков для русских читателей» (Ксенофонт, Эсхил и др.). Некоторые издания В. О. Ковалевского нашлись после смерти Ф. М. Достоевского в его личной библиотеке.

«Пятница.

Милый Федор Михайлович!

Так как вы собирались побывать у меня в последних числах этого месяца, то я хочу предупредить вас, что сегодня (пятница) я не буду дома. Завтра же (суббота) и вероятно все первые дни будущей недели буду проводить вечера дома. До свидания. Жму вашу руку.

Преданная вам Софья Ковалевская».

«Милый Федор Михайлович!

Как это меня огорчает, что вы все хвораете! Я по вас очень соскучилась и несколько раз уже собиралась заехать к вам; только меня удерживала мысль, что вы вероятно теперь очень заняты, и я, пожалуй, попаду некстати. Это же соображение удерживает меня и теперь; поэтому буду ждать, когда вы выберете свободный вечерок и приедете ко мне.

Главное, поправляйтесь поскорее и воздерживайтесь от излишней, особенно ночной работы. Я пишу это вам, хотя сама отлично знаю, что это совсем бесполезно.

Жму вашу руку и жду с нетерпением.

Преданная вас Софья Ковалевская.

Мой поклон Анне Григорьевне.

У меня как-то на днях тоже была лихорадка; я долго не могла успокоиться и мне все вспоминался один ваш рассказ из вашего будущего романа о «Мечтателе». Я даже мысленно все развивала вашу идею, и мне бы ужасно хотелось, чтобы вы написали что-нибудь в этом роде. Я представляю себе так: человека бедного, живущего очень уединенно, сосредоточенною жизнью и состарившегося на какой-нибудь рационально умственной работе (например, хоть счетчика при обсерватории). Вследствие каких-нибудь внешних обстоятельств в нем развивается непреодолимое желание разбогатеть во что бы то ни стало. Он начинает выслеживать способ для этого с той же терпеливой односторонней последовательностью, с которой всю жизнь вычислял пути планет. И вот ему на ум приходит что-нибудь в роде «адских часов» Томаса. Целые годы придумывает он и усовершенствует детали своей машины; наконец, она готова и он пускает ее в дело. При этом мысль о его жертвах, о тех людях, которые должны погибнуть от его машины, совсем ему как-то и в голову не приходит. Даже мысль о богатстве отступает на второй план. Он просто влюблен в свою машину, его математическую, помешанную голову пленяет именно та точность, с которой она действует; ему нравится, что он может вычислить минута в минуту, когда корабль пойдет ко дну. Корабль с машиной отплывает; старик как-то совершенно успокаивается. В самый вечер катастрофы он даже ни разу не вспоминает о машине; вдруг он чувствует внутреннее сотрясение; смотрит на часы — настала минута. И вот тут ему вдруг отвратительно ясно становится, что он сделал. Старик, конечно, сходит с ума. Но дальше фантазия моя уже нейдет. Еще раз прощайте.

Преданная С. К.».

В литературе о Достоевском я не нашел сведений об его замысле или работе над романом под назв. «Мечтатель». Можно было бы усмотреть сходство между темой, приводимой в письме Ковалевской, и некоторыми подробностями в романе «Подросток». Но последний писался в зиму 1874—75 гг., был напечатан в «Отечественных записках» за 1875 г. (с января по декабрь, с перерывами), а письмо Софьи Васильевны безусловно относится к 1876 г., если не к более позднему времени.

Уточнить дату письма позволяет упоминание об «адских часах» Томаса. В «Новом времени» в номерах за вторую половину марта и за апрель 1876 г. есть об'явление о том, что в музее И. Б. Гасснера в Пассаже показывается адская часовая машина убийцы Томаса. Демонстрация этого музейного экспоната вызвана была историей, происшедшей 11 декабря 1875 г. в порту гор. Бремергафена (Германия) и рассказанной в тогдашних газетах. Американец Томас устроил начиненную динамитом адскую машину, которая должна была в определенный момент в открытом море взорвать пароход, на котором находился застрахованный в большую сумму груз Томаса. Последний рассчитывал разбогатеть на страховой премии, которую он мог получить за свой груз. Но Томас плохо рассчитал завод машины, взорвавшейся в его руках на набережной, когда он собирался взойти на пароход. При этом вместе с Томасом погибло много посторонних людей.

Письмо Ковалевской показывает, как в ее математическом уме и писательском воображении претворилась и видоизменилась тема об адской машине.

Кроме этих писем, сохранилось еще письмо С. В. Ковалевской к А. Г. Достоевской по поводу кончины Федора Михайловича.

«Москва, Петровские линии, № 5.

Многоуважаемая, дорогая Анна Григорьевна!

С каким чувством глубокой, невыразимой скорби прочла я в газетах известие о смерти Федора Михайловича, я и высказать вам не могу. Хоть я убеждена, что вам теперь не до писем и не до соболезнований, но вы верно не рассердитесь на меня, что я не могу утерпеть не сказать вам, что та глубокая и искренняя привязанность, которую я с самого детства питала к вашему мужу и которую я теперь невольно переношу на всех близких и дорогих ему, делает меня вполне участницей в вашем горе.

Дорогая, голубушка Анна Григорьевна, поверьте, что вы имеете во мне очень преданного друга и если когда-нибудь вам встретится надобность в таком, то я буду очень счастлива, если вы вспомните обо мне. Я не пишу вам больше сегодня, так как боюсь надоесть вам длинным письмом в такую минуту, но я надеюсь, что вы найдете какую-нибудь свободную минутку написать мне о себе самой и о ваших детях.

Память о дорогом покойнике никогда, никогда не изгладится из моего сердца и хотя в последние годы мы повидимому и не были так близки с ним, как прежде, но я никогда не пе-

рествала чувствовать к нему самой живой привязанности и самого глубокого благоговения. И вы, и дети ваши кажутся мне теперь очень близкими существами, и я надеюсь, что вы в память о нем не будете смотреть на меня, как на чужую.

Я живу теперь в Москве и как я скорбела, что не могла взглянуть в последний раз на милое лицо, я и сказать вам не могу. Простите, голубушка, за это письмо и дайте знать о себе и о детях

вполне преданной вам Софье Ковалевской»[1].

---

[1] На конверте: ЕВ Анне Григорьевне Достоевской. С.-Петербург, Угол Ямской и Кузнечного пер., д. 2/5, кв. № 10. Штемпеля: Москва 3 февраля. Петербург 4 февраля 1881.

Прощание с прошлым [1])

Ромен Роллан.

Недавно мне случилось перечесть обе серии статей, писанных мною между 1914 и 1919 гг. и изданных под двумя различными заглавиями «Над схваткой» и «Предтечи», хотя в них одна и та же последовательность мыслей, и эти мысли, будучи действенными, немало разожгли страстей в ту пору. Я пробежал также свой Дневник тех годов, тридцать неизданных его тетрадей содержат в себе сплошь документальное оправдание и размышления, которые могут пояснить эти статьи и дать ключ к душевной драме. Теперь я возвращаюсь, точно после долгого и трудного путешествия, не кончившегося вместе с войной, но все еще продолжающегося вот уже семнадцать лет.

[1] Нижеследующие страницы писаны мной для немецкого издания моих статей, появившихся во время войны — «Над схваткой» и «Предтечи». Но, когда я писал эти страницы, мне пришлось вновь пробежать в уме тот путь, который был пройден мною не только во время войны, а и целиком от 1914 до 1931 г. Из моих размышлений составилась целая глава, которая, вероятно, найдет свое место в книге, являющейся моей Исповедью (она появится после моей смерти), которую я озаглавливаю «Путешествие внутрь».

Публикуемый мною сейчас в журнале «Европа» (Europe) отрывок составляет только первую часть главы, относящуюся к годам 1914—1919. Пусть мне простят чрезмерно личный тон изложения. Ведь здесь не что иное, как Введение к книге, которую в предисловии поясняет сам автор. А во-вторых, тема книги совсем не шуточная. Для автора эта тема была боевой. Я нападал. Нападаю. И беру ответственность на себя.

Май 1931 г. Р. Р.

Об этом, конечно, и не подозревают те, кто, потеряв мой след в 1914 году, считают, что догнали меня, достигнув через семнадцать лет той точки, которая для меня была отправной, когда в сентябре 1914 года я писал «Над схваткой»! Нет! То было лишь начало пути, который не знает отдыха и который я усеял вырванными с корнем предрассудками, разоблаченными мечтами и надеждами, сметенными дружбами... А цели я еще не достиг! Когда дойдешь до нее, наверно будешь наг, как подобает тому, кто готов лечь в землю.

Когда-нибудь, если время позволит, я расскажу обо всем этом пути, занявшем годы 1914—1930. То будет не рассказ, а Исповедь, и в ней можно будет увидать целое поколение одного из имеющихся на Западе классов, уже обреченного на гибель, — той правящей буржуазии, прогнившую идеологию которой мы помогали уничтожать, чтобы освободить место для мощных ростков новой жизни. А теперь я ограничусь очерком о том, какую эволюцию проделала душа за четыре года войны. «Начать — полдела сделать», говорит пословица. Пусть впоследствии робкими покажутся первые шаги, они решили все будущее. Жребий брошен... Иди! Теперь уж не до остановки...

Конечно, человек, начавший свой путь в первых числах августа 1914 года, и предвидеть не мог, что придется ему покинуть, что он найдет, какие утеряет горизонты, какие откроет!.. Издалека шел путник!.. Его путь лежит от старинной французской буржуазии, от старинной французской провинции, воспитанной, хоть и в светском, но все же религиозном преклонении перед Родиной и Революцией (перед одной только Революцией — 1789 года! Французская буржуазия и знать не хочет иных, былых революций, отрицает и последующие. Так как эта

революция — ее революция — дала французской буржуазии достигнуть вершины своих Судеб, последняя считала, что Судьбы исполнились: Революцию сковали...).

Одна из этих двух религий, сочетавшихся вместе под звуки Марсельезы и грохот пушек в сражении у Вальми, — Родина, — только что освежила свои слабеющие силы в кровавой бане 1870 года. Ее алтарь с изображением укутанного траурным покрывалом Страсбурга стоял на площади Согласия. В ее честь сложили особые акафисты и ежедневно тянули нараспев слово «Реванш». Другая — Республика — со времен президента Греви и зятя его Вильсона обитала в собственной квартире, зажиточная, украшенная орденами рантьерша. (Даже торговала своими знаками отличия...). То был официальный культ, плотно усевшийся в государственные кресла, его главным праздником стало с 1889 года взятие Бастилии, которую за сто лет до этого взяла крупная буржуазия, вновь воздвигшая ее, только на новый лад, в виде несгораемого шкафа. В храме Республики всегда царила сознательная путаница. И со'вчерашнего ли только дня! Вспомним хорошенько: когда поднялся нож Термидора, Революцию 89 года подтибрили пагубные авантюристы, создавшие Директорию и Наполеона I. И это продолжали делать последовательно, методически и с торжественностью дети, внуки и правнуки жирондистов и якобинцев, которые примирились друг с другом, присвоив себе денежные мешки и имения тех, кто изведал гильотины, имения, отныне именуемые «национальным имуществом»: разжиревшие добросовестно уничтожили «тощих» Коммуны и продали душу Панаме... Преподаваемый в епархии подобных викариев гражданский катехизис, разумеется, приятно щекотал нос и господина Лойяльно-Мыслящего[1] и его почтенного учителя — Тартюфа!.. В те «панамские» годы я только что приступил к делу преподавания и по службе был принужден внушать светскую мораль по такой программе, но больше года не выдержал. А сколько поколений принудительно глотали эти поддельные принципы! По всем стенам вывешивали лживые идеи в виде рокового девиза: «Свобода, Равенство и Братство!»... И все же, и все же!.. Мало ли честных людей верило этим словам наивно и чистосердечно! Они жили под счастливой звездой и не пришлось им подвергнуть рискованной проверке своих «благих богов». Обычная участь средней буржуазии: пока кругом спокойно, жить себе потихоньку, скромненько, честно, за работой, за плотно заколоченными стенами, без всяких горизонтов, без всяких толчков...

Раздался толчок, хотя никто его не предсказывал. Внезапно потрясло дело Дрейфуса. Как тигры, бросились друг на друга оба кумира, до тех пор бывшие четою, Родина, Революция. Сорваны официальные маски, и на минуту явились подлинные лики Справедливости, Свободы, мало того — лик Силы, обеих Сил: Революции и Армии, — насилие со всех сторон. Опасен для непривычного народа ветер Правды. Несколько месяцев бредила Франция под налетевшим шквалом, казалось, все затрещало; кое-кто и совсем не оправился от этого потрясения умов. Уже не удавалось вместе сочетать столкнувшиеся в поединке верования: а без них обоих обойтись было нельзя. Но так как хотелось жить, так как сил не хватало погрузиться в проблему до самого дна, то пришли к молчаливому соглашению, будто бы к концу кризиса. Без дальних слов сторговались между собой оба кумира, враждовавшие, но равно поддельные, они чувствовали потребность найти друг в друге взаимную опору. И, истощив свои силы, вновь улеглись на перину идейных компромиссов. Компромиссы отечества, справедливости, свободы и цивилизации, под флагом которой прятались проделки политического владыки — Капитала, предательство тайных договоров, распоряжающихся народами, бесстыдный грабеж всей остальной земли, учиненный великими державами.

Около 1900 года мы восстали против этого компромисса — горсточка молодежи (и я в том числе, вместе с Пеги). Опьяненность чистотою, стоической, бескорыстной правдой жгла белым своим пламенем часть лучших людей Франции, носивших на себе печать Бетховена и «Воскресения». Бесстрашно приглашал «Двухнедельник» (Cahiers de la Quinzaine) итти в атаку против лжи политики и преступлений цивилизации. Мы еще зрело не решили, выбирать ли нам одну из великих идей: Родина, Человечество, которыми мы были полны, или сочетать их вместе; нам хотелось мстить за профанацию, изгнать торговцев из храма и сделать чистым культ двух богинь-матерей, казавшихся нам сестрами. Изо всей силы трубили Жан-Кристоф и Пеги о мистике действия, о героической

[1] Лойяльно-Мыслящий — прозвище судебного пристава из пьесы Мольера «Тартюф». Прим. пер.

религии Жизни-жертвы, о всецелом самопожертвовании ради веры, — какою бы она ни была.

Один из тех, кто испил от этих источников, один из очень немногих, кто, испив, от них не отрекся, Жан-Ришар Блок, рассказывает в последней своей книге «Судьбы Века» (Destin du Siècle, 1931 г.):

«Вся наша молодежь была запечатлена словом, которое стало нашим девизом, нашим оправданием, нашим лозунгом: Служение... Над всей духовной жизнью Толстого господствует оно... Вместе с мистикой дрейфусовских годов, Пеги и Жан-Кристоф усиленно воздвигали вокруг нас крепость человеческих обязательств и нравственного долга... Идеалом нам было добровольное служение. Самым тяжким последствием этого урока оказалось то, что он помог нам стать в 1914 году послушными подданными»[1].

Жан-Ришар Блок добавляет: «кажется только один Роллан избежал этой чрезмерной покорности, потому что, будучи гораздо более и по существу толстовцем, обрел на другом берегу служения пылающую освобожденность и уединение религиозного сознания»[2], и он может представить себе, как содрогался я, видя в августе-сентябре 1914 года, что мои друзья, мои младшие братья, ринулись в ту пучину, которую Кристоф оставил позади себя. Разве они не шли по его следам?

Да, шли. Времени ему не хватило, чтобы их перевести на другой берег... Вот какое письмо, полное благородства, написала мне 25 августа 1914 года мать одного из них, мать прекрасного юноши 22—23 лет, доброго, милого, великодушного, который был убит при одной из самых первых схваток в Лотарингии:

«Немецкая пуля только что убила нашего единственного сына. Перед от'ездом он несколько раз выражал желание написать вам. Успел ли он сделать это в последнюю минуту, сомневаюсь, и поэтому сама сообщаю вам, что́ чувствовал он и многие из его друзей, которые, может быть, также убиты. В ваших книгах обрела вся эта прекрасная молодежь ту силу, тот героизм, которые слишком угашаются критическим духом нынешнего воспитания. Ваши произведения создали настоящих учеников, которых ваше влияние подняло над повседневностью жизни, властно придали им радостное одушевление, позволившее им отправиться на войну мужественно, не оглядываясь огорченно на то, что они покидали. Красота их благородной жертвы поможет оплакивающим их примириться с их смертью и со всеми бедствиями, которые сулит нам эта ужасная война. Мне хотелось сообщить вам, чем они вам обязаны и за них поблагодарить вас».

Сердце у меня разрывалось от такой благодарности!

Право, слыша, как все эти Бурже и Барресы прославляют героизм самопожертвования, расцветший благодаря войне, я кричал им из глубины сердца: «Жалкие люди! Мы, мы посеяли этот героизм в сердца юных воинов! Нами приуготовлены эти жертвы... Но не для вас! Не для вашей войны! Ничего не создала ваша война. Убила их ваша война!..».

Вот какова трагедия человека, написавшего «Над схваткой».

Нашими младшими братьями, нашими учениками, сыновьями, было героическое поколение 1914 года. Мы их воспитали. Но времени нам не хватило указать им путь. Мы не могли. Ведь, признаемся, сами мы не знали пути. До последнего часа мы стояли нерешительно на перекрестке двух дорог[1].

Такова моя исповедь — исповедь целой эпохи. Себя мне нечего щадить больше, чем других! В первые дни августа ни один из нас не мог преодолеть убийственного смешения двух идеалов: родина, человечество. А мы не хотели жертвовать ни тем, ни другим. Нас опутывала обманчивая надежда на то, что их можно гармонически сочетать. Говоря «мы», я подразумеваю не только интеллигентов, которые вечно говорят: «мы пахали». Я имею ввиду людей активных, каких не мало знаю, и из числа тех, которые потом играли первые роли в государстве. Сам Жорес до последнего дня не сделал выбора между римским идеалом вооруженной нации и идеалом восставших и побратавшихся народов.

---

[1] «Толстой или добровольное служение» (Tolstoi ou la servitude volontaire).

[2] То же миросозерцание мною изложено вполне точно в статье «Толстой, вольный дух». Она опубликована в мае 1917 в журнале Tablettes de Genève и затем вошла в сборник «Предтечи».

[1] Символ этой нерешительности — два Сиамских близнеца Кристоф и Оливье: один, Оливье, отказывается от войны, другой, Кристоф, готов итти на войну («Дома»). Правда, с годами Кристоф поднимается «Над схваткой» наций («Рассвет»). Однако юные читатели остались на полпути.

Итак, сразу перед нами разверзлась пропасть... Выбирай!.. А выбирать уже поздно. За нас выбор сделан. Так, чудовищным прошлым пожирается будущее.

Тогда я находился в Швейцарии. Пробуждался от долгого, пленительного сна. Руки любви заслонили от меня облака, скоплявшиеся в июне и июле чудеснейшего лета... (разве не было оно прекраснейшим? Пронзительно великолепные стояли дни, когда замышлялось избиение Европы!..). А пальцы любимой разомкнулись, и тогда оказалось, что в мире настала ночь. Война была об'явлена.

Немало мне понадобилось времени, чтобы в потемках отыскать дорогу. Вести других — об этом я не думал. На те годы — совсем не моя роль. Кем я был? Поэтом-музыкантом, которого навещали порой предчувствия будущего (мне еще и двадцати лет не исполнилось, а я уже слышал, как к западному миру приближается катастрофа; свидетельством этой неотвязной мысли являются многие из моих юношеских драматических произведений, большей частью неизданных). Политики я никогда не касался. Если Жан-Кристоф, дитя мое, мое «я», когда мне было тридцать лет, сделало мое имя притягательным для многих, помимо моего желания, огнем, пылающим на горе, притом не без дыма, если французская молодежь хотела видеть во мне старшего брата, который стал бы в известной степени нравственным водителем и товарищем (о чем свидетельствуют их письма), — то вопросы общественной деятельности я отдавал людям высшей квалификации: общественным трибунам, — со многими из них я дружил, многих тогда чтил, — свободомыслящим интеллигентам, вроде Анатоля Франса, Мирбо, которые в трудный час вели наступление на тяжелые массы угрожающей реакции, университетским профессорам, уважаемым моим коллегам, ведь я имел возможность (студентом, потом доцентом в старших классах Эколь Нормаль и в Сорбонне) близко узнать их ясный ум, критичность методов, преклонение перед истиной и приписывал им независимость духа, бесстрашие разума...

«Impavidum ferient ruinae...» [1].

Ночью, бродя на ощупь, я все ждал, ждал, чтобы голос их поднялся, чтобы он мне сказал: «Вот путь!».

[1] Стих Горация, смысл его «Когда рушатся стены, они бьют и бесстрашного». Прим. пер.

Но ничего до меня не донеслось, только гвалт военщины, только пение, как будто на смех, тыловых храбрецов:

«Allez, enfants de la Patrie...» [1].

Все отреклись, а Жорес был убит.

Полное одиночество. Первые августовские недели ушли на трагический диалог с самим собой, на внутреннюю самопроверку и уход от мира в свое «святая святых». Приходилось сделать тот вывод, что из двух наших богинь — Родина, Человечество, первая все сожрала. А о второй просто позабыли... Неужели только я и верую еще в нее? И раз никто не говорит, никто из тех, кто еще вчера был набожным ее поклонником, нужно ли мне заговорить? Но что мне сказать? И по какому праву? И кто станет меня слушать? Вот начали доходить первые письма друзей, уехавших биться. Все ликуют, у всех под'ем благодаря вере в тысячеголовую французскую Кали [2], в Отечество прошлого, будущего, королей, республик, крестовых походов, соборов и Революций. 10 августа я записываю в дневник:

«Что мне делать? Им всем по душе эта война! Они счастливы пролить кровь на ее алтарь. Нечего их жалеть. Да исполнятся судьбы! Но ненависти нет доступа в мое сердце».

«De profundis clamans (из глубины воззвав)... Из пучины ненавистничества воспою тебе песнь, божественный Мир...».

В те дни (15—20 августа) я написал свою Оду «Жертвенник Миру» (Ara Pacis) [3]. Она мой первенец, рожденный войной. Но это дитя оставлю при себе. Кто еще захочет слушать его песню? Я отважусь опубликовать ее лишь через год, на рождество 1915 года, в женевских газетах. Одно грубое зубоскальство раздастся ей в ответ.

Тем временем с каждым днем скопляются новые бедствия, душа растоптана. Бельгия пылает. Враг вторгся во Францию. Казалось, все пропало: друзья, родина и цивилизация. Чувствуешь себя так, точно и ты сам пропал вместе с ними. Порою, от преступления более разительного, чем другие [4] вырывается крик ужа-

[1] Начальные слова Марсельезы, умышленно искаженные. Вместо allons — идемте, они пошли. идите. Прим. пер.

[2] *Индусская богиня войны и смерти.*

[3] Она опубликована как введение к книге «Предтечи».

[4] К тому же оно было очень раздуто благодаря ужасающей немецкой косолапости.

са: возникает письмо Гергарду Гауптману (29 августа — 1 сентября)... Но бунтуешь не только против военщины, не только против нации, а против бога отцов, в которого мы верили, против «древнего ревнивого бога»[1]. «Отечество, кумир окровавленный!..»[2].

Бьюсь в яме. Вижу ужасное безумие, позорную ловушку, которую поставили прекрасной европейской молодежи и душе ее, жаждущей самопожертвования. Сердце болит от резкого противоречия между величием жертвы и подлостью цели. На две части раздирают меня набожное преклонение перед идущими на смерть и бунт против убийц, преступных руководителей и пагубных интеллигентов, которые из того и другого лагеря уже начали гнусную перебранку над головами фронтовиков! (Сами-то они укрылись.)

Вот в какой обстановке, когда шло сражение при Марне (11—12 сентября), я пишу и читаю старому своему женевскому приятелю Полю Зейпелю страницы, носящие заглавие «Над схваткой».

Сейчас я перечитываю это приветствие, принесенной в жертву молодежи, «которая за нас мстит годам скептицизма и падкой на наслаждения дряблости». Так я думаю и сейчас и никогда от этого не откажусь. Слишком страдала моя юность в Париже между 1880 и 1895 гг. от этих годов общественного эгоизма, плоского оппортунизма, парламентского и литературного взяточничества, чтобы не приветствовать братьев моего маленького Аэрта, более мужественных, чем он, и готовых на жертву. Не будь эта жертва так чиста (по крайней мере у лучших), не так трагично было бы смотреть на то, с какой жестокостью она расходуется зря владыками власти и общественного мнения. Итак, простирая об'ятия к тем, кто с песнями шел на муку, я бросил свое обвинение только в лицо убийц (сознательных или невольных), трибунов, мыслителей, церквей и правительств. Потому-то и поднялась на меня бешеная травля: преступники себя признали, их задело...

Что еще мог я сделать? На что был способен в ту пору слабый и одинокий человек? Плотины прорваны, Европа уже затоплена. И статья моя пророчествовала, что рушатся Европа и цивилизация. Она также предсказывала революции, падение империй: сперва Германии... «Придет черед и царизму...»

Единственной возможной для меня деятельностью осталась попытка собрать одиночек, сохранивших независимость, «rari nautes»[1], чтобы защищать хотя бы свободу духа[2], чтобы, насколько это возможно, сообщить гуманность войне. Тогда я еще не проверил на опыте несовместимость двух понятий: «война» и что бы то ни было «гуманное».

Мои мирные речи, хотя и очень умеренные, — опубликованы они были 22—23 сентября, в «Женевской газете» (Journal de Genève) — не вызвали никакого отклика, то было время самой тяжкой из тех бешеных схваток, которые тянулись на Эне целых десять дней, *время ненависти, под'ятой Реймским пожаром.* До Франции они донеслись больше, чем через месяц. Франция тогда была уже не та.

Опорою в течение первых двух месяцев служила мне относительная умеренность фран-

---

[1] «Вина не только моя, а общая всем нам. Мы все верили в бога отцов наших, в древнего ревнивого бога; и даже самые свободомыслящие из нас, чтя воспоминания, не старались освободиться от этой веры вплоть до 1914 г». См. «Мученику» (Pour un Martyr) в приложении к «Предтечи».

[2] Отечество, кумир окровавленный! Обе они (Франция и Германия) делают вид, что любят Лотарингию, что она им родная... Не правда! Они ее не любят. Любят не ради нее, а ради самих себя, ради собственной своей гордости. Иначе, разве стали бы они ее разрушать? Обе они ее убивают только бы урвать ее себе. Дурная мать Суда Соломонова — вот кто они оба. Хорошая мать, настоящая мать, говорит: «Лучше ее отдать другой, чем убивать» (Дневник. 25 августа).

[1] Начало стиха из Энеиды Виргилия: Rari nautes in gurgite vasto — немногие пловцы держатся над пучиной. Прим. пер.

[2] Я делал тогда попытки собрать в Швейцарии свободомыслящих интеллигентов, принадлежащих к воюющим нациям. По этому поводу завязалась переписка с Стефаном Цвейгом (он первый из моих германских друзей разделил мои взгляды), с голландским писателем Фредериком ван Эден, который еще до войны собрал около себя интернациональный кружок крупных представителей интеллигенции (в том числе Ратенау, Густав Ландауэр и др.). Обменялся я несколькими письмами и с Андрэ Жидом. Но попытка не далеко пошла.

цузской печати[1], если ее сравнить с неслыханными, бредовыми идеями немецких писем и печати[2]. А еще больше — вера в то, скорее только надежда на то (ведь доверие уже было подорвано), что главные виновники не в лагере Союзников, кроме, впрочем, России.

Очень скоро это заблуждение рассеялось.

«Раздуваемая безответственными риторами ненависть — вот убийца», — слова, которые уже к 1 сентября (Дневник) с глубоким отвращением кидал я в лицо Барресу — все шире и шире распространяла она заразу по всей почти французской печати, а следовательно и по мысли всей почти нации. Временное помутнение разума, думал я сначала. Нет, оно становилось все жесточе, все расчетливее, по мере того, как удалялась первая — самая смертельная — опасность. Спасшись, зверь мстил за причиненный испуг. Между 20 и 25 сентября я записываю горькие, уже свободные от первых ошибок, размышления о силе циклона и о том, чего интеллигенты стоят.

«Теперешний кризис обнаружит подлинную природу людей, которых, казалось мне, я прекрасно знал. Падает маска, и где я ждал найти человечное, нежное лицо милого друга, там — только клыки да пена из пасти волчат»[3].

Но старые волки были еще хуже. Баррес вел их свору, а Анатоль Франс, перепугавшись, искупал великодушие своих высказываний, голосом семидесятилетнего старца он изо всех сил приплаживался к лаю остальных и плакался, чтобы его записали добровольцем в армию (28 сентября).

От Европы я уже ничего не жду... «Вся Европа — дом сумасшедших. Каждый мнит себя богом-отцом» (Дневник, 28 сентября).

И 1 октября — четырьмя годами раньше других — ища арбитра в других странах, я пишу президенту Вильсону[1]:

«Господин Президент, злосчастная война, результатом которой, при любом исходе, будет разрушение Европы, обращает к вам и к вашей стране взоры всех тех, кто обладает безрадостной привилегией не поддаваться страстям этой схватки. Скорее же возвысьте ваш твердый и правый голос среди враждующих братьев! Вопрос стоит не только об интересах народов, вступивших в единоборство, святотатственные бои поставили под угрозу саму цивилизацию всю целиком. Пусть Соединенные Штаты Америки напомнят потерявшей разум Европе, что ни один народ не обладает правом, ради удовлетворения своего самолюбия и ненависти, колебать здание общечеловеческого прогресса, которое в течение веков потребовало стольких трудов и такого творческого напряжения».

Нечего и добавлять, что обитатель Белого Дома оставил мое письмо без ответа.

Шестого октября, собираясь переселиться из Вевея в Женеву, куда я ехал работать в Международном Красном кресте, в открываемом им тогда Агентстве военнопленных, я писал:

«До какой степени нынешний кризис разоблачит мне людей и особенно верхушку интеллигенции! Столь гордые, столь ревностно оберегающие свою правоту, столь проникнутые великими принципами свободы и гуманности мыслители до чего же быстро и целиком от них отреклись и их растоптали! Позже я им это помяну, когда мы вернемся к мирной жизни, и они опять станут с кафедры возвещать о своем свободном мышлении, братски относящемся ко всему человеческому. Не дорого это им стоит! Ни на час не хватило им мужества защищать это мышление под натиском пробудившегося зверства. О, как вы слабы, друзья мои!».

Не устарели эти слова и теперь, когда пацифизм в моде, ведь он служит интересам правящих сил: политике и деньгам. С горестным удовлетворением я вижу, что многие из тех, у кого я отметил тогда малодушное и полное отречение, гордо поучают меня миролюбию и гражданскому мужеству, теперь, когда опас-

[1] За исключением заправил, вроде Барреса, жестокость которого не замедлила обнажиться. Впрочем, кто, как я, знал его прежде, нисколько не был удивлен.

[2] Даже у людей, вполне честных, вроде тех, апокалиптические словоизвержения которых сообщал мне Фредерик ван Эден. Это — послания галлюцинирующих фанатиков, затянувших корибантские гимны в честь Иисуса-Диониса и его тигров — «Иисус, уже не оскопленный по моде англо-саксонских ханжей агнец, а Иисус — Лев раздирающий». Я сохраняю связку этих полоумных документов... Для некоторых хмель оказался недолгим. У одного из них, человека превосходного, но примкнувшего к немецким последователям Аиссы, через несколько месяцев убили единственного сына. И от горя глаза раскрылись.

[3] Не могу не упомянуть о том, как мне была приятна статья, проникнутая просто жалостью, появившаяся 27 сентября. Подпись под ней: Франсис де-Миомандр.

[1] Тогда же я послал ему свою статью «Над схваткой».

ность миновала и они находятся под эгидой официальных властей, заинтересованных в восстановлении торговых дел.

Работая в Агентстве военнопленных, я написал в октябре две статьи: «Из двух зол меньшее» и «Милосердие в час войны» (Inter arma caritas). Теперь они кажутся очень бледными. Они борются всего лишь с ненавистью — не с войной — и борются, поскольку находят ее во вражеских рядах. Бешенство безумной немецкой гордости разразилось в эти месяцы[1] целым потоком статей, призывов, коллективных протестов, где высказывались известнейшие люди, как раз из числа тех, кто должны бы не так поддаться заразе. Фридрих Гундольф, выдающийся ученик Стефана Георге, гётеанец, писал, что «Аттила более причастен культуре, чем все вместе взятые Шоу, Метерлинк и д'Аннунцио», что «Европа износилась» за исключением только Германии, которая «будучи в силах создавать, имеет право и разрушать» (Wer stark ist zu schaffen, der darf auch zerstören)[2]. И Томас Манн, в своих вселяющих полное недоумение «Мыслях в военное время» (Gedanken im Kriege)[3], подло оскорблял Францию[4], глумился над смятением и скорбью, поднявшимися от немецких нашествий (особенно от разрушения Реймского собора) и восхвалял немецкий милитаризм, дело его отождествляя с делом культуры.

Поэтому вполне понятно, что в своих письмах, относящихся к октябрю-ноябрю 1914 г., я энергично протестовал против разлившейся через край немецкой «Сверхчеловечности» (Uebermenschheit). Но они чрезмерно оправдывают французский разум, о глубокой хаотичности которого я еще не подозревал. Во всяком случае, что мои статьи явно грешат пристрастием к Франции — это сомнению не подлежит.

[1] Прекрасное, бесспорное исключение: Герман Гессе. 3 ноября он напечатал в «Новой Цюрихской газете» (Neue Zürcher Zeitung) полную благородства статью, внушенную знаменитыми словами Бетховена в 9-ой Симфонии: O Freunde, nicht diese Töne. (О, други, не так задорно!)

[2] «Слова и дела в военное время» (Tat und Wort im Krieg) напечатано в «Франкфуртской газете» (Frankfurter Zeitung) от 11 октября.

[3] Появились в берлинском «Новом обозрении» (Neue Rundschau) ноябрь 1914 г.

[4] «Мозги этого народа не переваривают войны. Что стало с Францией за шестьдесят дней войны? Народ, который, что ни день, весь трясется от войны, имеет ли он еще право на войну?»

Народ этот принял вызов, очевидно таким жестом и заслужил симпатии Томаса Манна, который сейчас ищет у нас популярности.

И вот, стоит особо отметить, что как раз эти статьи[1] и подняли против меня целую бурю грязи и ненависти! Не только Бурже, воспевавший «Христа и вечную войну», или Фредерик Массон, как буйвол топтавший в «Парижском эхо» (Echo de Paris, 5 октября) немецких гениев и требовавший, чтобы особый декрет запретил исполнение другой музыки, кроме песни «Немецкий Рейн»[2] и Марсельезы, в бой вступил и светский, якобинский университет; мой коллега по Сорбонне, общепризнанный историк Французской революции Олар, когда-то во время лекции освистанный реакционными партиями, открыл атаку против меня. Он первый публично на меня донес (статья в газете «Матэн», 23 октября), оказав мне честь тем, что от имени Сорбонны признал себя несолидарным со мной[3]. А на другой же день по его следам пошли «Аксьон Франсэз», «Интрасижан» и «La Croix» («Крест»)[4], все виды реакции. Хорош Священный союз: Олар, Додэ и «Крест»! Издали глядя, горжусь, что первым получил удар. Но в ту минуту, признаюсь, я точно с потолка свалился. «Крест» пустил в меня такой дротик (я прибил его на стену, как военный трофей):

«В «Женевской газете» швейцарец Ромен Роллан, когда-то, на правах иностранца, читав-

[1] Статьи Т. Манна называли и меня, как врага Германии, наряду с Бергсоном, Метерлинком, Ришпэном, Дешанелем, Пишоном и Черчиллем.

Но что самое поразительное — статьи Гундольфа и Томаса Манна переслали мне два немецких мои друга, люди добрые, умеренные, любезные, чтобы просветить меня насчет благородства немецкого правого дела. Вот до какого невероятного ослепления доходили лучшие люди!

[2] Патриотические стихи Альфреда де Мюссе — в ответ на патриотические же стихи немецкого поэта Беккера. Прим. пер.

[3] Он удвоил атаку в «Информасьон» от 16 января 1915 г. по поводу европейского манифеста каталанских интеллигентов, опубликованного мною. Он обвинял их, выдающихся мыслителей и художников, в том, что они — переодетые немцы.

[4] Газета «La Croix» — католический непосредственно связанный с папой.

ний в Сорбонне факультативный курс, оплачиваемый студентами[1], мягко журит «своих немецких друзей» и энергично порицает союзников, которые «колеблют столпы цивилизации», при помощи казаков и солдат марокканских, суданских и сикхских... Даже г. Олар, былой пацифист, без колебаний клеймит в «Матэн» поведение сего столпа бесстыдства, мнящего себя столпом цивилизации».

Растерявшиеся друзья мои (имею ввиду маленькую кучку тех, кто не покинул меня, едва поднялась тревога) умоляли меня молчать или отречься от своих слов. Мой издатель, перепугавшись[2], писал мне, что книжные магазины вдруг об'явили под бойкотом «Жан-Кристофа» и умолял меня написать статью, в которой я брал бы свои слова обратно. Почта каждое утро доставляла на завтрак полную миску плевков, букет анонимных угроз, обещавших мне ту же участь, что выпала Жоресу, и требование, чтобы я именовал себя не Роланд, а Ганелон[3]. Весь журналистский сброд, который я бичевал в «Ярмарке на площади», пользовался случаем, чтобы меня как следует пощипать. Любезный коллега Альфред Капюс предложил мне напечатать в «Фигаро» мои об'яснения.

Я написал «Письмо моим обвинителям» (теперь оно помещено в сборнике статей «Над схваткой»). Дату его стоит отметить: 17 ноября 1914 г. Обвинения сыпались, значит, на статьи, еще полные почтительности и сострадания к родине, вплоть до «Милосердия в час войны» (30 октября) и небольшой героической элегии в честь Бельгии «Народу, страдающему за справедливость» (2 ноября). Теперь больше, чем тогда, я чувствую подлость и маниакальный бред этих обвинений. Мой ответ обвинителям не брал обратно ни одного слова. Еще с большей энергией подтверждал он все написанное мной. Вопреки всем, я защищал своих немецких друзей и мой отказ от того, чтобы огулом весь немецкий народ обвинять за действия его главарей. Я переходил к нападению на тех интеллигентов, которые во Франции разжигают ненависть; и между прочим одна фраза, когда статья была напечатана, подняла бурю негодования: та, в которой я предсказывал зловещим актерам «вечной войны», что со временем они прежде всех «ударят по рукам» с зарейнскими соседями, «когда речь пойдет о делах». (Богу известно, отказывались ли они от торговых дел все эти десять лет! Самые ярые националисты 1915 года сейчас стали обделывать делишки заодно с самыми ярыми немецкими аферистами-националистами). Однако меньше всего прощают, когда кто-нибудь правильно предскажет будущее.

Друзья пришли в ужас. Издатель мне написал:

«Напечатать невозможно. Результат оказался бы плачевным. Капюс, друзья, с которыми я решил посоветоваться, все мы пришли к выводу, что статья гораздо опаснее, чем те, которые поднесли огонь под пороховой погреб... Умоляю вас не печатать ее, даже за границей.. Пусть другие выступят защитниками в вашем деле; может быть, им удастся добиться вашего оправдания...».

Не откладывая ответа, я написал тогда же (24 ноября), что «если друзья ищут смягчающих мою вину обстоятельств, я буду принужден отказаться от таких друзей... Оставляю за собой право на мои мысли и их высказыванье. Ни в коем случае не обещаю в будущем молчать. Если приходится быть свидетелем того, что моя родина несправедливо поступает, лучше я жизнь свою разобью, чем стану молчаливым соучастником... Оправдываться не буду. Мне стыдно за Францию, что чувства великодушия могут ей казаться опасными... Защищая Францию от ее безумной слепоты, я защищаю ее честь... Ей будет приятно со временем, что я, даже вопреки ее воле, остался верен ее традициям справедливости и гуманности».

И, подтверждая свое решение, я написал «Кумиры» (4 декабря) — из всех ранних моих

---

[1] Иностранным читателям, которым более, чем французским журналистам простительно не знать мой curriculum vitae, напомню, что происхожу я из старинной французской провинциальной семьи, без примеси чужеродной крови,— что французский университет, в котором я получил все полагающиеся ученые степени,поручал мне не раз дополнительные часы по истории искусств, на парижском литературном факультете, оплачивались они скромно, но вполне официально, государством.

[2] На несколько месяцев растерявшись, он признал, к чести его будь сказано, неуступчивость мою правильной и взялся за мою защиту с мужеством и преданностью, не покидавшими его до самой смерти. Навсегда сохраню о нем благодарное воспоминание и охотно вписываю на эти страницы его имя: Эмбло, верный друг.

[3] В средневековой «Песне о Роланде» повествуется о благородном Роланде и изменнике— Ганелоне Прим. пер.

работ эта статья меньше всего щадила французскую интеллигенцию...

«Не более горжусь и французской интеллигенцией... Неслыханное малодушие, с каким вожди мысли повсюду отступили перед коллективным безумием, прекрасно доказывает, что душевной силы у них не оказалось...»

Родина здесь именовалась «кумиром», не более был пощажен кумир Демократии, который Союзники втягивали в свою «правую войну...» «Кто разобьет идолы?..» Всем им: родине, демократии, религии, культуре, цивилизации, я противопоставляю «дикую фиалку свободы»...

Отныне, мосты почти что разрушены. Лучшие из давних моих друзей, защищавшие меня доселе против общественного мнения и против самих себя, впали в уныние и выронили из рук оружие. Близкая мне женщина[1] писала, что когда она читала «Кумиры», «в сердце ей ударило». И верная мне моя мать из Парижа предупреждала меня, что «Кумиры» совершенно изменили мнение друзей обо мне — против меня» (20 декабря).

Однако в тот же день, 20 декабря 1914 г.— читаю я в дневнике: «впервые с самого июля месяца я опять открыл крышку рояля». Уже пять месяцев я отказывал себе в музыке, моей ежевечерней подруге; мысль не могла оторваться от тогдашних ужасов и не хотела отвлечься. 20 декабря я записываю проясненно и горестно:

«Начинаю терять интерес к гибели народов, которые сами ее ищут и, кажется, даже ощущают от того удовольствия. Бьюсь не за них, а за честь. Сегодня вечером играл милого Моцарта и религиозные мелодии старых немцев».

(Если бы Фридерик Массон о том знал, он уличил бы меня в предательстве!)

Но что же произошло, почему сердце переменило свой путь?

В декабре произошли два факта.

Во-первых, волны ненависти бушевали во Франции с чудовищной, еще небывалой силой, тем более для меня нестерпимой, что для Франции опасность притупилась. Самые независимые и самые значительные из мыслителей присоединились к общему хору: Бергсон и Реми де Гурмон, торжественно покаявшийся в своей вине. А король всей этой своры, Баррес, с пеной бешенства впивался в горло уже не только немцам, а также и французским пацифистам[1]. А вслед за ним Андрэ Бонье, Луи Бертран, Эмиль Пикар, Академия наук, католический парижский университет отрицали научный гений Германии. С нравственной точки зрения положение совершенно переменилось. А как раз в это же время берлинская Академия наук единогласно осудила бредовые декламации одного своих членов, профессора Лассона, и Совет лейпцигского университета благородно изобличил Оствальда во лжи. Германия возвращалась к идейной умеренности, от которой в тот же час отходила Франция с какой-то строго рассчитанной яростью. Пишу, вполне взвешивая эти слова «строго рассчитанной»: ведь из всех личных своих источников, из всех признаний, доходивших до меня из Франции, я узнавал о крайней усталости французского народа, о том, что он жаждет мира; вот против этого и выступала дикая свора журналистов, и инстинктивно и по приказу. Мне очень досадно, что приходится так резко отзываться о человеке, творчество которого я ценю, но не характер. Как же, однако, назвать ту жестокую радость, с какой Баррес заранее предвкушал медленную смерть Германии, «доведенной до отчаянья... обильная людьми Россия убивает и еще убьет у них сотни тысяч белокурых, голубоглазых воинов... совершенство блокады, от которой, под натиском французов и русских, она наконец умрет...»[2]. Прошло шестнадцать лет, а все еще меня охватывает отвращение, тошнота, когда я подумаю об этом господине и его патриотическом садизме. Не признаю за ним права считать себя представителем Франции. К какой бы расе он ни принадлежал, я к ней не принадлежу. Между мной и кровопийцами ничего общего.

---

[1] Ряд смертей выпал ей на долю и ей пришлось вскоре вернуться в мой лагерь. Впоследствии, рискуя всем, она выступала на мою защиту.

[1] «Эко де Пари», 19 дек.: «Недопустимо существование пацифистов... Не считая каких-то наивных людей, попавших в среду сознательных преступников, они все были разведчиками германизма... Вроде тех преступников, которые теперь затевают спасение Германии». Того же Барреса, в той же газете от 3 января 1915 г. статья о «гнусном пацифизме».

[2] «Эко де Пари», 27 ноября 1915 г. Сравни мерзости Лаведана и Шарля Фолей, баловавшихся с 14 ноября оружием, или вой «Тулузской депеши»: «Убивают их! Убивают их!» Французский приятель, республиканец и патриот, писал мне, какой ужас вызывают в нем «подобные каннибальства».

Но переполнило чашу то, что и французская Швейцария попыталась настроить лиру под эти крики. 23 декабря я убедился в том, что «Лозаннская трибуна» (Tribune de Lausanne) отчитала меня устами Ренэ Пайо, который возмущенно преподнес мне урок, беспристрастие его мне очень понравилось (надеюсь, также и моим теперешним читателям), особенно замечание: «Чего доброго, подумаешь, что автор прежде всего хочет быть гражданином вселенной». «Женевская газета», перепуганная нападками на меня в газете «Тан» 17 декабря и в больших «благомыслящих» французских газетах, заметно ко мне охладела, раздраженная тем, что я ее скомпрометировал. Из того швейцарского города, где я жил, я получал письма вроде следующего:

«Хорошо бы уничтожить всех немцев. О, без них — какой мир, какая радость в Европе!»

Так вздыхала какая-то нежная женевская девица.

Станет понятно, почему я в эти дни отвернулся от подобных человеческих особей и предпочел им милую покинутую подругу — музыку [1].

Больше того! С каждым днем все шире открывались у меня глаза. Понемногу я обнаружил, что ответственны за войну Союзники. Читая в декабре 1914 г. «Синюю Книгу» [2], я с изумлением присутствовал при беседе сэра Эд. Грея с немецким посланником, происходившей год тому назад 1 августа: посланник предлагал Великобритании, если она обещает нейтралитет, гарантировать Франции ее теперешние границы и колониальные ее владения; Грей, не сказав ни да, ни нет, лукаво открывал перед Германией путь к заранее поставленной ловушке: огромный зверь, попав в безвыходное положение, вторгается в Бельгию; заранее подстроенный casus belli — только он и мог вырвать у английской нации согласие на авантюру, к которой толкали ее правители... Мне бы очень хотелось, чтобы кто-нибудь стал оспаривать подобное толкование преступно нерешительной политики сэра Эд. Грея (хотя позже также ее истолковывали английские историки из «Союза народного контроля», Union of democratic Control, а я и словом с ними не обменялся). Но факт тот, что с этого дня подозрение вкралось ко мне. Потом оно меня и не покидало. Я почуял, что война — общеевропейское преступление, за нее ответственность несут все государства. Записываю 11 января 1915 г.:

«Постепенно обнаружил, с ужасом, что не одной Германии приходится лгать. И теперь мне кажется, что ответственность, в равной степени, должны принять на себя все воюющие державы. Даже кто знает, у Германии ли были самые преступные намерения. Но благодаря своей неуклюжей мешковатости, она стала фактически более преступной».

На переломе 1914—1915 г. и во мне обозначился резкий душевный перелом. Разумеется, дело немалое! Целые дни, целые месяцы агонии понадобились мне, чтобы произвести на свет новое существо и перешагнуть через умершее прошлое. Мрачные дни, скорбь в сердце и на уме, я лежал, «закрыв лицо, и предвкушал сладость смерти...» [1].

Впрочем, уже не раз поцелуй смерти возвращал меня к жизни. Смерть так же, как музыка, милая моя подруга. Она берет за руку в решительный час, когда как будто заказаны все пути, и говорит: «Иди!»

Снова в путь. Я вошел в ущелье. На повороте приходилось сказать прошлому: прости! Былые друзья по большей части сами меня покинули. Но по ту сторону горы нашел я новых друзей. Иные уже приближались, против ветра, как птицы перелетные.

Из них первым донесся издали, в ответ на призыв «Над схваткой», мелодический голос Элеоноры Дузе. Две строки карандашом, из Рима, 13 октября 1914 г.:

«Да принесут утешение вашему сердцу ваши же слова!.. Над схваткой! Еще, еще говорите! Вы имеете право...»

Вскоре, из другого конца Европы, голос другой женщины: Эллен Кей (18 декабря).

А в промежутки доносились французские голоса. Предпринятое Оларом и парижской пе-

[1] Открывались тогда передо мной и другие убежища мысли и искусства: Индия, которой предстояло обновить мою жизнь, первый электрический ток донесся ко мне оттуда благодаря книгам Анады Коомарасвами, с которыми я познакомился в ту зиму; в марте 1915 г. открытие симфонических видений гениального литовского художника Чурлянюса; в следующем месяце — гомеровские эпопеи моего великого соседа Карла Шпиттелер.

[2] Впоследствии я читал французскую «Желтую Книгу», где на странице 187 нашел письмо Грея к сэру Гошену, подтверждающее сообщение об этих беседах.

[1] Дневник.

чатью наступление оказало мне ту услугу, что сделало мои слова известными французам, жившим в глуши в унылом одиночестве, которые, без того, может быть о них и не знали бы. Я замечаю, что ко мне с разных сторон протягиваются руки, сначала Марсель Мартинэ (24 октября), Амедей Дюнуа (31 октября), потом давний друг Толстого Павел Бирюков (4 ноября), профессор философии в Бордо — Додэн, Анри Гильбо, мужественно обратившийся ко мне с открытым письмом в «Синдикалистской битве» (Bataille syndicaliste), преподаватель в лицее Вольтер — Шавлон, П. Ж. Жув (25 ноября), Мерсеро, Жорж Пьок, Фернанд Депрэ, Франц Журдэн, Эдуард Дюжардэн, Густав Дюпен, Жак Мениль, Базальжет, Эмиль Массон, Гастон Тиссон, Эдмонд Прива, Фелисьен Шалэ и др. «Гильда Кузнецов» (Ghilde des Forgerons) тайком, как в катакомбах, собрала 22 ноября в Париже небольшую группу сектантов, отрекшихся от войны.

В Англии энергично пополнялся «Союз народного контроля», включавший в себя Тревельяна, Э. Д. Мореля, Нормана Анджеля, Бертрана Рёсселя и др., а «Кэмбриджский журнал» (Cambridge Magazine) напечатал перевод «Над схваткой» (Above the battle field), который затем распространялся в виде брошюры, завязались страстные споры, в которых молодые бойцы доказали свою благородную гуманность.

Наконец, 22 марта 1915 г., как весенняя ласточка, явилось из Берлина большое послание, привет А. Эйнштейна.

«Из газет и благодаря моим связям с союзом «Новое отечество» я узнал, как мужественно вы не щадите своей жизни и себя, ради рассеяния тягостных недоразумений между французским и немецким народом. Это побуждает меня выразить Вам чувства горячего восторга и признательности. Да пробудит Ваш достойный пример других выдающихся людей, доселе благоразумных и здравых умом! Прославят ли будущие века нашу Европу, трехвековая напряженная культурная работа которой привела только к тому, что религиозное помешательство мы сменили помешательством национальным? Даже ученые различных стран ведут себя так, точно восемь месяцев тому назад у них ампутировали мозг. Предоставляю в Ваше распоряжение мои слабые силы на случай, если Вы думаете, что могу оказаться Вам полезен благодаря своему положению и связям с немецкими и иностранными представителями точных наук».

Произошел еще факт, не менее для меня важный. В конце января 1915 г. ко мне явился Анатолий Луначарский, будущий советский комиссар Народного просвещения. Он был для меня, можно бы выразиться, послом будущего — вестником грядущей русской революции, который спокойно, решительно предсказал, что в конце войны она произойдет. Это — дело решеное.

Легко понять, что я ощутил почву под ногами, ощутил, что возникает новая Европа, новое человечество. Уже 26 ноября 1914 г. я писал немецкому приятелю, который не хотел признавать истинных причин войны:

«Не обманывайтесь!.. Единственное средство освободиться, — это очистить себя от идеи родины. Кто захочет оздоровить находящуюся под угрозой человеческую культуру, тот роковым образом дойдет до этого жестокого, но неизбежного акта».

И в почтительном, но сильном споре с Габриелем Сэайль, со временем подлежащем опубликованию [1], я сказал:

«Наши переходные души раздирает антагонизм нескольких противоречивых идеалов. И все же придется выбирать или идеал национальный или идеал общечеловеческий. Что касается меня, вы знаете, какими неотвязными были у меня в течение многих лет воспоминания о французской революции. Долго я носил в себе настоящий культ этих кровавых героев. И вот в результате теперешнего кризиса я решительно отброшу в прошлое идеал, теперь являющийся опасным анахронизмом, он теперь — безжалостно отзываясь о верованиях моей юности — не меньшая помеха свободному развитию идеала новых времен, чем идеал католический» [2].

Вот почему не обманулись насчет моих мыслей ни сторонники подлинных рабочих, ни носители подлинно реакционной ненависти. Эдмонд Прива (26 февраля), Росмер (5 мая), Фернанд Депрэ и другие привезли мне из Парижа выражение симпатии и благодарности за мои статьи со стороны рабочих синдикалистов,

---

[1] Письмо 15 января 1915 г. в ответ на «Открытое письмо» Сэайля в «Социальной войне» от 9 января (Guerre Sociale), издаваемой Ж. Эрвэ. Еще письмо 24 января в ответ на письмо Сэайля от 15 января.

[2] Сравн. письмо в «Шведскую газету» (Svenska Dagbladet), напечатанное в «Над схваткой»: «Судьбы человечества поднимают его над всеми отечествами» (18 апреля).

оставшихся верными Интернационалу. Анри Массис открыл 24 апреля 1915 г. в «Опиньон» оскорбительную кампанию против меня, венцом которой был памфлет: «Ромен Роллан против Франции» (июль 1915 г.). Он оказал мне величайшую услугу. Своим неумелым злобствованием он добился от французской цензуры того, в чем она отказывала моим защитникам: напечатал целиком[1] мою статью «Над схваткой». Фанатик рассчитывал таким образом погубить меня в общественном мнении. А добился того, что распространил мои идеи лучше всех вместе взятых моих сторонников. С опозданием на шестнадцать лет приношу ему ироническую свою благодарность.

Я был бы счастлив, если бы меня жаловали только такие недалекие умом враги. Больше терпел я от друзей, вроде того, который, будучи связан со мной двадцатилетними товарищескими отношениями, стремительно от меня отрекся, хотя статей моих даже и не читал, опасаясь быть скомпрометированным; или честного, но слабовольного Верхарна (всегда его любил, и он любил меня, несмотря ни на что), напечатавшего за эти месяцы полные ребяческой ненависти стихи. Сам же он ими тяготился и оправдывался за них, но отмежеваться так и не сумел. Никогда не смешаю его с иными, противными бардами, вроде Габриель д'Аннуцио, в Кварто под Генуей декламировавшего (5 мая) свою лицемерную «Нагорную Проповедь», которая вызывает в моей памяти смертоубийственные проповеди Антихриста росписей Синьорелли на стенах в Орвието, — или с вояками в халате, вроде Анатоля Франса, продолжавшего бить в барабан и категорически отказывавшегося от мира «вплоть до полного разрушения» и «высшего торжества права» (газета «Тан», 3 мая 1915 г.).

Вот в этой-то атмосфере старческого безумства, когда Германия по глупости пустила мину в «Лузитанию» (7 мая), когда Франция в отместку бомбардировала с аэропланов детей в Карлсруэ (июнь), я писал: «Брат наш, враг» (15 марта), «Военная литература» (19 апреля), и «Грех избранников» (14 июня). Нападки печати усиливались. Беглый огонь с обеих сторон. Газета «Тан» выхватила первый попавшийся новый обвинительный пункт: она вменяла мне в вину, что я участвую в немецком обществе «Новое Отечество»[1], являющимся «движущей пружиной немецкой войны» и созданным, говорила она, для деморализации Франции (7 июля). А немцы не прощали мне, что я старался у французов пробудить чувства симпатии к ним, рисуя некоторых из них жертвами их правительственной политики. Некий «Amtsrichter» (мировой судья) из Рюдесгейма на Рейне, Лео Штернберг, напечатал в Штуттгарте оскорбительную для меня брошюру «Die Maske herunter! Eine Antwort an R. R.» («Маски долой! Ответ Ромен Роллану)[2]. Гессенский профессор Мессер обвинял меня в том, что я «способствую продолжению войны» и своим состраданием оскорбляю его друга доктора Клейна[3], которого он, чести ради, провозглашал сознательным и открытым сторонником нарушения бельгийского нейтралитета немецкими войсками. В довершение всего, международный журнал, будто бы способствовавший в немецкой Швейцарии духовному сближению враждующих, был рад напечатать это громогласное заявление немецкого шовинизма и припереть меня к стене.

Я начинал уставать от всех этих помешанных людей. В заметках от 3—7 июля 1915 г.,

[1] Кроме одной строки, которую стыдливо закрыл рукой добродетельный Массис, дабы не оскорблять целомудренного взора своих читателей: в ней я заранее свертывал шею орлу царизма. Ничего рука не закрыла, ничему не помешала. Шею все-таки свернули.

[1] Это была ложь. Я никогда не принимал участия в этом обществе, только переписывался с некоторыми из его членов, к которым принадлежал Эйнштейн и другие замечательнейшие представители новой Германии, республиканской и социалистической, подготовлявшей демократическую Революцию. Будь умна французская политика, она стала бы помогать этим смелым мужчинам и женщинам, не раз поплатившимся тюрьмой за искренность своих убеждений. Но бешеный шовинизм французских правителей не допускал, чтобы во Франции знали о либеральной или революционной Германии и всячески старались ее задушить.

[2] Он обвинял меня в «клеветничестве, бессовестности, возмутительном бесстыдстве» (Verleumdung, Ehrenkränkung, empörende Schamlosigkeit). «Ваше имя — добавлял он — навсегда покрыто позором». (Ihren Namen für immer mit Schmach bedeckt...»)

[3] Одна из жертв войны. Опубликовали записную книжку, найденную на его трупе. Братски сочувственно отзывался я о нем в статье «Военная литература» и знаю, что многие французы, мои читатели, были тронуты.

последние дни моей работы в «Международном Агентстве военнопленных» — я писал:

«После двенадцатимесячных попыток защищать себя и фронтовиков от несправедливости, признаю свое поражение: европейская война все больше и больше представляется мне космическим кризисом, проявлением всеобщей зараженности, корни которой — в таинственных законах химии наций и их катастрофическом смешении,— больше того, может быть, в болезни нашей планеты или в кризисе роста. Ничего не остается, только наблюдать. На несколько месяцев отхожу от работы».

17 июля я к чорту послал крикунов, и немецких и французских. Я написал редактору Цюрихского «Международного обозрения» (Internationale Rundschau) письмо, которое тот и опубликовал:

«Целый год я жертвовал покоем, успехами и дружбами, борясь с безрассудством и ненавистью. Я пытался убедить оба враждующих народа, особенно свой народ в том, что его противники тоже люди и страдают не меньше его. Не без труда отыскивал я в теперешней Германии обнаружения таких мыслей, которые пробуждают отзвук сочувствия во французских сердцах, мыслей свободных и справедливых, способных перебросить мост над пропастью национальных недоразумений. Каждая моя статья навлекала на меня оскорбление в каждой стране. И здесь и там я наталкивался на одинаковое непонимание. Оскорбления меня не останавливают; но непонимание, в конце-концов, обезоруживает... Г-н Мессер почувствует удовлетворение. Он требует от меня для (мнимого!) прославления своего друга признания urbi et orbi, что этот друг одобрял действия своего правительства и защищал аргументами, хорошо оцененными Шпиттелером[1], нарушения бельгийского нейтралитета. Готов признаться в этом. В таком случае рухнет то уважение к памяти доктора Клейна, которое я ему завоевал у французских читателей. Г-н Мессер горько упрекает меня за то, что я отказываюсь признать немецкую лойяльность и об'являет меня участником продления войны!.. Той войны, которую я почти что один среди всех французских писателей старался сделать менее жестокой, более гуманной, хотя бы войну интеллигентов между собой!.. Довольно. Усталый ухожу я из слепой схватки, где каждый боец слушается только собственной страсти и повторяет, что есть силы, собственные доказательства, не заботясь о том, чтобы понемногу стали они доступными и для других. За них я старался это сделать, тщетная попытка! Я не раскаиваюсь, мой долг был — пытаться; но чувствую бесполезность дальнейшего упорства. Удаляюсь в искусство, остающееся неприкосновенным убежищем».

И все же, я сделал последнюю попытку. Кровавая година совершила полный оборот, наступала годовщина убийства Жореса. Я решил почтить память великой искупительной жертвы, тельца закланного на ступенях алтаря. Так получалось бы послесловие к циклу статей «Над схваткой». Но мои читатели, конечно, и представить себе не могут, какого труда стоило мне устроить эту поминальную статью в «Женевскую газету». Тогдашний редактор[1] отказался поместить ее в день годовщины (31 июля) и писал мне (21 июля):

«Публика не поймет, почему мы такое место уделяем этому событию, особенно наша французская публика, как бык от красной тряпки[2], приходит в ярость при имени великого социалиста, которого обвиняют (вероятно зря) в том, что он хотел разложить и ослабить обороноспособность нации».

Я с негодованием протестовал, и при посредстве моего друга Зейпеля, несколько смущенного поведением его любимой газеты,

---

[1] Знаменитая речь, которую он только что перед тем произнес в Цюрихе и которая подняла против него ярость немецких читателей. Он сразу потерял поклонников в Германии, подвергнувшей его бойкоту. В награду он завоевал себе горячее расположение Франции, которая не читала его прежде, не читала его в впоследствии.

[1] Не стану его здесь называть. То был человек предупредительный, добрый, терпимый, симпатичный, но поддавшийся посторонним влияниям, сильно германофобским, между прочим в газете преобладало влияние Альберта Боннара.

[2] В нынешнем 1931 г. издатель, отважившийся выпустить немецкое издание «Над схваткой» и «Предтечи» (ведь до сих пор все мои немецкие издатели от этого отказывались), на-днях просил, чтобы я снял посвящение «Предтечей» пяти убитым: Жоресу, Либкнехту, Розе Люксембург, Курту Эйснеру и Карлу Ландауэру, ссылаясь на то, что от этих имен немецкое общественное мнение «как бык от красного» приходит в ярость. Я отказался, сказав, что если там не выносят красного, пусть взглянут на собственные руки. Пощечина убийцам.

статью мою пустили, хочешь — не хочешь, в номер от 2 августа. Но из Женевы я уезжал раздраженный, расстроенный и измученный. Я возвращался к общению с землей. Сделал наброски «Лилюли» и «Клерамбо». Монату, который просил меня о продолжении кампании в печати, я ответил 10 августа:

«Тщетна попытка стать рычагом. Необходим камень, на который можно бы опереться. А его-то нигде и нет».

Нечего и думать, что мой уход ослабил ядовитость нападок. Они ожесточились вдвое. Особенно отличалась газета «Gaulois». Альберт Гинон, лапидарное изречение которого, подобно надписи на фронтоне, украшало памфлет Массиса, все остатки своего пыла израсходовал на меня (7 августа), престарелый Фредерик Массон принялся подло меня топтать в ряде статей (18, 24 августа). С великим шумом, трубя в рог, выступал на ристалище самый рослый из этих Георгиев-Победоносцев тыловой войны, намереваясь на двое рассечь дракона: Поль-Гиацинт Луазон. Начал он в августе 1915 г. Неизвестно, когда кончил бы, если бы, по прошествии нескольких лет, смерть не разделалась с ним. А ведь он рассчитывал разделаться со мной. Идея моего уничтожения неотступно преследовала его. Я ему ни разу не ответил. Это-то меньше всего он мне прощал. Но так много он мной занимался, столько на мой счет написал, что в результате и врагам моим надоело. Ненависть имеет все права, или забирает их себе — кроме одного: права надоедать. П. Г. Луазон обладал этим даром. Очень ему признателен.

Об этих злых выходках и горших еще, тех, что мучили Европу, я старался забыть в обществе Шпиттелера, к которому я ездил в Люцерн, Эйнштейна, который ко мне приехал в Вевей (16 сентября 1915 г.), Сенкевича, моего тогдашнего соседа, и Альфреда Фрида, лауреата Нобелевской премии мира, друга и душеприказчика баронессы Зутнер.

И из глубины Африки, из госпиталя в Ламборене (французская колония Габон), где с него глаз не спускали (о, ирония судьбы) негры французской службы, великий эльзасец Альберт Швейцер посылал мне братское рукопожатие[1]: «До безлюдных девственных лесов» донесся отзвук моих статей; «к тому немногому, что может утешить в эти печальные времена, — писал он мне, — принадлежат ваши мысли... Бейтесь же в поединке, где сердцем я с вами, неспособный только помочь вам, при теперешнем моем положении!»

Но лучшим моим товарищем в ту пору оказался для меня «Прометей» Шпиттелера. Источником, брызнувшим из скалы, был он для меня. Ничто так не могло утолить мою жизненную потребность в свободе, как эта душа Альпийского Титана.

Впрочем, отойдя на несколько месяцев и освежившись в великих братских потоках, я вернулся к бою. Но он вступил в новую фазу.

И речи больше не было о том, чтобы писать в «Женевской газете», заливавшейся лаем на замирение, на папу, на Голландию, на миссию Форда, на всех тех, что предлагал свое посредничество враждующим. Все швейцарские журналы были для меня закрыты, исключая маленького «Ежемесячного обозрения» (Revue Mensuelle), издававшегося Шарлем Бернаром в Женеве. Но ко мне явился французский союзник, молодой, кипучий, весь дышавший боем — олицетворенный бой — Анри Гильбо. Он приехал из Парижа в Женеву в начале июня 1915 г. и в январе 1916 г. основал здесь журнал «Завтра» (Demain). Я стал его крестным отцом и одним из главных палладинов. Не скажу, чтобы всегда я одобрял его дух; он был агрессивнее, чем мне хотелось бы, а через несколько месяцев Гильбо счастливо встретил в Женеве великих русских изгнанников — Ленина, Радека, Зиновьева и др., которые направили журнал по пути более революционному, чем мой тогдашний путь. К тому же, по природной своей горячности, он постоянно хватался за чрезмерно резкие слова или даже за безрассудные поступки, рискуя тяжко скомпрометировать дело, взятое нами под защиту. Во время войны мне приходилось обороняться против моих союзников гораздо больше, чем против врагов; обычная, думаю, история. Сколькими письмами пришлось мне обменяться с Гильбо, чтобы выправить линию! Но со всем тем, я вполне воздаю должное безусловной честности, стоическому и гордому бескорыстию, дерзкой доблести юного моего союзника — человека, гнусно оклеветанного националистской печатью, французской и швейцарской, и очень плохо, а может быть и предательски защищаемого швейцарскими и французскими социалистами (еще и сейчас они не прощают ему его несговорчивости, непримиримости); в результате,

[1] Письмо 25 августа 1915 г. Врач и музыкант, уехавший в Африку, посвятивший свою жизнь чернокожим.

Швейцария посадила его в тюрьму, затем изгнала; прокуроры Клемансо приговорили его к смерти, основываясь на не соответствующих действительности обвинениях (собираются, говорят, пересмотреть, наконец, его процесс... через тринадцать лет!..).

Помимо личного мужества, помимо неустрашимой мысли, он обладал организаторским талантом. Под его руководством журнал «Завтра» с первого же года поднялся на высокий уровень и в смысле обсуждения вопросов и в смысле осведомленности. Не знаю международного журнала, который во время войны мог бы с ним сравняться. Журнал сумел об'единить вокруг себя имена и статьи наиболее независимых европейских интеллигентов: Э. Д. Морель, Бертран Рёссель, Фредерик ван Эден, Генриетта Ролан-Гольст, А. Форель, Ляцко, Фриц Адлер и др. и целый отряд великих русских революционеров, эмигрантов. Я напечатал в нем «Вечной Антигоне» — «Женский голос среди схватки, — «Свобода», — опыт о Шекспире, — и в ноябре 1916 года, «Расстреливаемым народам», статью, открывавшую собой новый период в моих мыслях, направленных против войны. Эти страницы, мрачная осень года трагического размышления, когда вместе с Клерамбо я шел крестным его путем, я прочел сначала группе французских друзей, искавших убежища в Женеве, позже — в Сьерре, от прилива кровавого мрака, покрывавшего Францию и Европу: Ренэ Аркос, П. Ж. Жув и Андрэ Жув, Фернанд Депрэ, Гастон Тиссон, Франц Мазёрель, Клод Салив, m-elle Дюшен (теперь г-жа Рубакина) и моя мужественная сестра Маделэн. Подобная статья становилась тогда своего рода провозглашением полного разрыва не только с войной, но и с буржуазным строем, который является ее очагом. Я уже не стеснялся. Судил нации. Выдавал главного зачинщика — Капитал.

«... В том не имеющем имени вареве, каким является теперешняя европейская политика, основной кусок — Капитал. Кулак, который держит сковывающую социальное тело цепь— кулак Плутуса[1]. Плутус и его банда. Он — истинный владыка, истинный глава Государств. Он создает подозрительные торговые дома и подкупленные предприятия. Народы, приносящие себя в жертву, умирают ради идей. А кто приносит их в жертву, те живут ради процентов... Всякая затягивающаяся война все более определяется, как деляческая война, война ради Капитала...»

Что было верным тогда, в сто раз вернее сейчас. Капитал сейчас владычествует и господствует над мирными отношениями во всем свете, как он владычествовал и господствовал над войной. Он заведет еще войну, — одну, или, может быть, десять войн, завтра же, если ему будет угодно, но (добавим теперь вслух!) если это будет угодно Революции. Ведь теперь она уже недалеко, юная, мощная и вооруженная. Она бодрствует у врат.

В ноябре 1916 г. я видел ее появление и призывал ее. Но с болью предвидел также, какую огромную ненависть родит ее неизбежная вспышка, предвидел и роковое крушение Европы...

«Европа, прощай!.. Ты топчешься на кладбище. Там твое место. Пусть другие руководят миром!»

И поставил дату:

— «2 ноября. День мертвых 1916 г.»

В назначенную дату Революция не началась. Но по всей Европе она тлела под пеплом. Во Франции всколыхнулось рабочее меньшинство. Я получил коллективное письмо фракции Генеральной конфедерации труда, которое было мне доставлено Мерргеймом, ехавшим в Циммервальд (5-8 сент. 1915 г.). *Последовал* Кинталь (конец апреля 1916 г.), где Ленин властно призывал к борьбе классов и к пролетарской революции. Даже из французской армии доносились до меня грозные раскаты грома. Я был далек от того, чтобы к ним примкнуть. У этих первичных бунтов не имелось ни доктрины, ни организации, ни вождя для руководства, для построения в правильные ряды. На Западе ни к чему они не могли привести, кроме как к бесплодным разрушениям, да военным «пронунциаменто» вроде южно-американских. В письмах своих к Гильбо я их осуждал. Не думаю, чтобы и сам Ленин их поощрял: ведь самые смелые из вождей, готовые на самое решительное выступление, ненавидят выступление неорганизованное.

Но в марте 1917 г. прозвучало великое известие. Чреватый надеждами ветер с Севера донес его до женевских улиц. Холодный северный ветер, дующий в городе Кальвина, сам того не желая, донес дыхание красной весны... Россия разломала оковы[1]. И письмо, присланное мне Горьким, прерывалось пасхальным

[1] Римский бог богатства. Прим. пер.

[1] 25—27 февраля 1917 г. в Петрограде.

восклицанием: «Воскресе!» Над воинствующей Европой он протягивал мне об'ятия. И весь наш отряд независимых французов поднялся в Женеве ответить, как на русский пасхальный поцелуй — «Воистину воскрес!»... Для брошюры, которую мы издали все вместе [1], я написал призыв: «России свободной и освобождающей» (1 мая 1917 г.).

В самом очаге империалистического капитализма, питавшего войну и в награду подавившегося ею, в Соединенных Штатах Америки, другие свободные умы, вроде нас, как магнитом влеклись к Западу, к русской Революции: Макс Истмен и его журнал «Массы» (The Masses), редактируемый вместе с ним Джоном Ридом, которому предстояло через несколько месяцев стать бессмертным летописцем Октябрьской Революции [2], прах которого лежит теперь у подножия Кремлевской стены возле Ленина. Я им протянул руки [3]. Впервые я призывал в этой статье к ответу швейцарскую печать, которая преступным отсутствием беспристрастья душила или уничтожала все отчаянные попытки мира положить конец национальной бойне (английская оппозиция, французское социалистическое и синдикалистское меньшинство), независимая печать Соединенных Штатов, русская Революция). В этих страницах трепещет бунт «людей, попрежнему свободных, которые из европейской тюрьмы протягивают руку в американскую тюрьму над Океаном и безумием человеческим, более беспредельным, чем Океан».

Немного спустя я принялся защищать героического Э. Д. Мореля, которого в отвратительных условиях [4] держали в английской тюрьме по смехотворному (да еще и выдуманному) обвинению в том, что он будто бы послал мне в Швейцарию одну из своих политических брошюр. Потом я откликнулся не только на «В огне» Барбюсса, на этот блестящий обвинительный акт, пред'явленный ветхому миру убийц «пролетарскими солдатами» [5], но также и на скорбные и гневные призывы молодой французской интеллигенции к армии [1].

В то же время я вскрыл, какие страдания, какой бунт слышатся из вражеской границы, в исступленности Ляцко [2], в библейской тоске Стефана Цвейга [3], в беспощадном научном анализе войны, произведенном профессором Николаи [4]. Титулом «великого европейца» почтил я смелого немецкого ученого, испытавшего и преследования, и тюремное заключение, вместе с тем подчеркивая, что я со своей стороны теперь уже не ограничивался общеевропейским об'единением, но намеревался включить в мою «всемирную родину» — Азию и Америку, все человечество.

Этот же тезис «За пределы Европы», «Пангуманизм» я развил в статье от 15 марта 1918 г. «За Интернационал духа». Я постарался в точности определить, что таким образом я защищал не дело избранной части передовой интеллигенции, а дело народов, «интернационал культуры, но вовсе не для одних только привилегированных» [5].

С октября 1917 г. журнал «Завтра» заострил свою социальную ориентацию. Гильбо, готовый сопровождать своих женевских друзей, вождей большевиков, в их «исходе» сквозь об'ятую войной Европу, чтобы нести в Петроград пламя Революции, сделал свой журнал большевистской трибуной во французской Швейцарии [6] Отмечаю постоянно повторяющиеся в журнале имена Ленина, Троцкого, Каменева, Раковского, Радека, Калинина, Зиновьева, Луначарского, весь штаб, уже готовящийся ниспровергнуть старый мир. Он смело оказывал им помощь, и его «Завтра» представляет собой единственное, на французском языке, собрание документов о революционных событиях [7].

---

[1] «Привет русской Революции». Сотрудничали в ней: Жув, Мартинэ, Мазёрель и Гильбо.

[2] «Десять дней, которые потрясли мир».

[3] «Вольные голоса Америки» (сентябрь 1917 г.).

[4] Шесть месяцев суровейшего режима уголовных. Они были причиной его преждевременной смерти.

[5] Март 1917 г.

---

[1] «Да здравствует Цезарь, жаждущие жизни тебя приветствуют!» Ave Caesar, morituri te salutant (май и октябрь 1917 г.).

[2] «Страдалец» (ноябрь 1917 г.).

[3] «Иеремия» (декабрь 1917 г.).

[4] «Великий европеец» (1 и 15 октября 1917 г.).

[5] Я требовал здесь «уже в начальной школе, универсальной культуры и обязательного международного языка».

[6] Они назначили его французским корреспондентом «Правды».

[7] 11 июля 1918 г. Гильбо арестовали и посадили в Женевскую тюрьму Сент-Антуан, об-

На этом пути я сопровождал его только в качестве беспристрастного наблюдателя, проникнутого симпатией к величию героев и высоким целям, поставленным ими перед собой, но отвергающего насильственный и кровавый характер их средств. Я совсем не был человеком действия, я был человеком мысли и полагал, что мой собственный долг состоял в том, чтобы всеми силами сохранять европейскую мысль в чистоте и ясности, справедливости, свободе, в ее беспартийной независимости. Ленин пожелал увести меня с собой в Россию в марте 1917 г., Гильбо принес мне его пожелание; я отказался. В тот момент моей духовной эволюции, я не хотел компрометировать свою роль бдительного интеллигента, стоящего «над всеми схватками», вмешательством в то дело, которое я тогда ошибочно считал схваткой политических партий[1]. Теперь я судил бы иначе. Я еще не видал самого существа, — которое вижу теперь, — буржуазной идеологии, хотя бы и благороднейшей, или вернее (ибо каковы идеи, таковы и люди), еще не прощупал крестец — что мне удалось сделать впоследствии — у плачевной разновидности, именующей себя «верхушкой интеллигенции», плачевной даже тогда, когда она нацепляет на себя этикетку «интернациональная»... Я приписывал ей душевную силу, гражданское мужество, неустрашимость в поисках и защите правды — качества, отсутствующие у нее, за редчайшими исключениями. Много говорит она о правде, но действенная правда совершенно чужда ее темпераменту; правду она подчиняет своим потребностям; она дошла даже до удивительного литературного грима и своему искусству подкрашивает губки. Таким способом ей удается подделываться. Наиболее эстетствующие писатели подсылают правду, как девку, чтобы поймать публику на тротуаре. Хотя при помощи Жан-Кристофа я спустил в канализационную трубу всех сводней в мужском платье и сутенеров «Ярмарки на Площади», я еще не знал и не хотел знать многого из того, с чем пришлось мне познакомиться впоследствии. Я упрямо верил в «духовных вождей» европейских, в смелое меньшинство интеллигенции, способное стать решительными и непримиримыми апостолами «Независимого духа»; к ним-то и обращаются последние статьи «Предтечей»; их сгруппировать старается замыкающая книгу, относящаяся к весне 1919 г., «Декларация», которую подписали многочисленные представители интеллигенции всего мира.

Но нетрудно будет заметить, что даже в том, как средактирован этот Призыв, мысль моя минует избранников или намеревается подчинить их «Народу вселенной, страждущему, борющемуся, падающему и вновь подымающемуся, всегда идущему вперед по трудному пути, залитому его кровью». И в относящейся к июню 1919 г. заметке, комментирующей мое «Письмо президенту Вильсону» — в нем я просил Вильсона взять в свои руки «дело не одной партии, а всех народов», — я предсказывал вместе с провалом Вильсона «крушение великого буржуазного идеализма»[1].

Мои взгляды обращались к Геркулесовым подвигам юной советской России, которая старалась разорвать смертельные путы душившей ее гидры. Я послал в газету «Попюлэр» письмо, где бичевал военное вмешательство Антанты в дела СССР и подтверждал свои «чувства солидарности с русским большевизмом»[2]. И последняя строка «Предтечей» (август 1919 г. в приложении к «Декларации независимого духа») вместе с сожалением о том, что отсут-

---

виняя его в покушении на швейцарский нейтралитет, на самом же деле под давлением французского правительства. В сентябре выпущенный на свободу, он вернулся к руководству журналом, но месяц спустя его снова арестовали и заперли в казематы Саватанской крепости, которая находится в кантоне Валэ над Сан-Морицем, отсюда он вышел только для того, чтобы быть изгнанным из Швейцарии и бежал в СССР к друзьям своим, большевикам, 30-й и последний номер журнала «Завтра» датирован октябрем 1918 г.

[1] Несмотря на то, нападки нисколько не ослабели. Меня буквально пожирали бешеные пасквили французских или швейцарских газетных писак, состоявших на содержании у пропаганды «войны до победного конца», старавшихся окомпрометировать меня вместе с Гильбо процессом о государственной измене. Немало ловушек мне ставили. Отвечали мои друзья Шарль Бодуэн, Жув, Дебри.

[1] В 1918 г. я написал «Эмпедокл Агригентский» (апрель), «Пьер и Люс» (август). «Лилюли» (ноябрь). Если две первые работы ищут прибежища, одна в любви, другая в абстрактном мышлении, вознесшемся над вечным приливом изменчивых дней, то «Лилюли» с корнями вырывает иллюзии демократической идеологии.

[2] Сравн. «Завтра» август-сентябрь 1918 г., статья Гильбо «Новый век и интеллигенция».

ствуют подписи «наших русских друзей», отрезанных правительственною блокадою», без обиняков об'являет «русскую мысль авангардом мысли мировой».

Таким образом, трагический опыт пяти годов 1914—1919 в том виде, как он запечатлелся тогда внутри меня и как его отражает зеркало обеих моих книг («Над схваткой» и «Предтечи»), заканчивается в середине 1919 г. нерешительностью. С одной стороны — надежда воздвигнуть «крепость» международного духа, не знающего границ, на основах светлого, свободного и бесстрашного индивидуализма. С другой — стрелка компаса показывает на Север, на цель, к которой идут авангарды Европы, героические революционеры СССР — общественная и нравственная перестройка Человечества.

Опыт не кончен. В другой раз я расскажу об его продолжении. Расскажу, как у меня оказался недостаток в основах «крепости» свободного духа — в свободных людях. Скажу о том, как они (исключая горсточки, даже меньше того — щепотки подлинно независимых), почти все отреклись. Расскажу, как, не найдя в Европе, я искал и сначала обрел в Магатме из Индии могучий источник свободного духа и новые формы деятельности. Наконец, как самый ход событий, та Ананке[1], которую Маркс сводит к железному закону экономического материализма, — раскалывая мир на два лагеря и с каждым днем углубляя пропасть между Интернациональным капитализмом и другим великаном — Союзом рабочих пролетариев, неизбежно заставил меня перешагнуть эту пропасть и стать в ряды СССР. Нелегкий поход! И конца пути я еще не достиг. Но он может посоперничать с путешествиями Синдбада Морехода! А достигнув цели, я скажу:

— «Слава тебе, отдых! Усни, голова, усните, ноги! Вы порядком поработали. Дорога была крутая и неровная. Но несмотря ни на что — прекрасная. Было из-за чего окровавиться».

6 апреля 1931 г.

[1] «Судьба» по-гречески. Прим. пер.

Перевод **Б. А. Грифцова.**

—

О языке „Жизнь Клима Самгина“ М. Горького

Л. Тимофеев

I

Изучение языка писателя находится у нас до сих пор в младенческом состоянии. Нельзя в сущности назвать ни одной марксистской работы, которая ставила бы эту проблему; приходится поэтому начинать с самого беглого и несовершенного поневоле методологического вступления. Между тем — тот простой факт, что литература есть образное мышление, выраженное в слове, в достаточной степени говорит о том значении, которое в литературоведческом анализе должно придаваться изучению языка писателя и социологическому его осмыслению и оценке. Понятно, конечно, что при такой постановке вопроса естественно исключается «описательское» изучение поэтического языка, отвлеченная классификация тех или иных словесных особенностей, наблюдаемых у данного писателя, формалистическое изучение языка, превращающее поэтический язык в самодовлеющую литературную категорию. Очевидно, что анализ языка писателя в социологическом плане необходимо должен иметь познавательное значение, должен ставиться в плане литературной практики пролетариата, и только в этом случае имеет он право на литературоведческое существование. Говоря о литературе, как о специфическом виде искусства, характеризующемся тем, что в нем образное мышление класса выражается, об'ективируется в слове, мы, прежде всего, констатируем, что слово есть, так сказать, способ, средство материализации образа. В литературе нет образа вне слова и в то же время нет слова вне образа, т. е. вне данной образно-идейной системы, какой является всякое литературное произведение. Мы не можем мыслить, а тем самым, и изучать, словесную систему произведения вне его образно-идейной системы, первая существует, математически выражаясь, как функция, как неизбежное следствие, как момент об'ективизации последней. Отсюда — необходимость изучать словесную систему не изолированно, а в единстве, в целостной художественной системе, вне которой нет самой системы, и которой — в свою очередь — нет вне этой словесной системы. Показав это единство слова и образа у данного художника, мы, тем самым, дали и социологию этого слова, поскольку, понятно, что мы не можем раскрыть смысл данной образно-идейной системы, какой является литературное произведение без того, чтобы не дать ее социологию, т. е. не определив той классовой идеологии, которая выражена в этом произведении, и того этапа классовой борьбы, в которое оно включено. Это раскрытие немыслимо для литературоведа марксиста-ленинца, без оценки, без партийного подхода к изучаемому произведению. Тем самым, и система поэтического языка писателя должна изучаться в этом же оценочном плане — с точки зрения того, что может взять пролетарская литература в этой системе, в плане ленинской постановки вопросов культурной революции, в плане нашей литературной практики. Нужно помнить, что по отношению к слову проблема культурного наследства стоит в литературе особенно остро. Литературный стиль класса не создает «заново» особого своего языка: в языке данной национальности — каждая социальная группа обладает своим социальным «диалектом», своей особой языковой системой, отличной от языковых систем других групп; вступая с ним в противоречие, как система, она включена в то же время в общее языковое единство — однородным языком пользуются разные классы, но пользуются в том же плане классовой борьбы,

и в частности классовой борьбы в области языка.

Отсюда всякий литературный стиль, с одной стороны, всегда своеобразен по своему поэтическому языку, с другой стороны, он переплетен, в особенности в языковом отношении, с другими стилями, легко может усваивать из них те или иные моменты, включая их в свою систему и, тем самым, перерабатывая их в своих уже классовых целях. Здесь нужно помнить, что изучение языка чуждых нам литературных стилей мы, конечно, должны мыслить в двух планах: с одной стороны — мы устанавливаем то, как писатель идеолог — своего класса — осуществлял вообще свои задачи в этом отношении, с целью учета его метода, а с другой, — практически используя те или иные моменты в его работе.

Если, таким образом, мы именно через образно-идейное мышление художника, как классового идеолога, приходим и к пониманию его словесной системы, к социологическому ее раскрытию, то и наоборот — сама словесная система может в свою очередь помочь нам полнее понять и то образно-идейное мышление, которое в ней закреплено. Мы остановимся на этом несколько позднее, но и само по себе утверждение это достаточно очевидно. Возьмем в качестве примера «заумь», кубо-футуристов— Крученых и др. — вся опустошенность глубоко-упадочной и индивидуалистической психики этой социальной группы (дореволюционной, богемной интеллигенции — типичного продукта разложения буржуазного общества), чрезвычайно четко выступает в заумном их языке, языке «индивидуальном», создаваемым каждым «для себя», лишенным своей социальной значимости, в особенности подчеркивающим специфику этого упадочного и индивидуалистического мышления. Аналогичным образом поэтический язык у символистов или, например, у акмеистов позволяет опять-таки полнее понять идеологическую специфику их образного мышления. Язык символистов, максимально оторванный от разговорного языка, почти лишенный слов, имеющих конкретное, реальное, жизненное содержание, насыщенный отвлеченными, абстрактными, бесплотными понятиями — опять-таки позволяет четче разобраться в образном мышлении этих писателей, характеризующемся именно глубокой социальной неудовлетворенностью, резким отрывом от социальной действительности, устремлением в «иные миры» и т. д. Наоборот, в акмеизме поэтический язык, насыщенный конкретностью, вещностью и т. д., опять-таки помогает в понимании образно-идейной системы этой школы, выражавшей устремления русской буржуазии в ее империалистической стадии, довольство ее жизнью и т. д.

Таким образом, через образное мышление мы понимаем образный язык, через поэтический язык — образное мышление. В этом — познавательное значение анализа поэтического языка, которое должны мы использовать в плане нашей литературной практики.

Если нам ясны теперь задачи изучения поэтического языка, то естественно встает вопрос о путях осуществления ее, о методах изучения его. Вот тут-то мы и сталкиваемся с отсутствием марксистских работ на эту тему.

Враждебные марксизму теории ставили и по своему разрешали эту проблему, но неприемлемость их установок очевидна. В первую очередь необходимо упомянуть о формализме, задачи которого, в отношении к поэтическому языку, сводились как раз к установлению самостоятельного развития его по якобы присущим ему законам, причем язык этот был для формалистов принципиально отличен от обычного «прагматического» языка, поскольку тот являлся лишь «материалом» для создания поэтической языковой формы. Этот естественный для идеалистической науки разрыв между «душой» и «материей», «поэзией» и «прозой», языком «простым» и языком «поэтическим»—заменяется в механической концепции В. Ф. Переверзева тождеством этих моментов; поскольку для Переверзева литературное произведение воспроизводит бытие класса, его «социальный характер», постольку и поэтический язык является воспроизведением того же социального характера (язык Гоголя, Достоевского — в анализе Переверзева, язык Горького — в анализе Беспалова). Перед нами сходящиеся крайности —в одинаковой степени антидиалектический подход к языку как со стороны идеалистического формализма, так и со стороны механического «сверхматериализма» Переверзева.

Совершенно очевидно, однако, что правильно поставить вопрос об изучении языка можно только в том случае, если мы включим его в общую систему марксистской науки о литературе. Для марксистского литературоведения спецификумом литературы, как и вообще искусства, является образ, т. е. особая форма выражения классового отношения к действительности, классовой идеи. Тем самым, все проблемы литературоведческого анализа мы можем правильно поставить, именно исходя из понятия

образа. Сам по себе образ, прежде всего, является актом человеческого сознания, то есть представляет собой отношение человека в действительности, данное в форме отражения этой действительности. Специфическим для образного мышления является то, что оно эту действительность отражает в ее конкретности, в ее единичности, в ее жизненной полноте. Слово, поэтический язык и является для образного мышления тем средством, при помощи которого оно познает и закрепляет отраженную действительность в ее конкретности.

Всякий образ представляет собой определенный комплекс словесных единиц, которые, с одной стороны, должны закрепить ту или иную сторону действительности, в данном случае познаваемую художником, а с другой стороны, и определенным образом отнестись к ней, оценить ее.

Понятно, что отражение этой действительности может иметь самые различные проявления (фантастика, юмор и т. п.), но указанные два момента здесь всегда налицо. Художник отражает действительность при помощи той языковой системы, которую дает ему его социальная группа (понятно — в процессе классовой борьбы взаимодействуя с языковыми системами других групп). Но он выделяет в этом «запасе» то, что нужно ему для закрепления именно данного образа, данной образно-идейной системы, т. е. отношения к данной стороне действительности. Таким образом, с одной стороны, поэтический язык является тем же языком, которым оперирует данная социальная группа в своей обычной действительности, с другой стороны, это уже не тот же язык, поскольку он определен в своем строении уже данной образной системой. Язык поэтического произведения это прагматический язык в его особой функции — в функции словесного закрепления образного мышления. Вся трудность проблемы в том и заключена, что, с одной стороны, язык есть классовая своеобразная идеология и литература — также своеобразная классовая идеология, а, с другой стороны, поэтический язык есть своеобразное «перекрещивание» этих идеологий, особое их единство...

В самом языке мы при анализе его можем различать две стороны, конечно, не разрывая их единства — значимую сторону слов, т. е. те значения, которым он располагает для обозначения тех или иных явлений действительности, и затем — способы сочетания слов между собой (ритм, звучание и т. д.). Первую сторону обозначаем, как изобразительную, вторую, как выразительную; последняя имеет особое значение при анализе стихотворной поэтической речи. Говоря об изобразительной стороне поэтической речи, т. е. о всей той системе значений, которую писатель вводит в дело для закрепления своих образов, мы опять-таки можем в этой системе заметить две линии — значения прямые и значения метафорические — переносные[1]. Пушкин писал своему брату: «Пришли мне, выражаясь языком Делиля, витую сталь, пронзающую засмоленную главу бутылки, сиречь штопор». Перед нами, в одном случае, прямое обозначение предмета, в другом случае переносное, переносящее на предмет признаки других явлений и при их помощи его обозначающее. Эта система метафорических (употребляя этот термин в самом широком значении) обозначений в особенности распространена в поэтическом языке, так как, понятно, расширяет возможности писателя в смысле более полного отражения действительности. Очевидно, конечно, что в силу того, что поэтический язык одного стиля будет опираться на «социальный диалект» одной группы и преломляться через ее отношение к действительности, а язык другого стиля будет тем самым иметь уже другие «резервуары», различное социальное насыщение — мы даже при изображении одних и тех же явлений действительности будем иметь при внешнем совпадении тех или иных словесных форм и значений уже совсем иные системы поэтического языка, поскольку перед нами будут уже иные образы, т. е. иные классовые отношения к действительности. Возьмем простейший пример: образ белой ночи у Пушкина и Блока (в данном случае нам неважны строго исторические сопоставления):

1. И, не пуская тьму ночную
   На золотые небеса,
   Одна заря сменить другую
   Спешит, дав ночи полчаса (Пушкин).
2. А там закат из неба сотворил
   Глубокий многоцветный кубок, руки
   Одна заря закинула к другой
   И сестры двух небес прядут один
   То розовый, то голубой туман,
   И в море утопающая туча
   В предсмертном гневе мечет из очей
   То красные, то синие огни (Блок).

---

[1] В этом смысле в дальнейшем под метафоричностью имеется ввиду не только наличие метафор в точном смысле слова, но и всех других переносных значений — метонимий, сравнений и т. д.

Различие поэтического языка этих авторов, как представителей различных стилей, в достаточной мере очевидно и, исходя из вышесказанного, понятно...

Таковы те общие предпосылки, в свете которых можем мы подходить к изучению поэтического языка интересующего нас писателя (понятно, что здесь только подход к постановке вопроса, но никоим образом не его разрешение). Разобраться в системе прямых и переносных значений данного произведения (творчества, жанра, стиля), понять его как языковую систему определенной социальной группы, как определенную систему отношений к действительности, выраженную в слове и данную в образном ее преломлении, понять при помощи этого поэтического языка образно-идейную систему произведения и при помощи образно-идейной системы — поэтический язык, раскрыть классовый смысл этого единства и оценить в плане литературной практики пролетариата для критической переработки и усвоения его — таковы задачи марксистской поэтики, как учения о средствах словесной материализации образного мышления. Понятно, что и трудность задачи, самой по себе, и ответственность изучаемого материала — творчество М. Горького — определяет характер настоящей статьи, как самого предварительного очерка, как беглых «заметок по поводу». Осуществление этой задачи — дело большого времени, большого труда и большого научного коллектива.

II

Задача писателя состоит не только в том, чтобы написать свое произведение, он должен заставить читателя прочитать его, должен приковать его внимание к тексту, предупредить убийственное для литературного произведения «перелистывание». В этой своеобразной «борьбе» с читателем, именно работа над поэтическим языком имеет для писателя большое значение. Крупный писатель всегда заставляет читать себя целиком, каждое свое слово вводит в сознание читателя. Каждый по-своему борется за это внимание читателя. Возьмем для примера А. Белого — нет спора: его приходится читать чрезвычайно внимательно. Мастерство А. Белого, как художника слова, состоит в исключительном усложнении поэтического языка, к превращению его в своеобразную колючую изгородь, через которую должен пробираться читатель, а к колючей изгороди поневоле приходится быть внимательным: ...«будто чьи-то холодные пальцы погладили сердце; рука ледяная манила; позади него — в неизвестности убегали века; впереди — ледяная рука открывала: неизмеримости; неизмеримости полетели навстречу. Рука ледяная! И — вот: она таяла»... (Петербург). В этой сложности, однако, не так уж трудно нам разобраться — мы легко различаем те принципы, которые организуют словесную ткань произведений А. Белого. Непрерывные инверсии, резкие интонационные сдвиги, ритмизация речи, неожиданные словообразования и т. д. Мы легко можем вскрыть здесь определенную систему, вытекающую из всей классовой специфики образного мышления А. Белого.

Словесное мастерство М. Горького основано на совершенно противоположных принципах, оно отрицает мастерство А. Белого, подобно тому, как Горький противоположен Белому и отрицает его идеологически [1]. Поэтический язык, созданный М. Горьким в результате всей его творческой работы, — это язык предельной простоты, ясности, естественности. Мастерство Горького в отношении его поэтического языка читателю незаметно — и в этом его мастерство. Именно эти моменты выделяет Горький в своих советах начинающим писателям (журнал «Литературная учеба»). «Писать следует точно», «там где отсутствует точность описаний отсутствует правда», «каждая фраза, каждое слово должно иметь точный и ясный читателю смысл», «от рассказа требуется четкость изображения места действия, живость действующих лиц, точность и красочность языка», «точность и простота языка», «простота и ясность языка» — вот чего требует Горький от писателя и поясняет: «Вы не думаете о читателе, о том, чтобы ему было легко понять вашу речь», «вы пишете для людей огромной, разнообразной страны и вы должны твердо усвоить простую истину: нет книги, которая не учила бы людей чему-нибудь» («Л. У.», №№ 1 и 2). Эта забота о читателе, понимание того, что только через слово доходит к нему произве-

---

[1] Сопоставим с отрывком из «Петербурга» отрывок из «Жизни Клима Самгина»: «Профессоров Самгин слушал, как учеников в гимназии. Дома, в одной из чистеньких и удобно обставленных меблированных комнат Фелицаты Паульсен, пышной дамы — лет сорока, Самгин записывал свои мысли и впечатления мелким, но четким почерком на листы синеватой почтовой бумаги и складывал их в портфель — подарок Нехаевой».

дение, стремление сделать это слово максимально емким и простым читаемым словом — непрерывно выступает в советах М. Горького, захватывая не только смысловую, но и звуковую и композиционную сторону произведения: «Рабочий прорабатывает — это слишком рычит», — замечает М. Горький, он отмечает неблагозвучность шипящих причастных и деепричастных окончаний («щий», «вши») и борется с ними, опять-таки устраняя из языка небрежность, неясность, неточность — все это мешает языку в его общественном действии — в его воздействии на читателя. Равным образом и в композиционном отношении М. Горький критерием для художника выставляет опять-таки доступность произведения читателю — «начинать рассказ «диалогом» разговором — прием старинный... Для писателя он невыгоден, потому что, почти всегда, не действует на воображение читателя. К чему сводится работа литератора? Он воображает, укладывает, замыкает в образы, в картины, характеры — свои наблюдения, впечатления, мысли — свой житейский опыт. Произведение литератора лишь тогда более или менее воздействует на читателя, когда читатель видит все, все то, что показывает ему литератор, когда литератор дает возможность тоже «вообразить», дополнить, добавить... всегда лучше начать картиной, описанием места, времени, фигур, сразу ввести читателя в определенную обстановку»... Никогда не начинайте рассказ «диалогом», разговором... Нужно, чтобы читатель сначала видел, где говорят и кто говорит, т. е. беседе, голосам нужно предпослать маленькое описание обстановки, а также дать очерки лиц, фигур, беседующих людей. Когда вы ему дадите фигуры и обстановку дальше, он сам своим воображением дополнит картину. Этим вы как бы заставите читателя быть одним из действующих лиц в вашем рассказе «участником событий» (там же). Горький допускает диалог, как композиционно приемлемое начало рассказа только в том опять-таки случае, если он задержит внимание читателя. «Начинать рассказ разговорной фразой можно только тогда, когда у литератора есть фраза, способная своей оригинальностью, необычностью тотчас же приковать внимание читателя к рассказу... начинать рассказы речью такого оригинального смысла и можно и следует» (там же).

Это овладение читательским интересом, «приковывание» его к тексту — является одним из основных условий в работе писателя над словом; мы видели с достаточной ясностью в какой мере четко это осознано М. Горьким, как эту задачу ставит он перед начинающим писателем на основе своего художественного опыта. Силой своего мастерства М. Горький вовлекает читателя в свое творчество, «заставляет его быть одним из действующих лиц в рассказе»; исключительная незаметность его словесного мастерства, та простота и ясность языка, которые он так настойчиво требует и так упрямо проводит в своем творчестве — овладевают вниманием читателя и обусловливают максимальное воздействие его текста.

Но именно эта простота обусловливает трудность анализа поэтического языка М. Горького, именно потому, что мастерство его достигло такой степени, когда уже не чувствуется напряжение его работы над словом. На А. Белого читатель смотрит со стороны, поражаясь, но не заражаясь его словесной эквилибристикой, на М. Горького — он не смотрит, он творчески действует вместе с ним, не замечая уже его, как «постороннего».

Отсюда — трудность анализа поэтического языка М. Горького, в особенности такого капитального произведения, как «Жизнь Клима Самгина», которое стоит в конце известного нам творческого пути М. Горького, подводя итоги всему его художественному развитию. Нужно ведь помнить, что за плечами у Горького огромный творческий путь, что вряд ли можно назвать художника, который бы находился в таком непрерывном процессе развития, движения вперед. Тем самым и поэтический язык М. Горького нужно рассматривать в процессе, нужно помнить о той дистанции, которая разделяет «Рассказы старухи Изергиль» и «Жизнь Клима Самгина».

«Я смотрел во тьму степи, и в воздухе перед моими глазами плавала царственно красивая и гордая фигура Радды. Она прижала руку с прядью черных волос к ране на груди, и сквозь ее смуглые, тонкие пальцы сочилась капля по капле кровь, падая на землю огненнокрасными звездочками. А за нею по пятам плыл удалой молодец Лойко Зобар, его лицо завесили пряди густых черных кудрей, и из-под них капали частые, холодные и крупные слезы... Усиливался дождь, и море распевало мрачный и торжественный гимн гордой паре красавцев-цыган»... Вся словесная структура этого отрывка резко отлична во всех своих оттенках от той системы поэтического языка, которую мы находим в «Жизни Клима Самгина», как резко своеобразны и те идеологические стадии в его

развитии, которые даны в «Рассказах старухи Изергиль» и в «Жизни Клима Самгина»... «Жена, клюнув его горячим носом в щеку, осыпала дождем обиженных слов, от ее невыносимо-пестрого халата, от распущенных по спине волос исходил запах каких-то новых, очень крепких духов. — Стареет и уже не надеется на себя, — подумал Самгин».

Огромный творческий путь, проделанный М. Горьким на пути к овладению диалектическим творческим методом, сказался с той же закономерностью и на его поэтическом языке.

Конкретный анализ творчества М. Горького в плане его поэтического языка на том его этапе, который характеризуется «Жизнью Клима Самгина», — и составляет теперь нашу задачу; как уже указывалось — этот анализ не претендует на какую-либо полноту, это лишь первоначальные наметки — в плане постановки вопроса о том, как подойти к языку Горького в целях учебы у него.

III

В своих «Заметках» о «Жизни Клима Самгина» Л. Авербах, совершенно справедливо указывая на то исключительное, по своему значению место, которое занимает в нашей послеоктябрьской литературе «Жизнь Клима Самгина», пишет: «Можно подойти к нему (к этому произведению) для характеристики познавательного значения литературы, рассматривая «Жизнь Клима Самгина», как документ огромного социального значения, как широкую картину общественного движения целой эпохи». («Правда», 8 мая 1931 г.). Как дальше мы постараемся показать, эта познавательная установка М. Горького, в том ее качестве, которое характерно для пролетарской литературы, диалектически знающей мир для его изменения, и определила в основном ту систему языка, которую мы находим в «Жизни Клима Самгина».

По существу говоря «Жизнь Клима Самгина» построена, так сказать, двупланно: на первом плане идет вся та полоса жизни буржуазной интеллигенции, которая как в фокусе собрана в Климе Самгине; как будто его глазами смотрит Горький на действительность, как будто его языком о ней говорит (обстоятельство, сбившее многих критиков, позволявших себе пред'являть Горькому обвинения в «идейной и художественной расхлябанности, бесхребетности, авторской пассивности, нежелании сверху взглянуть на своих оригинальничающих — но даже не забавных героев-обывателей»). И в то же время Горький все время дает чувствовать, почти не говоря о них, те подлинные силы, которые организуют в это время исторический процесс, на поверхности которого колеблются социальные марионетки типа Клима Самгина. Наряду с подлинным об'ективным показом тогдашней действительности, в частности психологии Самгина, Горький и подлинно классово-суб'ективен, раскрывая действительность, оценивая ее с точки зрения ведущего исторического класса. Тем-то и специфична пролетарская литература, овладевающая диалектико-материалистическим творческим методом, что она может, оставаясь классово суб'ективной, давать в то же время об'ективное изображение действительности.

Отсюда другой определяющий момент в поэтическом языке «Жизни Клима Самгина», две струи, в нем идущие. С одной стороны, перед нами изображение действительности, как будто глазами Клима Самгина, его мыслями, чувствами, словами, с другой, перед нами все время и сам автор, разоблачающий своего героя, говорящий своим языком. И в то же время — чрезвычайная широта языкового охвата: вообще в «Жизни Клима Самгина» — исключительное знание Горьким языковых особенностей различных социальных групп, вводимых им в роман. Отсюда — чрезвычайная сложная языковая «амальгама», организованная с высоким мастерством в единое словесное целое. Анализируя язык Максима Горького, никаким образом нельзя забывать этой, прежде всего, познавательной его установки, которую сам Максим Горький чрезвычайно четко выделяет («Литературная учеба», № 2, «Письма из редакции»): «...Вы пишете... Сноха спрашивает свекра: «Самовар поспел — чего заваривать». Обычно заваривают чай. Но, если у Мирона Удалого пили буквицу, зверобой, какао, кофе, сушеную малину, сбитень, так вы обязаны были сказать это читателям» (стр. 26). Это замечание чрезвычайно характерно для Горького. Перед нами глубокое знание и изучение языка самых различных социальных слоев, в плане их познания, выработки отношения к ним, в частности и в области языка.

Выше уже говорилось о классовой борьбе в области языка. Основным положением марксистского языковедения является именно то, что язык является своеобразной идеологией, вся действительность преломляется в языке, и это преломление определяется классовой борьбой. Овладеть языковой стихией, подчинив ее себе в интересах класса,— задача каждого ху-

дожника. На примере начинающих писателей, на примере представителей только что создающегося литературного стиля — мы всегда можем наблюдать давление языковой системы господствующего класса, обесценивающей и затрудняющей выражение его собственных идеологических установок. Вспомним, например, такого художника, как Бессалько, у которого элементы пролетарского мировоззрения (несмотря на ряд идеологических вывихов) пробиваются сквозь толщу «поэтического языка» буржуазных бульварных романов. Именно то, что в одном и том же языке перекрещиваются идеологии различных классов, обязывает художника знать языковые особенности окружающих его социальных групп, но уметь критически к ним относиться, преодолевать их, давать в системе своих отношений к действительности, именно это мы и встречаем у Горького, с одной стороны,— прекрасное знание языка познаваемых им социальных групп, а с другой, — скрепляющей всю эту сложную языковую структуру язык самого автора, проступающий сквозь всю эту сложность, иногда резко и отчетливо, иногда скрыто и почти незаметно. Не приходится, конечно, особенно доказывать это положение о той широте языковой, так сказать, амплитуды, которая так характерно выступает в его «неопубликованном письме» (помещенном в «Лит. газете», № 26/125): он говорит об эпитете «пустая» (к слову икона) и сейчас же добавляет: «Разве это можно отнести за счет современного обогащения речи. Иконокласты были у нас среди сектантства и до революции... и тогда икона была для них «пустой», смотрите у Бондарева в письме к Толстому у «малеванцев», «духоборов», «бегунов». И дальше о возражении «медовый смех». «Медовый смех» не новость. Вы его, наверное, найдете у Андрея Печерского «В лесах» и найдете в старинных песнях:

«Ты мне девка сердце сомутила

Злой твоей усмешкою медовой» — сказано в русском переводе песен Вука Караджича и дальше: словечко «милозвучно» вы напрасно считаете новым, оно есть, кажется, у Карамзина или у Аблесимова. Кроме того, вы его наверное встретите в «кантатах», которые распевались крепостными хорами. В «кантатах» этих встречаются «лилейнолицые девицы», «зефирно-нежный голосок». В 1903 году мужики под Пензой пели: «Зефир тихий по долине веет с милой стороны, со родной Костромы». И дальше: «слово «обман» вы взяли из разных областей у Фета и др. поэтов. Мне кажется, что, работая по словотворчеству, необходимо знать наш богатейший фольклор, особенно же наши изумительно четкие меткие пословицы и поговорки».

Возвращаясь к «Жизни Клима Самгина», мы прежде всего констатируем, как уже говорилось, широчайший языковый размах, как мы только что видели, не случайный, а основанный на большой языковой культуре, большой и упорной работе над словом. Все герои Горького говрят каждый по-своему. Сопоставим ряд отрывков: «За порядочность человека никогда нельзя ручаться. Мы выбираем друзей небрежнее, чем ботинки. Заметь, что человек без друзей — более человек». — Он самодовольно закончил: «я не имею друзей»... «Умиляет меня прелестная суетность вещей, созданных от руки человека, — говорил он улыбаясь. — Городок наш милый относится к числу отодвинутых в сторону от путей новейшей истории, поэтому в нем много важного и ценного лежит не тронуто по укладкам, по сундукам, ожидая прикосновения гениальной руки нового Карамзина или хотя бы Забелина. И ведь пребываю поклонником сих двух поэтов истории, особенно первого, ибо никто, как он, не понимал столь сердечно, что Россия нуждается во внимательном благорасположении, а человек в милосердии»...

«...Вечерами таинственно и тихо рассказывал: «надо различать дух — он поднимал тонкую бессильную руку на уровень головы — и душу. — Рука его мягко опускалась на колено.— Помните — Христос-то: «в руки твоя предаю дух мой», — а не душу. И — затем: «Духа не угашайте».— Дух разумом практическим не соблазняется, а душа соблазнена. И все наши сектанты, как я вижу, живут не духом, а душой, и духоборы так: замкнули дух в душе. Народ вообще живет не духом, это не верно мыслится о нем. Народ сила душевная, разумная, практическая...» и т. д. «...Подняв руку с ножом, он прочитал: «и рече диавол Адамови: моя есть земля, а божие небеса; аще ли хочешь мой быти — делай землю, и сказал Адам: чья есть земля, того есть и чада моя». Вот как-с! Вот как он формулировал наш мужицкий, нутряной материализм!..» Вот четыре человека (Варавка, Козлов, Кумов, Лютов), у каждого из которых мы чувствуем совершенно особую манеру говорить, особый «собственный» язык, что заботливо подчеркивает и сам Горький (см. далее). Отсюда — простота и естественность монологических и диалогических построений, основанных на высокой языковой культуре, кото-

рыми так богата «Жизнь Клима Самгина». Само по себе уменье строить диалог является одним из наиболее показательных для уменья писателя владеть словом — это своего рода коэфициент писательского мастерства; точно так же, как ритмическое движенье служит проверкой мастерства поэта; и опять-таки строится диалог на той же самой основе писательской культуры, того глубокого внимания к жизни во всех ее деталях и того его изучения, которому неустанно учит начинающих писателей Горький и своим творческим примером и своими теоретическими высказываниями, конденсирующими его творческий художественный опыт (см. «Лит. учеба», в особенности № 6). Эта приглядка к жизни в частности является приглядкой и к языку — у Горького находим яркие этому примеры (не привлекая примеров из творческой работы других писателей): «Начинать рассказ разговорной фразой можно только тогда, когда у литератора есть фраза, способная своей оригинальностью, необычностью тотчас же приковать внимание читателя к рассказу. Вот пример: летом этим на волжском пароходе какой-то пассажир третьего класса произнес:

«Я тебе, парень, секрет скажу: человек помирает со страху. Старики, они, конечно, от разрушения тела мрут»...

Конца фразы я не слышал и человека не видел; это было ночью, я стоял вверху на корме, он внизу» («Л. У.», № 1/44). Эта высокая языковая культура, являющаяся моментом высокой писательской культуры вообще, и позволяет Горькому использовать язык, как одно из мощных средств в познании и изображении действительности.

В социальной практике человека язык играет огромную роль и в ряде случаев и Горький раскрывает свои образы — персонажи именно через их речь. И в особенности четко выступает это как раз в «Жизни Клима Самгина», где внимание М. Горького сосредоточено на буржуазно-демократической интеллигенции, т. е. на такой «импотентной» социальной группе, где бесплодное слово в особенности занимает видное место (ср. у самого Горького в «Жизни Клима Самгина» — «он с мужеством пожарного заливал пламень споров струею холодных слов», «засыпал пухом слов» и т. д.).

И не случайно М. Горький так внимательно следит за тем, как говорят его герои: «Варавка говорил немного и словами крупными, точно на вывесках, на его красном лице весело сверкали маленькие, зеленоватые глазки, его рыжеватая борода пышностью своей была похожа на хвост лисы, а бороде шевелилась красная улыбка, улыбнувшись, Варавка вкусно облизывал губы своим длинным масляно-блестевшим языком... Варавка умел говорить так хорошо, что слова его ложились в память, как серебряные пятачки в копилку»... «...На семнадцатом году своей жизни Клим Самгин был стройным юношей среднего роста, он передвигался по земле неспешной, солидной походкой, говорил немного, стараясь выражать свои мысли точно и просто, подчеркивая слова умеренными жестами очень белых рук с длинными кистями и тонкими пальцами музыканта». «Он выработал манеру говорить без интонаций, говорил, как бы цитируя серьезную книгу, и был уверен, что эта манера, придавая его словам солидность, хорошо скрывает их двусмысленность».... «Все в нем (в Лютове) было искусственно, во всем обнажалась деланность, особенно обличала это вычурная речь, насыщенная славянизмами, латинскими цитатами, злыми стихами Гейне, украшенная тем грубым юмором, которым щеголяют актеры провинциальных театров, рассказывая анекдоты в «дивертисментах»... «...Поверьте слову — землю вскачь не пашут, — повторил Козлов, очевидно, любимую свою поговорку. Поговорками он был богат, и все они звучали точно аккорды одной и той же мелодии: «Главный кирпич не в карнизе, а в фундаменте. Всякий бык теленком был» — то и дело вставлял он в свою речь. Смотреть на него было также приятно, как слушать его благожелательную речь, обильную мягкими словами, тусклый блеск которых имел что-то общее с блеском старого серебра в шкафу. Тонкие руки с кистями темных пальцев двигались округло, легко, расписанное лицо ласково морщилось, шевелились белые усы и за стеклами очков серенькие зрачки напоминали о жемчуге риз на иконах. Он вкусно пил чай, вкусно грыз мелкими зубами пресные лепешки, замешанные на сливках, от него, как от плодового дерева, исходил приятный запах»... Все богатство «Жизни Клима Самгина» в смысле широты социального размаха этого произведения — воспроизводится и в языковом его богатстве в той широчайшей языковой амплитуде, на которую только что указывалось.

Это владение языком во всех его социальных оттенках, подкрепленное всем тем стремлением к четкости, ясности, простоте, понятности, которое выше подчеркивалось в высказываниях самого М. Горького — определяет и другую чрезвычайно существенную особен-

ность языка «Жизни Клима Самгина» — его исключительную сжатость и экономность. М. Горький чрезвычайно «скуп» на слова, но эта «скупость» является результатом точности его языка: старинной формулой ясности «в минимум времени — минимум слов» — он овладел в полной мере!.. Отсюда исключительная сжатость и выразительность его языка, особенно выступающие в наиболее напряженных местах «Жизни Клима Самгина».

Остановимся на двух, трех отрывках. Прежде всего на сцене гибели тонущих Бориса Варавки и Варвары Сомовой, сцене, которая по своему художественному лаконизму и по своей выразительности несомненно входит в число классических образцов художественной литературы: «Встречу, непонятно, неестественно поплзла, расширяясь, темная яма, наполненная взволнованной водой; он слышал холодный плеск воды и видел две очень красные руки; растопыривая пальцы, эти руки хватались за лед на краю, лед обламывался и хрустел. Руки мелькали, точно ощипанные крылья странной птицы, между ними подпрыгивала гладкая и блестящая голова с огромными глазами на окровавленном лице; подпрыгивала, исчезала и снова над водой трепетали маленькие красные руки. Клим слышал хриплый вой: — «Пусти! Пусти, дура... Пусти же!» — Не более пяти, шести шагов отделяло Клима от края полыньи, он круто повернулся и упал, сильно ударив локтем о лед. Лежа на животе, он смотрел, как вода, необыкновенного цвета, густая и, должно быть, очень тяжелая, похлопывала Бориса по плечам, по голове. Она отрывала руки его ото льда, играючи переплескивалась через голову его, хлестала по лицу, по глазам, все лицо Бориса дико выло, казалось даже, что глаза его кричат: «руку... дай руку»...

«Сейчас, сейчас, — бормотал Клим, пытаясь расстегнуть жгуче холодную пряжку ремня, — держись, сейчас»....

Был момент, когда Клим подумал, — как хорошо было бы увидеть Бориса с таким искаженным, испуганным лицом, таким беспомощным и несчастным не здесь, а дома. И чтобы все видели его, каков он в эту минуту.

Но он подумал об этом сквозь испуг, стискнувший его обессиливающим холодом. С трудом отстегнув ремень ноющей рукой, бросил его в воду, — Борис поймал конец ремня, потянул его и легко подвинул Клима по льду, ближе к воде. — Клим взвизгнул, закрыл глаза и выпустил из рук ремень. А открыв глаза, он увидел, что темно-лиловая тяжелая вода все чаще, сильнее хлопает по плечам Бориса, по его обнаженной голове, и что маленькие мокрые руки, красно-поблескивая, подвигаются ближе, обламывая лед. Судорожным движением всего тела Клим отполз подальше от этих опасных рук, но, как только он отполз, руки и голова Бориса исчезли, на взволнованной воде качалась только черная каракулевая шапка, плавали свинцовые кусочки льда и вставали горбики воды, красноватые в лучах заката»...

Все описанье этой сцены подлинно эпически спокойно, но именно в этом спокойствии и заключена вся потрясающая сила этого отрывка: он предельно точен; это особенно четко выступает в эпитетах — экономных, почти что незаметных и в то же время до предела насыщенных смыслом, нужным автору. Настойчивое подчеркивание красноты замерзающих, останавливающихся рук Бориса, уже поблескивающих от облепляющего их льда, — тот же блеск застывающей воды на голове, гладкой и блестящей; эпитетов этих немного, но они до предела заостряют внимание на самой трагической подробности — на руках, еще живых и цепляющихся за лед. Сама интонация опять-таки предельно проста, без всякого крика, но именно на фоне этой выдержанной интонационной монотонности с особенной яркостью выделяются все — самые нужные — слова без малейшего подчеркиванья, без малейшего «крика». Там, где казалось бы необходим восклицательный знак, Горький ставит запятую: «судорожным движением всего тела Клим отполз подальше от этих опасных рук, но как только он отполз, руки и голова Бориса исчезли, на взволнованной воде качалась только черная каракулевая шапка, плавали свинцовые кусочки льда и вставали горбики воды, красноватые в лучах заката». Примечательно здесь, что гибель Бориса попадает в придаточное предложение, голос не обрывается на ней и в той же «перечислительной» интонации продолжает: «на взволнованной воде качалась только черная каракулевая шапка» и т. д.

Интонация столь же проста, как и сам язык — она лишена всякой приподнятости, она незаметна, как слова, как эпитеты, редкие метафоры и т. п. — но именно в ее простоте и заложено об'яснение ее действия. Перед нами как раз система обратная системе Л. Андреева (соответственно тем полярным позициям, которые Горький и Андреев занимали в дореволюционной литературе); если о Л. Андрееве было сказано известное: «он пугает, а мне не

страшно», то к Горькому применимо как раз обратное: он не пугает, но нам страшно...

То что такая система изображения не случайна, обнаруживает отрывок, опять-таки относящийся к одному из напряженных моментов «Жизни Клима Самгина»—сцена обвала в строящихся казармах: «Несколько секунд Клим не понимал видимого. Ему показалось, что голубое пятно неба, вздрогнув, толкнуло стену и увеличиваясь над нею начало давить, опрокидывать ее. Жерди серой деревянной клетки, в которую было заключено огромное здание, закачались, медленно и как бы неохотно наклоняясь в сторону Клима, обнажая стену, увлекая ее за собой; был слышен скрип, треск и глухая частая дробь кирпича, падавшего на стремянки.

Самгин лишь тогда понял, что стена разрушается, когда с нее в хаос жердей и досок, сползавший к земле, стали прыгать каменщики, когда они, сбрасывая со спины груз кирпичей, побежали с невероятной быстротой вниз по сходням, а кирпичи сыпались вслед, все более громко барабаня по дереву, дробный звук этот заглушал скрип и треск. Самгин побежал, ощущая, что земля подпрыгивает под ним, в то же время быстро подвигая к нему разрушающееся здание. Стена разрушалась частями, вздыхала бурой пылью, отвратительно кривились пустые дыры окон, одно из них высунуло длинный конец широкой доски и дразнилось им точно языком.

Не верилось, что люди могут мелькать в воздухе так быстро, в таких неестественно-изогнутых позах, и шлепаться о землю с таким сильным звуком, что Клим слышал его даже сквозь треск, скрип и разноголосый вой ужаса. Несколько человек бросились на землю, как будто с разбега по воздуху, они видимо хотели перенестись через ожившую груду жердей и тесин, но дерево, содрогаясь, как ноги паука, ловило падающих, тискало их. В одном из окон стал человек с длинной палкой в руках, но боковины окна рассыпались, человек бросил палку, взмахнул руками и опрокинулся назад.

Взлетела в воздух широкая соломенная шляпа, упала на землю и покатилась к ногам Самгина, он отскочил в сторону, отглянулся и вдруг понял, что он бежал не прочь от катастрофы, как хотел, а задыхаясь стоит в двух десятках шагов от безобразной груды дерева и кирпича, в ней вздрагивают, покачиваются концы досок, жердей»...

Перед нами те же самые принципы в организации поэтического языка; та же спокойная, монотонная, перечислительная, сжатая интонация; даже союз «и» опускается там, где казалось бы он должен был бы уже заканчивать интонационное движение, что еще более усиливает эту монотонию: «...а кирпичи сыпались вслед, все более громко барабаня по дереву (и), дробный звук этот заглушал крик и треск»; то же в последней фразе приведенного отрывка: «в ней вздрагивают, покачиваются концы досок, жердей».. Перед нами тот же точный скупой эпитет («дробный звук», «ожившие дыры»), та же выделенная организующая повествование деталь («скрип и треск», барабанная дробь кирпичей), та же скупость на метафоры. Эти особенности ярко выступают в наиболее действенных и напряженных сценах «Жизни Клима Самгина», характеризуя весь языковый строй «Жизни». Простота, обычность, точность, доступность языка, простота, обычность интонаций, естественность диалога, чрезвычайная широта языкового диапазона — вот наиболее отличительные черты поэтического языка М. Горького.

Отношение М. Горького к метафорической речи очень наглядно иллюстрирует эти положения. Сама по себе переносная метафорическая речь никоим образом не составляет специфической принадлежности поэтического языка, как такового. В нашей обычной прогматической, деловой речи, в газете и т. д. мы все время пользуемся метафорическими оборотами: фраза из передовой «Рабочей Москвы» о том, что «хозрасчет на данном этапе — один из важнейших рычагов хозяйственного управления», столь же метафорична, как и любая поэтическая «тучка золотая, ночующая на груди утеса-великана» — и тут и там перед нами одна система значений переплетается с другой, переносится на нее, так сказать, обогащая ее новыми смысловыми оттенками. Однако в художественной литературе мы обычно встречаем гораздо большую насыщенность такими метафорическими построениями, что вполне понятно: отражая действительность образно в ее конкретности, художник стремится отразить ее в образах и, тем самым, в слове с предельной жизненной полнотой и яркостью, и здесь наряду с прямыми значениями, заключенными в об'ективирующих, материализующих его образы словах, ему огромную помощь оказывают именно переносные значения, позволяющие явление одного порядка прояснить при помощи указания на явление другого порядка, со-

поставления с его признаками, перенесения их на это явление: «и твоя одичалая прелесть, как гитара, как бубен весны», пишет Блок, вводя этим «дерзким» сравнением прелести с гитарой читателя своего социального круга во всю «цыганскую» традицию, характерную для эпигонствующей буржуазно-дворянской литературы (А. Григорьев, Апухтин и др.), перенося тем самым на свое стихотворение весь комплекс «цыганщины»....

И вот очень показательно, что у М. Горького, который в начале своей творческой деятельности давал необычайно метафорически насыщенные построения (знаменитое «Море смеялось» и т. д.) — мы в «Жизни Клима Самгина» встречаем крайне «сниженную метафоричность», это явствовало уже из обоих приведенных отрывков: в первом кроме фраз «руки мелькали, точно ощипанные крылья странной птицы» и «вода... играючи, перeплескивалась через голову (Бориса)» — нет в сущности ни одной метафоры (понимая метафору шире обычного—вообще как момент перекрещивания различных смыслов), весь отрывок построен на прямых значениях слов; (во втором отрывке точно так же они на перечет: «дерево содрогаясь, как ноги паука, ловило падающих», и «окно... высунуло длинный конец широкой доски и дразнилось им точно языком»—и только. Если даже в таких действенных сценах «Жизни Клима Самгина» (а их не много в нем, сравнительно с об'емом) метафор, как определенного и очень яркого средства изобразительности — почти нет, то в сценах, менее напряженных, их понятно еще меньше. Целые страницы проходят в «Жизни Клима Самгина» без одной развернутой метафоры, и это, конечно, не случайность, тем более не недостаток, конечно...

Если вспомнить приведенные выше примеры из Пушкина и Блока (о заре), то мы, условно, конечно, можем их противопоставить друг другу, как два крайних типа отношения к метафоричности: «отрицательный» (простота) и «положительный» (пышность). Творчество М. Горького в этом смысле приближается к «отрицательному» типу. Метафора у него почти никогда не дается в развернутом виде. Чаще перед нами первичный ее вид — сравнение (как будто, точно и т. д.), она всегда предельно служебна, сжата, проста, точна. Благодаря этому она почти что перестает качественно выделяться из всего словесного контекста — ее переносность переходит в прямое значение — метафору у Горького трудно опять-таки заметить (как «не заметен» у него эпитет, «не заметна» интонация и т. д.) — настолько естественно она обычно проявляется и настолько тесно связана с окружающими ее прямыми значениями. В этом смысле показательно использование Горьким метафоры, в связи с персонажами: метафора перекликается с переживаниями персонажа и опять-таки перестает уже быть поэтому метафорой, как таковой: например (все цитаты по Гизовскому изданию, для краткости ограничены вторым томом: собр. соч. т. XXII): «В небе замерзли облака из страусовых перьев, похожих на перо шляпки Алины Телепневой» — о которой вспоминает Клим (130). — «На улице было неприятно; со дворов, из переулков вырывался ветер, гнал поперек осенний лист, листья прижимались к заборам, убегали в подворотни, а некоторые, подпрыгивая, вползали не высоко по заборам, точно испуганные мыши, падали, кружились, бросались под ноги»... в них — было что-то напоминавшее... о каменщиках и плотниках, падающих со стены» — вспоминаемых Климом (55)—«...он вспоминал вид с крыши на Ходынское поле, на толстый плотно спрессованный слой человеческой икры» (101) и т. д.

Но, этот тип метафоры, так сказать, «обогащенный» своеобразной перекличкой с переживаниями персонажа, сравнительно редок; чаще метафора еще более «свернутого» характера, иногда однословная, стоит привести наудачу несколько примеров, чтобы убедиться в явной «непопулярности» — у М. Горького этой стороне художественной речи (цит. из начала II тома и из III последняя), опять следует отметить и количественную их бедность; что бросается в глаза при сличении числа страниц и числа метафор (понятие метафоры, как видно было и раньше, здесь берется, как родовое понятие для всякого переносного значения — без дальнейшей — мало здесь существенной — спецификации).

«Вишни богато украшены аметистовыми бусами ягод».

«В небе, цвета снятого молока, пенились сизоватые клочья облаков» (2 ч., стр. 5).

«Пыльная пустота, обесцвечивая мысли, высасывала их» (7 стр.).

«Солнце раскрасило стекла окон в фиолетовые тона» (8 стр.).

«Пуговка носа точно вспухла и расплылась».

«Усики цвета уличной пыли».

«Терраса, утвержденная на столбах, висела в воздухе, как полка» (11 стр.).

«Он почувствовал себя так беспокойно, как будто его кусают и щекочат мухи» (20 стр.).

«...Статейка похожа на витрину гастрономического магазина: все вкусно, а — не для широкого потребителя» (21 стр.).

«...Смотрел... фарфоровыми глазами» (24).

«...От гордости медная проволока его волос еще более топырится»... (24)

...«лицо.... твердое, как арбуз» (24).

...«Опаловые слезы жемчуга риз» (29).

...«Черные кирпичи книг» (29) .

...«В дряблой коже цвета утиных лап» (30).

...«Мочки ушей, вспыхнув, округлились, точно ягоды вишни» (35).

...«Заходило солнце, главы Успенской церкви горели точно огромные свечи, мутно-розовый дымок стоял в воздухе» (51).

«...Раскрашенный в цвета осени, сад был тоже наполнен красноватой духотою» (51).

«...его круглые глаза ночной птицы, как будто слились в один глаз, формою, как восьмерка» (53).

«...уши, пухлые, как пельмени»... (57).

«...налетел ветер, пошатнул, осыпал пыльной скукой» (59).

«...все быстрее плыли облака, гася и зажигая звезды» (62).

«...почти весь день лениво падал снег и теперь тумбы, фонари, крыши были покрыты пуховыми чепцами. В воздухе стоял тот вкусный запах, похожий на запах свежих огурцов, каким снег пахнет только в марте» (92).

«...Его фарфоровое, розовое лицо, пухлые губы и неопределенного цвета туманные глаза, заставляли ждать, что он говорит женственно мягко ,но голосок у него был сухозвонкий, кисленький и, как будто, злой». (99).

«Он жил среди людей, как между зеркал, каждый человек отражал в себе его, Самгина, и, в то же время, хорошо показывал ему свои недостатки». (101).

«...толстенькая и серая, точно самка снегиря» (113), «...слезы текли по щекам, сквозь улыбку, как грибной дождь сквозь солнце» (115).

«...он был в мелких мыслях, мелких, как мухи»... (127).

«...он опускался во власть именно маленьких мыслей, во власть деталей, они кружились над основным впечатлением, точно искры над пеплом костра» («Звезда», 1930 г., № 1, стр. 9).

Вглядываясь в эти примеры, бедные количественно и не развернутые качественно, мы явно убеждаемся, что не в них заложена специфика языка Горького; вспомним, что в своих теоретических замечаниях он — все время настаивая на точности, меткости, ясности — не упоминает о метафоре — как о чем-либо существенном; в самом деле, все замечания Горького направлены именно на прямую (а не переносную) систему значений поэтического языка. Перед нами та же познавательная установка: — пролетарская литература — как никакая другая — специфична (как литература особого качества, литература класса синтезирующего, подводящего итоги историческому развитию классового общества) как своей действенностью, так и развернутостью и осознанностью своих познавательных установок. И понятно, что такая система образного мышления, присущая пролетарской литературе, неизбежно тяготеет именно к наиболее четкому, наиболее точному значению слова и отсюда к выделению системы прямых значений слова в поэтическом языке. И примечательно, что именно в литературе рабочих ударников, в которой, хотя и в эмбриональном состоянии (в большинстве случаев) даны именно ведущие тенденции пролетарской литературы — мы имеем дело именно с таким же устремлением поэтического языка. В этом отношении интересные наблюдения над языком ударников (хотя и не во всем убедительные) дает тов. Михайлова в статье «На первом этапе» (РАПП, 1931 г., № 1, стр. 134 — след.), совершенно справедливо подчеркивая «налет иллюзорности» в метафоре. Эту-то «иллюзорность» и снимает система прямых значений. Трезвость мысли определяет и трезвость слова, его точность, меткость, ясность, т. е. то, что требует от писателя М. Горький, и в этом-то об'яснение снижения метафорического строя речи (конечно, как системы, а не как частного явления) у М. Горького.

Мы видим, таким образом, что именно из общих идеологических установок М. Горького, определяющих его образное мышление — вытекают и те особенности, которые в основном определяют характер художественной речи «Жизни Клима Самгина». Выше уже указывалось на то, что сложность анализа ее определяется еще той своеобразной словесной амальгамой «Жизни Клима Самгина», которая определяется опять-таки спецификой образно-идейной системы: раскрывая действительность в ряде случаев «глазами Клима Самгина» М. Горький, тем самым, определяет ее изображение словами и мыслями Клима Самгина, что может повести к ряду ошибок при анализе его художественной речи; в частности следует указать как раз на то, что метафорическая струя в «Жизни Клима Самгина» связана именно с этим, что было показано в приведенных выше

примерах, но нужно еще раз подчеркнуть, что языковая система «Жизни Клима Самгина», организованная в своих принципах разобранными выше установками, включает в себя язык Клима опять-таки классово преодолевая и разоблачая его, в целостной своей системе.

Ограничимся одним только типичным отрывком, который не случайно дан в самом начале романа, представляя своеобразный «эпиграф» ко всей системе интеллигентских рассуждений, воспроизводимых в романе с разоблачающей и беспощадной точностью: «Первые годы жизни Клима Самгина совпали с годами отчаянной борьбы за свободу и культуру тех немногих людей, которые мужественно и беззащитно поставили себя «между молотом и наковальней», между правительством бездарного потомка талантливой немецкой принцессы и безграмотным народом, отупевшим в рабстве крепостного права. Заслуженно ненавидя власть царя, честные люди заочно с великою искренностью полюбили «народ» и пошли воскрешать, спасать его. Чтобы легче было любить мужика, его вообразили существом исключительной духовной красоты, украсили венцом невинного страдальца, нимбом святого, и оценили его физические муки выше тех моральных мук, которыми жуткая русская действительность щедро награждала лучших людей страны.

Печальным гимном той поры были гневные стоны самого чуткого поэта эпохи и особенно подчеркнуто тревожно звучал вопрос, обращенный поэтом к народу:

Ты проснешься ль, исполнен й сил?
Иль, судеб повинуясь закону,
Все, что мог, ты уже совершил,
Создал песню, подобную стону,
И на веки духовно почил.

Неисчислимо количество страданий, испытанных борцами за свободу творчества культуры. Но аресты, тюрьмы, ссылки в Сибирь сотен молодежи все более разжигали и обостряли ее борьбу против огромного бездушного механизма власти.

Весной 79 года щелкнул отчаянный выстрел Соловьева. Правительство ответило на него азиатскими репрессиями.

Тогда несколько десятков решительных людей, мужчин и женщин, вступили в единоборство с самодержавцем, два года охотились за ним, как за диким зверем, наконец, убили его и тотчас же были преданы одним из своих товарищей; он сам пробовал убить Александра II, но, кажется, сам же и порвал провода мины, назначенной взорвать поезд царя. Сын убитого Александра III наградил покушавшегося на жизнь его отца званием почетного гражданина.

Когда герои были уничтожены, они — как это всегда бывает — оказались виноватыми в том, что, возбудив надежды, не могли осуществить их. Люди, которые издали благосклонно следили за неравной борьбой, были угнетены поражением более тяжко, чем друзья борцов, оставшиеся в живых. Многие немедля и благоразумно закрыли двери домов своих перед осколками группы героев, которые еще вчера вызывали восхищение, но сегодня могли только скомпрометировать».

Эта цитата в достаточной степени обрисовывает ту основную линию поэтического языка, которая — при всей своей сложности — характеризует «Жизнь Клима Самгина», и в ней с особенной яркостью звучит голос Горького, разоблачителя Клима Самгина, Горького публициста, который неотделим для нас от Горького художника...

Настоящие замечания о языке «Жизни Клима Самгина», как уже подчеркивалось, не претендовали ни в какой мере на систематическое последовательное и доказательное рассмотрение языка М. Горького. — Это дело большой и сложной работы, но не отдельной статьи. Задача сводилась к тому, чтоб, с одной стороны, поставить вопрос о его языке именно в связи со всей системой его творчества, а с другой — наметить пути учебы у Горького для писателя ударника, идущего в пролетарскую литературу на новом этапе ее движения. Подводя итоги, мы можем сказать, что вся работа М. Горького является осуществлением ленинских установок в деле культурной революции, критической переработкой и усвоением культурного наследия прошлого, в частности его культуры словесной. Этот опыт огромной культурной работы писателя над собой, над своим языком — должен прежде всего себе усвоить молодой писатель, помня, что и здесь перед нами участок классовой борьбы в области языка, как своеобразной классовой идеологии. Создание языка простого, точного и художественного, доступного самым широким массам — это одна из задач, стоящих перед пролетарской литературой, задача, имеющая огромное политическое значение — и в этом деле учеба у Горького не может быть преуменьшена в своей ценности.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Л. Авербах. — Памяти Маяковского. Массовая критическая библ-ка «На лит. посту». **В. Полонский.** — О Маяковском. ГИХЛ. 1931 г.

Две книжки, вышедшие к годовщине смерти, написаны под непосредственным ее впечатлением.

Книжка Авербаха правильно намечает основные вопросы изучения творчества Маяковского. Главный методологический принцип в подходе к Маяковскому — изучение его творчества в движении, в развитии. Говоря о Маяковском, надо всегда иметь ввиду тот путь, который он проделал. Иначе, выдергивая цитаты из разных его произведений, можно бить Маяковского его же собственным оружием.

Так выдвигается Авербахом первый тезис — против монолитности, единства творчества Маяковского и, следовательно, против того толкования, которое широко распространял Литфронт о Маяковском-революционере с начала до конца.

«Перед ним никогда не стояла проблема приятия революции», писал т. Гельфанд в «Литературной газете» после смерти поэта.

С другой стороны, Авербах справедливо выступает против тех, кто судил о Маяковском по I тому и видел его всю жизнь в свете Желтой кофты.

Подробно останавливаясь на ранних поэмах, Авербах стремится выяснить, как шел Маяковский к революции, как проходил основные этапы — от мелкобуржуазного бунтаря и индивидуалиста — к союзнику революции и, наконец, к пафосу пролетарского поэта и строителя.

Авербах устанавливает причины индивидуализма и пессимизма Маяковского, особый характер его скептицизма. Его индивидуализм от неприятия капиталистического общества, его пессимизм от социального бессилия и его скептицизм от нежелания покориться и смириться перед капиталистическим хозяином. «...Его обостренно болезненное неприятие капиталистического быта, его пессимистическая безвыходность из рамок капиталистического бытия — нашли в поэме «Облако в штанах» свое полное и яркое отражение. Мера индивидуализма Маяковского является нам здесь одновременно и мерой его пессимизма. Скепсис безнадежного отрицания окружающего здесь перерастает в цинизм беспросветной обреченности, имея своей оборотной стороной тоскливый гуманизм, розоватенькое человеколюбие и даже тягу к скорбному самопожертвованию» (стр. 10).

Здесь предпосылки того, что революционность Маяковского не ограничилась Февралем. Он не стал ни на минуту бардом Временного правительства и без колебаний принял Октябрь. Но принятый им Октябрь был еще не большевистский, а футуристический. Верно поэтому предупреждает т. Авербах, что «н е л ь з я п р е у м е н ь ш а т ь г и г а н т с к о г о п у т и, п р о й д е н н о г о М а я к о в с к и м от тех стихов, которыми он приветствовал Февральскую революцию, до его поэмы о Ленине» (стр. 16). Отсюда необходимость анализировать творческий метод Маяковского «не как нечто твердо установившееся с начала его писательской работы, но на основе того пути к органическому слиянию с пролетарской революцией, которым шел Маяковский, неуклонно и жестоко перерабатывая свое «нутро» (стр. 19).

И вопросы о том, как он переделывал свое «нутро», почему ему приходилось становиться «на горло собственной песне», что приходилось «смирить в себе», — основные для исследователя вопросы.

Проследить так творческий путь Маяковского значит показать, что путь этот — «с в и д е т е л ь с т в о в о з м о ж н о с т и о р г а н и ч е с к о г о с л и я н и я с р а б о ч и м к л а с с о м ч е л о в е к а, к о т о р ы й, к а к М а я к о в с к и й, б о р е т с я с о с в о и м п р о ш л ы м и который уже окончит свою жизнь не как Маяковский. Путь Маяковского — свидетельство т р у д н о с т и этой переделки, но и показ ее возможности» (стр. 22).

Тов. Авербах дает диалектическую постановку вопроса о творчестве Маяковского, учитывающую как его большие достижения на пути слияния с пролетарским миросозерцанием, так и неудачи, как результат неполноты этого слияния.

Но «с у т ь дела заключается в противопоставлении м е т о д а с р ы в а н и я м а с о к, метода разоблачительства и м е т о д а л а к и р о в к и д е й с т в и т е л ь н о с т и. В этом на сегодняшней стадии — проблема всех проблем» (стр. 29).

И эта проблема диктует то, что приемлемо для нас в творчестве Маяковского и что является в нем пережитком прошлого. Эта проблема ориентирует нас в том, как шел Маяковский и зачем пришел он в Рапп.

Особый интерес представляет вторая статья, которая в связи с критикой статьи Троцкого по поводу смерти Маяковского: «О когда творчество его будет изучено до истоков, они (т. е. «догадки и опыты» Полонского —

ложении советского писателя», остро ставит вопросы о социальном и литературном попутничестве мелкой буржуазии. Оспаривать измышления Троцкого о Маяковском не приходится. Ибо статья Троцкого о приспособленчестве Маяковского и о гибели его как результате этого приспособленчества говорит по существу больше о Троцком, чем о Маяковском.

Все то, что сказано о Маяковском, есть приложение известных положений Троцкого о невозможности построения социализма в одной стране, о невозможности пролетарской литературы, о том, что советская литература должна обслуживаться мелкобуржуазными попутчиками. В этом отношении статья о Маяковском ничего нового не дает. Но она еще и еще раз разоблачает Троцкого.

Троцкий уверен, что никакая революция невозможна, раз он в ней не участвует, и что поэтому всякий, кто не пошел за ним и остался с революцией, лишь приспособленец. В этом и вся «мудрость» его «философии смерти» Маяковского.

Статья тов. Авербаха говорит о двух возможных путях для попутчика: путь Троцкого есть по существу уход попутчика революции к ее врагам. Путь Маяковского — к союзнику революции, к перерождению.

Тов. Авербах еще раз подчеркивает, что статья Троцкого является поводом, чтобы остро поставить перед попутчиками вопрос: в какой стан они пойдут — врагов или союзников.

Книжка тов. Авербаха, давая основную установку пролетарской литературы в отношении Маяковского, представляет собой расширенные тезисы, которые необходимо развернуть, чтобы помочь критическому усвоению наследства большого революционного поэта.

Работающие над исследованием творчества Маяковского найдут в ней ряд руководящих принципов для своей работы.

Что сказать о книжке В. Полонского?

Марксизм в ней «и не ночевал», как вообще в писаниях маститого критика.

Она могла быть написана с равным успехом и пользой и в 1907—1909 гг. и помещена в любом эстетствующем импрессионистском журнальчике. Подхватывание на-лету и регистрация каждого своего впечатления, своих реакций на то или иное художественное раздражение — таков «метод» т. Полонского.

При таком «методе» дело, конечно, не в качестве самого художественного факта, а в степени «раздражаемости» критика.

Не приходится потому и выяснять, каковы основные методологические установки критика в отношении того или иного писателя и следующие из них выводы.

Мы принуждены итти за Полонским в его критике Маяковского страница за страницей.

Полонский с самого начала предупреждает: его книжка — только «Заметки читателя». Нужно ли при нашем бумажном кризисе печатать такие «заметки», «догадки и опыты?»

Полонский тут же разрешает наши недоумения, категорически заявляет: «позднее, ко... С. Н.) станут бесспорными» (стр. 8).

К тому же мы узнаем, что это заметки читателя, «много в Маяковском любившего и много в нем отрицавшего», что вообще, по мнению критика, характерно для отношения к творчеству Маяковского.

«Его можно было любить. Его можно было отвергать. К нему нельзя было лишь оставаться равнодушным». Это, по мнению критика, — потому, что в поэзии горел «настоящий огонь, обжигавший и не остывающий» (стр. 8).

Совершенно правильно замечено, что творчество Маяковского не одному только критику не давало оставаться равнодушным: на отношении к его творчеству можно было видеть, как раскалывалась в разные враждебные станы мелкобуржуазная интеллигенция.

Но чем в его поэзии это было обусловлено? Что это за такой «настоящий огонь» в поэзии Маяковского?

Огни в поэзии, хоть и настоящие, но ведь очень разные бывают, — и воспринимаются они по-разному. Знаем мы «огоньки» Короленко, которые маячили где-то далеко путнику в ночи, предвещая только в весьма отдаленном будущем разгореться в огонь революции. Огонь такой поэзии, если не равнодушно, то весьма спокойно мог воспринимать либеральничающей буржуазией. Знаем «огонь всесжигающий» у Бальмонта, который нужен был декадентски - вырождающимся социальным группам, чтобы, отгородившись и завесившись от света конкретной жизни, доживать, возбуждая себя колдованием над этим искусственным светом. Ясно, что его наркотическому воздействию не поддавались жизнеспособные социальные группы.

А вот «огонь» Маяковского так жжет, что многие весьма плохо себя чувствуют в его свете и предпочитают укрыться от его разоблачающих лучей куда-нибудь подальше, за недосягаемые пограничные кордоны. Выяснением характера этого «настоящего» огня поэзии Маяковского Полонский меньше всего занимается.

Пойдем за критиком дальше.

Основное в раннем творчестве Маяковского — его гиперболизм. Этот гиперболизм является, с одной стороны, выражением «природного гиперболизма» Маяковского. В нем все было преувеличено, начиная с роста, широких плеч, кончая преувеличенными страстями. С другой стороны, он был выражением романтического протеста вождя футуристов против символистского стиля, протеста деклассированной литературной богемы против господствующих классов.

«Природный гиперболизм Маяковского нашел в благоприятной обстановке обильную пищу» (стр. 19).

Нужно сказать, что в первой части этого об'яснения Полонскому повезло: ну что, если б Маяковский был небольшого роста и обладал в то же время большими страстями? Что бы тогда сделал критик с его гиперболизмом?

Что это за физиологический и биологический «марксизм» в об'яснении художественного творчества?!

Гиперболизм в стиле об'ясняется ростом писателя, а социальная установка — его темпераментом.

С другой стороны, самый социальный бунт Маяковского дан уж очень упрощенно, как результат какой-то личной материальной неустроенности поэта.

«Двери редакции были перед ними (футуристами — С. Н.) закрыты. Они возненавидели счастливых соперников. Соперники носили розу в петличке. Они воткнули в петличку редиску» (стр. 22).

Такова механистическая установка Полонского при об'яснении поэтического творчества. Не диалектическое единство противоположностей, переходы количества в качество, а механистическое «сначала» — «потом» разрыв или в лучшем случае параллелизм, взаимодействие различных социальных рядов, привлекается Полонским для об'яснения сложности творческого лица Маяковского. Сначала «гиперболизм природный» диктует основные свойства стиля Маяковского, потом «гиперболизм получил точку опоры, целевую установку» в борьбе с символистами. «Все это создавало новый стиль». Но ведь «символизм» был не только «стилем». Он был мировоззрением. За ним стояли господствовавшая культура, класс-хозяин, организатор жизни. Маяковский стал отрицать и хозяина» (стр. 24).

Как видим, механистичность соединяется у Полонского с идеалистической установкой. Не борьба с буржуазией привела писателя к борьбе с ее культурой и ее стилем. Борьба со стилем, с символизмом привела к неприятию буржуазии.

И это не оговорки. Не описки. Полонский повторяет и резюмирует свою мысль:

«Вслед за искусством он стал отрицать мир отношений, поэтическим выражением которого было это искусство» (стр. 24).

Вместо того, чтобы об'яснить как из ненависти к капиталистическим отношениям Маяковский пришел к отрицанию капиталистического выводит об'яснение ненависти Маяковского находит об'яснение ненависти Маяковского к капитализму из ненависти к символизму неудачника-футуриста.

Как будто «Война и мир» продиктована не антиимпериалистическими тенденциями Маяковского, а местью символистам.

С другой стороны неясно, почему Бурлюк, Северянин, Шершеневич, также отрицавшие символизм, не пошли по пути Маяковского. Ростом не вышли? «Природного гиперболизма» не хватило?

Так об неуменье марксистски осмыслить, классово об'яснить творчество Маяковского разбиваются отдельные верные, хотя и общие замечания о футуризме и гиперболизме, о мотивах бунта и тоски у раннего Маяковского.

С другой стороны, повторение общих мест в определении социального эквивалента творчества Маяковского нисколько не подтверждается на конкретном анализе материала. Такое, ставшее ходячим положение, как: «Путь Маяковского — замечательный путь мелкобуржуазного интеллигента к пролетариату» (стр. 66) — в самой книжке ничем не оправдано. Именно не показан путь поэта. Прокламируется какой-то резкий перелом в творчестве Маяковского в связи с революцией. Говоря о мелкобуржуазном характере бунтарства раннего Маяковского, Полонский заявляет: «Много позднее, в семнадцатом, путь Маяковского сольется с путем пролетариата» (стр. 27). «Революция провела борозду в его творчестве» (стр. 44).

Почему же тогда Полонский все годы так воевал с Маяковским, пускал дешевые каламбуры «леф-блеф», если уже с 17 года путь Маяковского стал пролетарским.

Здесь снимается вопрос о послеоктябрьской эволюции Маяковского, вопрос о разнице между попутчиком, союзником и пролетарским писателем. После октября Маяковский все же был еще футуристом. Футуризм заменил Лефом, — потом от Лефа пришел к Раппу. Как все это об'яснить, если уже в 1917 г. его путь слился с пролетариатом?

Каясь в своей прошлой недооценке Маяковского, Полонский сейчас делает перегиб в другую сторону. Раскрытие пути Маяковского подменяется об'явлением Маяковского с 17 года поэтом «пролетарской улицы».

Кстати сам поэт говорил еще в 1930 о том, что в нем остались навыки капиталистического общества, которые мешали ему войти в партию, и только в 1930 он вошел в Рапп, считая, что там он окончательно сформируется как пролетарский писатель.

В чем же по Полонскому тот переворот, который революция произвела в поэте.

«Революция» сняла «мотивы его поэзии», пишет Полонский. Он подразумевает здесь мотивы бунтарства и борьбы с мещанством, мотивы одиночества, которые сменились неизменным славословием революции.

Так ли это?

Маяковский и после революции не изжил до конца своего одиночества, об этом говорит его смерть. Он с большим трудом изжил свое бунтарство. «Штукарские» элементы его творчества, в том числе и «150 000 000», были результатом его бунтарских тенденций. И уже совсем ни с чем не сообразно утверждение, что революция сняла необходимость борьбы с мещанством. Революция, наоборот, с особой остротой выдвинула борьбу с мещанством и тут у Маяковского неоспоримые крупные заслуги.

Мы знаем, что наряду с гимнами революции не менее значительную струю в его творчестве занимает борьба с врагами революции, их сатирическое разоблачительство. Для Маяковского это была борьба со старым врагом — с мещанством и буржуазией во всех ее видах. По-разному в разные периоды и в разных вещах поэтически ставит Маяковский эту острую проблему борьбы с врагами революции.

А с другой стороны, как мы уже указывали, в его славословие революции часто врывались ноты прежнего бунтарства, и революци-

онность Маяковского еще должна была пройти много этапов, чтобы притти к ее классическому выражению в поэме «Во весь голос».

Стало быть вся трактовка Полонским послереволюционного творчества Маяковского — сплошная оппортунистическая болтовня. Полонский подчеркивает как достоинство то, что является слабой стороной Маяковского, и недостатки видит в его положительных качествах.

Мы уже выше приводили замечание Полонского о внезапном перевороте, будто бы произошедшем в Маяковском в 1917 г. Но оказывается, что стиль его, футуристический гиперболизм, романтизм преувеличений остался все тот же. Он только «наполнился новым содержанием». Какой удобный стиль! Никакие «борозды», даже революционные его не стирают! Наоборот, он пришелся как раз по мерке революции. Преувеличенность, гиперболизм в творчестве Маяковского совпали с грандиозностью революции. «Гипербола перестала быть преувеличением. Она материализовалась» (стр. 46).

Поистине умилительное зрелище совпадения творческих размеров революции и Маяковского. Тем более, что это удачное совпадение дало возможность поэту в своих «восторженно-гиперболических» вещах «увлечь пролетария зрелищем собственной мощи» (стр. 48).

Но на следующих страницах наше умиление сменяется недоумением: оказывается, дела у гиперболического футуризма с революцией не очень-то ладятся. Оказывается, многие смеются над нереальностью Вильсона, а Ленин называет всю поэму «вычурной, штукарской».

«Но таков гиперболический стиль, Маяковский не мог от него отказаться» (стр. 47), категорически уверяет нас критик.

Оказывается, революция решительно отказалась от футуристического наследства и между ними произошел серьезный «конфликт».

Что тут делать бедному Маяковскому. Тогда он «свинчивает» шею и «с высот своих гипербол переключается на темы-миниатюры, темы-поденки — об обывателе, о хулиганстве, о самогоне, о бюрократах, о суевериях, об обрядах, о поминках и еще много раз об обывателе и бюрократах» (стр. 58—59), т. е. разменивается на мелочи, по мнению Полонского. «С некоторыми мелкими вещами его искусству нечего делать: они мертвы...», потому что какая же поэзия «в воспевании кипяченой воды». (А Пушкин-то мог воспевать «жирные блины— привычку русской старины»).

Таков Маяковский в кривом зеркале Полонского.

Это кривое зеркало — результат неуменья диалектически учесть социальную обусловленность каждого элемента в искусстве, бесплодного эстетизирования.

Ведь если гиперболизм ранних вещей Маяковского, футуристический схематизм вторгся и такие вещи, как «150 000 000» или «Мистерию-Буфф», то ясно, что это было результатом внесения в понимание революции мелкобуржуазных дореволюционных элементов, недостаточного понимания движения классовой борьбы, неполноты слияния с пролетарской революцией. Это были те элементы, от которых Маяковскому предстояло освободиться и от которых он освобождался в ходе революции.

И одним из показателей этого освобождения являлся его переход к народной массовой и бытовой сатире, к агиткам. При огромном политическом значении этих жанров это было этапом от футуристического гиперболического воспевания революции к реалистическому показу ее будней.

Это было этапом к поэме «Во весь голос», где мы уже ощущаем это новое пролетарское качество.

Что же означают такие утверждения, как:

«Он многое сумел преодолеть в себе. Не смог лишь оставить за порогом революции футуризма» (стр. 50).

Ведь футуризм, как и символизм не только «стиль», но и мировоззрение. Это отмечает сам Полонский. Ведь он сам говорит о том, что футуризм был порожден «обездоленным, радикальным, демократическим слоем буржуазного общества» (стр. 27).

Значит вышеприведенное утверждение по существу говорит о том, что Маяковский принес в революцию свое мелкобуржуазное бунтарство. Но это противоречит основному тезису Полонского, что с 1917 г. Маяковский уже стал поэтом «пролетарской улицы» и что футуристический стиль Маяковского наилучшим образом подошел для выражения размаха революции.

Так, путаница слов и понятий, безответственная игра фразой смазывает у Полонского истинную сущность творчества Маяковского. Ибо чем же как не эстетской болтовней являются фразы:

«Он был не только энтузиастом революции, он был еще энтузиастом футуризма. Его любовь к футуризму была также гиперболой едва ли после революции не самой любимой» (стр. 50).

А мы думаем, что футуристический энтузиазм шел как раз за счет доподлинного революционного энтузиазма.

Или такая фраза:

«В футуризме было много положительных черт, помогавших ему присоединиться к революции» (стр. 48).

Дело здесь не в футуризме, конечно, а в том мелкобуржуазном радикализме, выразителем которого он является. Социальные категории подменяются эстетической фразеологией или обще-культурническими замыслами.

«Тем-то и замечателен творческий путь Маяковского, что он шел из мещанства, против мещанства. Такова диалектика его развития» (стр. 34—35). И это формула чисто словесная, ибо диалектика развития Маяковского не показана Полонским. Ибо эта диалектика поддается анализу только там, где есть учет диалектики классовых сил.

Отсюда и несостоятельность следующего тезиса:

«Противоречивость и сложность творчества Маяковского, особенно раннего периода, мешает пролетариату целиком принять его» (стр. 67). Это и так и не так. Дело ведь не в сложности и противоречивости Маяковского, а в причинах, которыми эта противоречивость вызвана — в противоречивой психике мелкобуржуазного бунтаря, которая не могла быть принята пролетариатом и которую сам Маяковский должен был в себе преодолеть, этого не выясняет Полонский, а в этом сущность вопроса. Полонский заключает:

«У Маяковского-мастера есть чему поучиться. Но было бы заблуждением считать его творчество образцом для подражания» (стр. 67).

Это верно, но вот книжка Полонского именно не дает такого критерия для отбора, не говорит о том, что нужно брать, а что отвергать у Маяковского, и поэтому о книжке самого Полонского этого сказать нельзя. Критический подход автора книжки немного уясняет самому Полонскому и еще меньше его читателю.

Бесплодное эстетство, подделывающееся под марксизм, самое пошлое вульгаризирование диалектической оценки писателя и бесконечный набор цветистых слов и фраз — эстетская болтовня, вот по существу книжка Полонского, в которой литфронтовское толкование Маяковского-революционера соединяется с перевальским эстетизмом, с «абстрагированием от всего этого, как его... грубо классового» (Авербах, Памяти Маяковского, стр. 15).

С. Нельс.

Андре Жид. — Путешествие по Конго. Под редакцией С. В. Шервинского. Перевод с французского А. Л. Вейрауб. Изд. «Федерация». Москва. 1931 г. Стр. 348. Цена 1 р. 85 к. Переплет 20 к.

Среди выставок весеннего сезона Парижа совсем особое место заняла громко разрекламированная колониальная выставка, долженствующая демонстрировать во всех видах силу и мощь французской колониальной империи. В мае месяце 13-м президентом Французской республики был избран не кто иной, как видный представитель буржуазной агрессии Поль Думер, пожавший своеобразные лавры в качестве генерал-губернатора Индо-Китая. И нехарактерно ли, что в нынешнем году Гонкуровская премия была присуждена автору «колониального» романа с недвусмысленным плантаторским уклоном.

Все это лишний раз свидетельствует о степени напряженности империалистической экспансии третьей республики, бряцающей оружием и мечтающей о новых авантюрах. Французская художественная литература всегда чутко отображала все эти сдвиги и направления. Достаточно припомнить предвоенную колониальную и милитаристическую беллетристику Поля Адана, Психари и др. Во время войны и в послеверсальский период продукция колониальных романов (включая сюда и исторические и авантюрные романы с колониальными уклонами) достигает своего апогея. При этом любопытно, что на первый план выпячиваются превосходство белой расы и «благоденствия» колонизаторского режима. Клод Фаррер, который в своих «Носителях цивилизации» не лишен был некоторых обличительных ноток, в последующих романах резко переменил фронт, описывая с восхищением колониальных дельцов и славословя свирепого проконсула Африки маршала Лиотея.

Среди этой апологетической литературы встречаются очень редкие исключения, к числу которых принадлежит и появившаяся ныне в русском переводе книга известного французского романиста, утонченного эстета-индивидуалиста Андре Жида — «Путешествие по Конго». Автор, не раз описывавший свои путевые эмоции обыкновенно возвышенно эстетические, здесь был вынужден пойти по иному пути. Под покровом пышной тропической экзотики пред ним предстала такая ужасающая действительность «рабства» и «принудительного труда», безраздельно царящих в колониях, что он выступил с красноречивым и ярким обличением. «Я не мог предвидеть,— пишет он,— что эти мучительные социальные вопросы о наших взаимоотношениях с туземцами, вопросы, которых я касался лишь мимоходом, займут меня настолько, что станут главной целью моего путешествия и что я найду в изучении их смысл моего пребывания в этой стране» (стр. 21). Описывая с свойственным ему художественным талантом свое путешествие шаг за шагом (книга имеет вид путевого дневника), Жид чуть ли не на каждом шагу сталкивается с каким-либо новым проявлением безобразнейшей колониальной вакханалии. Бесправное и угнетенное положение забитого, загнанного и вымирающего от бесконечных болезней местного населения настойчиво бросается в глаза.

Жид образно описывает глухие деревушки с голодным и полубольным населением, со страхом взирающим на белых людей. Перед читателем проходит весьма примечательная галлерея «доблестных» колонизаторов, нередко форменных палачей. Прямо жутью веет, когда описываются похождения некого администратора Г. Паши, одного из гнуснейших представителей французской власти на местах. Вот напр. рассказ об одном из его подвигов: «Г. Паша сообщает, что он закончил свои репрессии у байасов, в окрестностях Бода. Он считает (по его собственному признанию), что число убитых достигает тысячи — всех возрастов и обоего пола. Стража и партизаны должны были, дабы доказать, что военные действия ими выполнены, принести «командиру» уши и детородные части жертв. Деревни были сожжены, плантации вырваны» (стр. 75). Возмутительнейшая эксплоатация женского труда имеет чуть ли не повсеместное распространение: «Доставка и носка производятся женщинами, несмотря на запрещения генерал-губернатора. Дороги округа проложены на песчаном грунте. Ни гальки, ни булыжника не существует. Все женщины из деревень работают круглый год с утра до вечера — они носят землю на шоссе. Большею частью им приходится далеко ходить за этой землей. Орудий для добывания у них нет, и переносят они эту землю на голове, в корзинах. У большинства из этих жен-

щин на руках грудные дети. Эта работа, рассматриваемая, как доставка, не оплачивается и работниц не кормят» (стр. 77). «Просвещенные цивилизаторы» не щадят и детей. Так, спутник Жида, увидя целое сборище детей в возрасте от 9 до 13 лет, расположенное у плохо греющих травяных костров, пытался узнать в чем дело: «один туземец предлагает себя в качестве переводчика; он переводит на санго, а Адум на французский: детей будто бы привели из их деревень с веревкой на шее; уже шесть дней их заставляют работать без вознаграждения и без пищи» (стр. 164). Много можно привести других не менее красноречивых мест из книги Жида. Но сам Жид, констатирующий эти факты и пытавшийся на месте, а затем и в центре принять некоторые меры, не доходит до логического конца, он все сваливает на неудачный подбор чиновников и агентов... и на этом успокаивается. Но если Жид (в отличие от Лондра, автора «Черной Африки») сам не приходит к каким-либо выводам, то вся его книга, насыщенная красочно-подобранным материалом, может служить убедительным экспонатом на антиколониальной выставке, вскрывающей все язвы империалистического хозяйничанья.

И. Бороздин.

Вас. Гоманов. — Голыш. Роман. Моск. т-во писателей. 1931 г. Стр. 200. Цена 1 р. 50 к.

Роман молодого писателя Вас. Гоманова, недавно выпущенный Москов. т-вом писателей, снова сигнализирует опасность кулацких влияний и настроений в нашей крестьянской литературе.

Действие романа развертывается в деревне. Бедняк-крестьянин Голыш, в прошлом батрак и свинопас, записывается в колхоз. Но в колхозе он наталкивается на враждебное к себе настроение. Голыш — бедняк, а бедняк, не сумевший внести своего пая, по мнению почти всех «колхозников», не считается равным членом колхоза, а является лодырем, тормозящим его развитие. По совету попа, Голыш отправляется по миру собирать пожертвования на якобы сгоревшую церковь, в действительности для своего колхозного пая. По возвращении он приобретает на собранные деньги машины для сельскохозяйственных нужд колхоза. Роман завершает патетическая концовка: Голыш убит вредителями на славном посту председателя колхоза

Начнем свой анализ первоначальной коллизии романа, способ разрешения которой чрезвычайно показателен для автора и является одним из основных звеньев идеологической «кривой» авторской установки

Голыш — бедняк, бедняк, не сумевший внести своего пая в колхоз. На этом основании герой прочно зачисляется в категорию лежебок и лодырей. Как подошел писатель к разрешению этого конфликта, какую оценку дал этому обвинению, являющемуся типичным кулацким выпадом против политики советской власти по отношению к бедняцкой части крестьянства: Гоманов даже не пытается разоблачить всю политическую гнусность этого обвинения. Никакого противодействия, никакой борьбы на почве реализации кулацкой формулы — бедняк — лодырь, лодырь — бедняк не дано. Характеристика Голыша вырисовывается перед нами довольно туманно: читатель даже вправе усомниться относительно работоспособных качеств героя, его коллективистических стремлений. Мы должны все время исходить из того положения, что автор рассматривает своего героя с т о ч к и з р е н и я п о л о ж и т е л ь н о г о т и п а ж а. Скрытые «таланты» Голыша во время паломничества разворачиваются во всем своем богатстве и разнообразии. Голыш широко использует методы симулянтов и обманщиков, при случае превращаясь в настоящего бандита, орудующего при помощи краж, поджога и пр. Гоманов с большим удовольствием смакует подвиги своего «бравого» героя и только ради цензуры призывает на помощь «угрызения совести» и ссылается иногда на «об'ективные причины», породившие подобные действия (желание приобрести колхозный пай).

Писатель с а н к ц и о н и р о в а л к у л а ц к у ю ф о р м у л у: бедняк — лодырь, лодырь — бедняк.

В угоду предвзятой идее автор превращает своего Голыша в председателя колхоза. Причина единогласного избрания Голыша в председатели — не показана. Но тот почет и уважение, которые оказывают ему колхозники, еще недавно ругавшие его лодырем и гольтепой, имеет явно подозрительное происхождение, ибо вызвало это чувство, главным образом, приобретение сельскохозяйственных машин для колхоза за счет тех пожертвований и краж, которые совершались во время бандитских похождений Голыша. Невольно приходишь второй раз к выводу, что формула: бедняк — лодырь, лодырь — бедняк, не осуждена автором.

Вольно или невольно автор превратился в к л а с с о в о г о с о у ч а с т н и к а к у л а ч е с т в а, которому единственно выгоден тот критерий по отношению к бедняку, которым пользуется Гоманов, и такое пасквильное клеветническое изображение создания колхозов.

Т. Николаева.

Дм. Петровский. — «Денис Кочубей!. «Федерация». 1931 г. Стр. 127. Цена 80 к.

Дм. Петровский — поэт. Творческий путь его начался где-то у истоков кубо-футуризма, от группы Бурлюка, Хлебникова и Крученых.

В 1925 году в «Зифе» вышла повесть Дм. Петровского «Повстанья», темой для которой послужило партизанское движение на Украине в 1918 году.

Новое прозаическое произведение «Денис Кочубей» — попытка перенести героев «Повстанья» в наши дни, показать партизан в борьбе за коллективизацию.

Однако автор, не преодолевший «хлебниковщины» в своей идеологии, взялся за непосильную задачу. Деревня Дм. Петровского подана в своеобразном аспекте, окрашенном насквозь идеалистическим мировоззрением автора. В качестве вождя этой деревни писатель дает некого Дениса Кочубея, который представляет из себя характерную фигуру для лефов-

ско-перевальской галлереи «героев нашего времени».

Сначала кажется, что Денис — рабочий-отпускник, приехавший коллективизировать родное село. Но постепенно выясняется, что Денис писатель («книжки пишет и все про братву, и про коней»), что живет он в каком-то «тютчевском поместьи» (стр. 15) и штудирует Толстого к юбилею. С детства Денис писал красками («родные поля воспитывали в нем Сезанна и Ван-Гога, а воспитали партизана»).

Денис приехал в деревню отдохнуть «от бурных городских сомнений (?) в деревенской тишине».

Однако отдыхать Денису в тишине не пришлось, так как и тишины-то никакой в родном селе не оказалось.

Перво-наперво какие-то загадочные «кулаки» подожгли неизвестно почему мирные крестьянские клуни и Денису пришлось, «затыкая носовым платком (?) порванный насос», тушить пожар. «Бессознательно все-таки любуясь огнем», Денис приказывает ликвидировать кулачества как класс, что и выполняется беспрекословно бедняками - единоличниками (сплошь бывшие партизаны). Кулаки ликвидированы. Теперь уже ничто не помешает Денису спокойно мечтать в «тютчевском поместьи» о сплошной коллективизации родного села.

И он мечтает. О, если бы сюда машину! О, если бы фабричный гудок!

С партизанами он ведет платонические беседы о пользе спорта и о «бодрости, создаваемой общественным пульсом» (?).

Организацию колхоза Денис всячески оттягивает, мотивируя это отсутствием трактора. «Помолчу о машине, думает мудрый Денис, «буду на спорт (?) налегать»...

И об'являет собрание... Осоавиахима! Покорные партизаны, конные и пешие, резвятся по селу, а Денис, в гордом одиночестве, мрачно резюмирует:

—«Я набиваю им зады от тоски, которую они на меня наводят».

Наконец организуется сельхоз-коммуна, без участия Дениса («Денис уехал в столицу, решив, что без него крепче перебродит заваренное дело»), но без Дениса сельхоз-коммуна. организованная ячейкой ВКП(б), немедленно впадает в левый «загиб», настаивая на обобществлении всего живого и мертвого инвентаря. Приехавший Денис «выправляет» загиб.

Село ликует. Денис вернулся! Да не один, а с молодой женой, о которой известно только то, что она носит у пояса фотоаппарат и фотографирует мужиков (после чего даже матерые, закоренелые единоличники немедленно вступают в колхоз). Тут уже, кажется, пора бы грянуть туш, дескать, «гром победы раздавайся», но неожиданно, презирая все законы архитектоники, откуда-то появляется новая пачка кулаков-спекулянтов; кулаки берут в аренду фруктовый сад, и снова Денис, во главе колхоза, успешно борется с кулаками.

Конца у этой истории нет, зато вся она густо пересыпана глубокими мыслями и полезными рассуждениями, рупором которых вольно и невольно является тот же Денис. Например:

«Тот кто... вверяется жизни — не терпит пораженья. Таковы законы природы. Природа устроила ряд привилегий для доверчивых и, наоборот, поставила препятствия протестующим, сомневающимся и мятежникам. Какого духа зовешь — такой и приходит».

А вот и еще:

«Фабричная женщина, защищенная от полной мужней зависимости своей получкой, определенно получила равенство» (?!).

Или:

«Есть люди, призванные быть с массой... Они как виденье (?) несут в сердце своем веру в определенное будущее».

И наконец:

«...теплое чувство, отнятое от женщин, в дружбе мужчин изобилует в отношении крестьян между собой (огромное неравнодушие, кровавая вражда и хмельная дружба) и совершенно остутствует у пролетариата, знающего деленный на такты и учтенный ритм машин, воспитывающий и тактичность отношений» (!?).

Вспомним «глубокие» мысли, высказанные Денисом о нехороших мятежниках, которых и природа не долюбливает, о современных женщинах, которым равенство дадено получкой, и о тактичных пролетариях, воспитанных тактом машины. Непротивленская, чахлая проповедь и ублюдочные мещанские рассуждения о раскрепощении женщины отлично комбинируются со скудными механистическими идейками.

Идеалист и ханжа по идеологии, барин и самодур по всем повадкам и поступкам, Денис ведет в селе откровенно правооппортунистическую политику, что санкционируется и воспевается автором.

Свою собственную реакционную концепцию автор раскрывает не только в трактовке образа Дениса, но и, главным образом, в методе показа мужиков, крестьянской массы.

Автор механически делит село на бедняков-партизан и кулаков. Отдельных характеров, портретов автор не рисует, он тяготеет к собирательным образам: «мужики», «бабы», «молодежь» обозначают некоторую схему, за которой не видно живых людей. Преобладают такие выражения: «район, прослышавши такое шумное новое дело, приехал к Денису», или «собрание урчало и, наконец, не выдержало» и т. д.

Отдельные фигуры (кулак Дженджера, косарь Андрей, секретарь ячейки Полянский и др.) настолько бесхребетны, так плохо «работают» в фабуле, что забываются, как незначительные эпизоды.

Зато, с откровенным цинизмом, автор вкладывает в уста всем своим «мужикам» антисоветские речи.

—«Разве такой жисти мы ожидали?.. Мануфактуры опять нет... кожи нет. Вот косу едва достал...» (стр. 7).

—«У вас там в городах может и социализм, а у нас тут полный старый режим, во всем разгаре» (стр. 32).

А вот и прямая двусмысленность: ...«Подыхали под пятой гетманских немцев. Но под чьей пятой подыхают теперь? Власть советская, социализм шагает где-то, да Птицу (се-

ло) облетает аэропланом» (стр. 38).

На разные лады повторяется мысль о том, что советская власть завела крестьянство в тупик.

«Десять лет»,— сокрушается сердобольный автор,— «после мирового потрясения, в общей мечте о прекрасном будущем, десять лет без культурного руководства, десять лет, опрокинувшие назад рвавшихся вперед людей, едва сводящих концы с концами, и вдруг приезд Дениса»... и т. д. (стр. 46).

«Десять лет жили хозяйственной жизнью на новых началах после освобождения от ига помещиков и — тупик. Несдающиеся ни с той, ни с этой стороны враги с мозолями (?) на руках — бедняк и кулак»... и т. д. (стр.. 28).

Всю эту, заведомо фальшивую мешанину, автор скромно называет «очерками», хотя во всей истории действительность и не ночевала. Жалкое древне-лефовское заигрывание с фактом (речь Микояна на колхозном с'езде) выглядит очень убого и неубедительно.

Стилистически произведение производит жалкое впечатление. Смесь из плохой литературщины (сравнение кулаков с Раскольниковым, мужиков с Обломовым, всей деревни с губернаторской бричкой из Тараса Бульбы и т. д.), приспособления к народной речи («диалектика» (?) вокруг садово-мельничного вопроса разрасталась) в дурно пахнущих «заумью» стилистических вывихов, вроде: «надежды проглотили пробку», «ветры бушевали с остервенением цепных сторожей природы, которую насупившийся хозяин придавил коленкой»,— смыкаются с стилистической поповщиной вроде «за святой, светлый социализм», с описанием мистических снов, которые видят мужики перед приездом Дениса.

«Очерки» пересыпаны малопонятными эпиграфами из В. Хлебникова, причем некоторые из них звучат, как двусмысленность; например, перед главой, в которой речь идет о вовлечении в колхоз, стоит эпиграф:

«Войди же в эту халабуду,
войди дружок, а я побуду...»

Оттолкнувшись от старого велимиро-хлебниковского идеализма и индивидуализма, автор пришел к реакционнейшей системе взглядов, раскрывающей его филистерское меньшевистское представление о современной деревне: деревня загнана в тупик советской властью. Спасибо помог барин, интеллигент из города, а то бы пропали...

«Очерки» Дм. Петровского являются выражением идеологии тех групп мелкобуржуазной интеллигенции, которые были всегда стыдливыми «попутчиками» пролетариата, уходящими неуклонно направо... «Очерки» — логическое завершение этого движения направо.

...И тем не менее эта книга прошла все редакционные чистилища, она отпечатана в 6000 экземплярах и брошена на огизовские прилавки. Вот она подмигивает фамильярно читателю двумя красками своей обложки:

«Входи же в эту халабуду»...

В. Россоловская.

Иван Макаров. — На земле мир. — Записки тюремного надзирателя. Новинки крестьянской литературы. ГИХЛ. 1931 г. Стр. 93. Цена 75 к. Переплет 35 к.

Годы империалистической войны. Пыльный городок. Маленький провинциальный обыватель Василь Андреич, спасаясь от фронта, устроился надзирателем в военной тюрьме и стал свидетелем многочисленных казней, которые совершались над дезертирами.

Записки Василь Андреича — хроника событий, разыгравшихся в тюрьме.

Василь Андреич не профессионал-стражник, он только обыватель, дрожащий за свою жизнь, он вынужден служить в тюрьме («Бог даст мир — я дня не останусь тут служить. Озолоти — не останусь!»). Отсюда его ужас и отвращение к тому, что происходит в тюремных подвалах.

Однако ужас и отвращение у Василь Андреича сочетаются с каким-то болезненным любопытством к смертникам, к самому процессу казни. Автор «Записок» с каким-то вожделением припадает к «глазку» камеры смертника.

...«Меня тянуло незаметно подкрасться и незаметно же подсмотреть, что будет делать этот человек, которого сегодня ночью повесят здесь же...» Чем необычайнее ведет себя смертник, тем острее к нему интерес надзирателя.

Психология дезертира, приговоренного к повешенью, его поведение, его жесты, слова, наконец, самый процесс казни, — все это с натуралистическими подробностями, с ювелирной четкостью, тщательно и даже любовно записывает Василь Андреич. В своем собственном отвращении надзиратель видит какое-то наслаждение. Он помнит каждого смертника: и Петра Куренкова, рядового 4-го стрелкового полка, который, «нарубая ветки для замаскирования ротного пулемета, умышленно отрубил себе два пальца на правой руке» (Петр заболел в тюрьме гангреной и был повешен в бессознательном состоянии), и какого-то «большого парня», повесившего больного Петра (парню обещали за это помилованье, но обманули и он тоже был повешен), и сарта, который не понимал, что ему грозит, и страшно метался и буйствовал, когда понял, что его привели вешать.

Не довольствуясь теми ужасами, которые в изобилии дает каждая казнь, тюремный надзиратель их углубляет особенными, отвратительными подробностями о каждом смертнике. Петра Куренкова, несмотря на то, что он два дня не ел — «пронесло» во время казни; «большой парень», его повесивший, стал жадно есть после казни Куренкова и все никак не мог насытиться. Этот же парень, узнав о том, что его повесят, рыдая рассказал о том, что заставило его дезертировать с фронта: «жена писала ему, что годовалый сынишка простыл горлышком, хрипит... задыхается»... Солдат бежал. Но сына застал уже мертвым... «шлепая губами», солдат передает надзирателю, как он нес подмышкой гробик... и как головка сына стукалась о стенки гроба, и он, отец, старался нести, как можно плавнее, не оступаясь. Ему «все метилось, что голова может размозжиться...»

Эпизод с сартом передан также с одной жуткой подробностью. Тюрьму осматривал какой-то французский генерал По, который подарил арестованному сарту одну пуговицу со своего блестящего мундира (сарт выразительно глядел на пуговицы).

В ночь казни сарт увидел доброго генерала среди своих палачей. Беснующегося сарта пристрелили и его предсмертный взгляд остановился на генерале. «Не ужас, а недоумение, более страшное, чем сама смерть... запечатлелось у него в глазах».

А чего стоит эпизод с незастывающим салом! Этим салом натирали веревку перед казнью, сало стояло в ведре, тут же, в подвале, где вешали дезертиров. Блеск сала привлек одного из смертников. Он быстро подошел к ведру, окунул пальцы в сало и с ужасом их отдернул...

Сцены казней даны натуралистически: с необыкновенной точностью и законченностью выписаны все действия и поступки прокурора, палача, доктора, попа и самих смертников.

Портреты написаны с большим умением.

Очень характерна группа персонажей, осуществляющих всю мерзкую работу тюрьмы.

Во главе ее стоит начальник тюрьмы Семен Алексеевич — сухой, черствый чиновник, карьерист, стяжатель, для которого казни — «отправление государственной потребности», ему подстать маленький, вертлявый доктор — пьяница, картежник, хладнокровно констатирующий смерть.

Сентиментальный поп, любитель пышных пионов, и палач — мясник Иван Васильевич Чернышев (согласившийся вешать за то, что ему устроили поставку мяса для интендантства, здоровяк, силач, изобретатель незастывающего сала) — дополняют эту группу персонажей.

Эта группа, а вместе с ними и автор «Записок» Василь Андреич — являются продуктом определенного строя, системы. Все мерзости делаются ими по-житейски просто; они только мещане, мелкие торгаши и чиновники. Это вскрыто и показано с большой силой и убедительностью.

Портреты дезертиров, туповатых, добродушных и жалких, даны так же полноценно, однако среди них нет ни одного сильного крепкого протестанта, борца, революционера. Все дезертиры какие-то юродивые с вывихом, с изломом, с червоточинкой.

Выделяются из толпы дезертиров два арестанта.

«Цивильный паренек» — интеллигент, составитель антимилитаристической прокламации, и «фабричный забастовщик», рабочий, отказавшийся на заводе делать снаряды.

Оба персонажа по замыслу должны явиться носителями большевистских идей, они должны противопоставить «свинцовым мерзостям» тюремного устава — свою психоидеологию, свою систему взглядов и действий. Появление этих двух фигур в тюрьме должно было показать нарастание революционного предоктябрьского движения на фронте, показать столкновение двух политических систем, двух идеологий, наконец, эти два персонажа должны были взорвать тюрьму изнутри.

Однако Иван Макаров, с такой силой и убедительностью вскрывший всю гнусность военной тюрьмы и того, что стояло за ее спиной,— царского режима,— не смог показать подлинных могильщиков царской России.

«Цивильный паренек» сентиментален, полон нежной жалости к себе. В одиночестве он пишет стихи, которые называет «жалеечка» (свирель, пастушья дудочка).

... «Произнес — «жалеечка» и голосок дрогнул, хилый вдруг стал голосок, как у старичка. Ах, паренек! Насквозь я тебя, как стеклышко, вижу. Такой ты стал вдруг в одиночестве, что пылинка невидимая сядь на тебя—и ты вздрогнешь».

В тюрьме «Цивильный паренек» ведет себя тихо — жалуется на несправедливость, рассказывает надзирателю о писателях — Достоевском и Чернышевском, которых преследовало царское правительство.

Из таких «цивильных пареньков» впоследствии получаются законченные меньшевики.

«Левее» «цивильного паренька» — «фабричный забастовщик», но он так неубедительно и слабо написан, что выглядит очень жалким и бледным. Кроме того, он появляется, как-то эпизодически, чувствуя, что с фабулой он совсем не связан, а как-то пришит к ней. Его заявление о том, что войну империалистическую нужно превратить в гражданскую, никого не убеждает. Оно тонет в море всяких тюремных ужасов, которые так щедро нагромождены в дневнике надзирателя.

Автор не дал ему высказаться.

В результате все произведение оказалось слабо политически направленным, идеологически аморфным и вялым.

Тюрьма с ее биологическими ужасами, с ее жуткими надзирателями типа «подпольных людей» Достоевского и сентиментальными палачами доминирует над всем.

В этом большой идеологический провал книги.

Книга зовет к «гуманности», вообще, следовательно, демобилизует, размагничивает.

Автор забывает о том, что война классов еще не кончена, что обострение классовых противоречий никогда не было еще так сильно, как в наши дни, что пролетариату предстоят еще большие кровавые бои и к ним нужно готовиться.

В этом смысле книга, при всех своих положительных качествах, может сыграть отрицательную роль.

На стиль «Записок» повлиял Достоевский. Заключительная сцена с сартом напоминает аналогическую сцену из Андреева («Рассказ о семи повешенных»). Все это, конечно, книгу не красит.

В. Россоловская.

Гарольд Гезлоп.—«За бортом жизни». Авторизованный перевод с рукописи Л. Слонимской. ГИХЛ. 1931 г. Стр. 230. Цена 1 р. 80 к.

Русский читатель уже знает Гарольда Гезлопа по его первой книге «В царстве угля», переведенной на наш язык тоже с рукописи. Это об'ясняется тем, что Гарольд Гезлоп в своих произведениях описывает быт английских ра-

бочих, интересы и ежедневную заботу о насущном хлебе, с которыми он достаточно знаком. Книги, показывающие отрицательные стороны «демократического рая», тщательно бойкотируются издателями-буржуа. Так например, вторая по счету книга Гарольда Гезлопа «Уврат будущего», после бесконечных поисков своего издателя в Англии, была увезена в Америку, где, наконец, и увидела свет.

Герои Гарольда Гезлопа — это люди, находящиеся за бортом жизни — продукт социального противоречия современного буржуазного общества. Но это не тунеядцы, люмпен-пролетарии, обременяющие человеческое общество. Это бодрые люди, напоенные силой и любовью к труду, готовые итти на какую угодно работу лишь бы добиться куска хлеба. Герои Гарольда Гезлопа — люди со дна общества, но они попали туда в силу углубляющегося экономического кризиса, выбрасывающего миллионы пролетариев за борт жизни. Герои рассматриваемой нами книги, Рессель Брент и Марта Дарк — люди, выброшенные из колеи трудовой жизни и пополнившие собой резервы безработной армии, возросшей за десять лет свирепствующей безработицы до двух с половиной миллионов. С семьями эта цифра расширяется до семи-восьми миллионов. Это почти одна пятая населения всей Англии.

Гарольд Гезлоп сам рабочий горной промышленности, по специальности углекоп. И его отличительными чертами является тонкая наблюдательность рабочей жизни, знание быта горняков и умелая обрисовка человеческих характеров.

Несложная фабула романа «За бортом жизни» недостаточно ярко раскрывает перед читателем социальную устремленность горняцкого пролетариата и даже до некоторой степени противоречит всем знакомым историческим фактам. Мы хорошо знаем стойкую забастовку английских горняков, пред'явивших своим предпринимателям целый ряд не только экономических, но и политических требований, борьба за которые потребовала около десяти месяцев. А герои романа «За бортом жизни» какие-то инертные, лишенные активности. Они достаточно ощутительно чувствуют на своей спине тяжесть капиталистической эксплоатации. Но они не борются против капиталистических способов производства, а безразлично подчиняются своей судьбе, не порываясь ее изменить.

В своем преклонении перед неумолимым роком они неуклонно скатываются на дно общества, за борт жизни. Марта Дарк из желания поддержать ослабевший организм изголодавшегося мужа Ресселя Брента выходит «на улицу», и только в последний момент, уже на квартире проститутского «клиента», одумывается и, оставив ему шляпу и меховое пальто, простоволосая убегает, не помня себя от ужаса перед той пропастью, на краю которой она находилась.

Придя домой, она узнает у возвратившегося мужа, что он нашел себе работу. Это не типичное явление среди безработных капиталистических стран.

Конец романа после всех передряг, которые пришлось испытать его героям, кажется пришитым белыми нитками и не оправданным, приделанным с той целью, чтобы добродетель восторжествовала.

В начале романа Гарольд Гезлоп пишет: «Победный триумф промышленности великого века. Сердце его — камень. Воля — железо. Тело — из лучшей закаленной стали. Души нет. У Севера никогда не было души». Но в конце романа эта пресловутая «душа» появляется на сцену и в самый критический момент, когда над героями уже простерлась костлявая рука голодной смерти, тогда душа Севера «сжаливается» над безработными и посылает им место у «Тринг и сыновья» на Вольтхемстроу. Следовательно, роман «За бортом жизни» призывает безработных пролетариев тоскливо «сидеть у моря и ждать погоды», покорившись своей судьбе.

С получением работы у героев романа пропадает всякая охота бороться с капиталистическим миром. Собственное благополучие, мещанское счастье, с бесчисленными обывательскими наклонностями, устроено довольно фундаментально — больше ничего гезлоповским героям не нужно. Личная жизнь стоит в центре внимания Ресселя Брента. Благополучное разрешение безработной голодовки ставит точку на его недовольствие жизнью. Он уже со слезами умиления прощает все перенесенные невзгоды. Он забыл уже о грозившей голодной смерти.

Миллионы других безработных пролетариев, не имеющих куска хлеба, выкинутых домовладельцами на улицу, за не внесение квартирной платы, нисколько не волнуют Ресселя Брента. Он завтра идет на работу, а на остальное ему наплевать. Какое дело до того, что жены других безработных идут торговать своим материнским телом, чтобы заработать кусок хлеба для изголодавшихся детей. Его личное благополучие устроено.

Мещанское разрешение проблемы безработицы снижает достоинство романа и его социальное устремление. Дает извращенное понятие о классовой борьбе в капиталистических странах, о революционном брожении среди рабочих и мировом промышленном кризисе, еще более обостривших социальные противоречия

В. Борахвостов.

СОДЕРЖАНИЕ

Редакц. коллегия: Ф. Горохов, Вс. Иванов, Л. Леонов, А. Фадеев

Издатель: Государственное издательство художественной литературы

Цена 1 р. 10 к.



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
ФЕДЕРАЦИИ ОБ'ЕДИНЕНИЙ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

КРАСНАЯ НОВЬ

Выходит ежемесячно под редакцией Ф. ГОРОХОВА, Вс. ИВАНОВА, Л. ЛЕОНОВА, А. ФАДЕЕВА

КРАСНАЯ НОВЬ печатает лучшие романы, повести, рассказы, очерки и стихотворения пролетарских и советских писателей.

В 1931 ГОДУ БУДУТ ПЕЧАТАТЬСЯ НОВЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ:

М. Алексеева, Ник. Анова, Вл. Бахметьева, К. Большакова, А. Бибика, С. Буданцева, В. Вересаева, Артема Веселого, Вс. Вишневского, М. Габриловича, Ф. Гладкова, М. Горького, Б. Горбатова, М. Громова, Б. Губера, А. Демидова, А. Долгих, И. Евдокимова, М. Залка, А. Зорича, Вс. Иванова, Бела Иллеш, В. Каверина, А. Караваевой, М. Карпова, В. Катаева, В. Кина, М. Казакова, М. Кольцова, П. Кофанова, Б. Кушнера, Дм. Лаврухина, Б. Лапина, Л. Леонова, Ю. Либединского, Н. Ляшко, С. Малашкина, А. Малышкина, И. Микитенко, Х. М. Мугуева, П. Низового, Н. Никитина, Г. Никифорова, Я. Новак, А. Новикова-Прибоя, И. Новикова, Л. Никулина, Н. Огнева, Ю. Олеши, Д. Острова, П. Павленко, Ф. Панферова, Ан. Платонова, С. Под'ячего, Я. Рыкачева, Б. Савранского, Дм. Сверчкова, С. Семенова, А. Серафимовича, Г. Серебряковой, Л. Сейфуллиной, Л. Славина, М. Слонимского, А. Соболева, Шалва Сослани, В. Ставского, А. Тарасова-Родионова, Н. Тихонова, С. Третьякова, Ю. Тынянова, А. Фадеева, К. Федина, К. Финка, О. Форш, М. Шагинян, Я. Шведова, М. Шкапской, М. Шолохова, Р. Эйдемана, И. Эренбурга, Бруно Ясенского, А. Яковлева и др.

ПОЭМЫ И СТИХИ

Н. Асеева, П. Антокольского, Э. Багрицкого, Д. Бедного, А. Безыменского, И. Бехера, Н. Брауна, М. Герасимова, А. Гидаш, А. Жарова, Веры Ильиной, В. Казина, В. Кириллова, С. Кирсанова, В. Луговского, С. Обрадовича, П. Орешина, Б. Пастернака, Н. Полетаева, А. Подчерткова, Л. Решетова, И. Садофьева, Г. Санникова, В. Саянова, М. Светлова, И. Сельвинского, А. Суркова, М. Тарловского, Н. Тихонова, И. Уткина, Н. Ушакова, С. Щипачева, М. Юрина и др.

В НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ И ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКОМ ОТДЕЛАХ ЖУРНАЛА ПРИМУТ УЧАСТИЕ:

Л. Авербах, И. Анисимов, И. Беспалов, В. Бонч-Бруевич, И. Бороздин, А. Бубнов, Вл. Васильевский, И. Виноградов, Б. Волин, Я. Ганецкий, М. Гельфанд, М. Григорьев, И. Гроссман-Рощин, Гурштейн, А. Дивильковский, С. Динамов, М. Добрынин, В. Ермилов, А. Ефремин, А. Енукидзе, К. Зелинский, Н. Иезуитов, С. Ингулов, С. Канатчиков, П. Керженцев, Феликс Кон, Г. Корабельников, Н. Крупская, В. Киршон, П. Лебедев-Полянский, А. Лозовский, А. Луначарский, Д. Мануильский, Марков, И. Мац, Н. Мещеряков, А. Михайлов, Л. Мышковская, С. Нельс, А. Нович, Н. Осинский, Р. Пикель, М. Н. Покровский, Н. Пиксанов, Ф. Раскольников, В. Ральцевич, Ф. Ротштейн, М. Савельев, А. Селивановский, М. Серебрянский, Ю. Стеклов, А. Стецкий, В. Сутырин, А. Тарасенков, Л. Тимофеев, Е. Трощенко, Н. Феоктистов, А. Халатов, Ем. Ярославский и др.

ЖУРНАЛ РАССЧИТАН НА ПАРТИЙНЫЙ, КОМСОМОЛЬСКИЙ, ПРОФСОЮЗНЫЙ И КОЛХОЗНЫЙ АКТИВ И СОВЕТСКУЮ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЮ

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ТОЛЬКО С ОКТЯБРЯ МЕСЯЦА

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА с номера 10 до конца года — 3 р.

Ввиду того, что настоящий журнал печатается в строго ограниченном тираже, аккуратное получение журнала гарантируется исключительно подписчикам, своевременно внесшим полностью подписную плату.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ в отделениях, магазинах, киосках Книгоцентра и на почте.
